АМУР
Литературный альманах БГПУ,
№ 10. – Благовещенск: Издательство БГПУ, 2011. – 116 с., илл.

ISSN 1999-4095

Редакционная коллегия

А. В. Урманов – главный редактор,
С. И. Красовская – зам. гл. редактора,
Е. В. Воропай,
И. Д. Игнатенко,
Н. В. Киреева,
В. Г. Лецик,
С. Н. Гамбарян – секретарь

Графическая модель, обложка – **С. Д. Ладыгин**

Вёрстка – **А. В. Маркович**

Корректор – **Е. Д. Кузнецова**

Альманах зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.

Свидетельство ПИ №ФС77-31530 от 21 марта 2008 г.

© Благовещенский государственный педагогический университет – составление, 2011.

Отпечатано в типографии БГПУ, 675000, Благовещенск, ул. Ленина, 104.
Подписано к печати 20.10.11
Формат 60x84/8.
Бумага офсетная. Гарнитура Times.
Усл. печ. л. 13,5
Тираж 1000 экз. Зак. № 2929

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакционной коллегии.

АМУР

Литературный альманах БГПУ

2011

№ 10

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Памяти Л. А. Завальнюка

Леонид ЗАВАЛЬНЮК. Сказки лесной поляны ... 2
Л. Завальнюк – И. Игнатенко: «Прочтите мне только по памяти…» ... 11
Наталия КИРЕЕВА. На узком пятачке – душа, бессмертье, небо… ... 19
Владислав ЛЕЦИК. «Снова стихами повеяло…» ... 25
Николай ЛЕВЧЕНКО. Прогулки по осеннему Благовещенску ... 28
Валерий ЧЕРКЕСОВ. Ключ от бессмертья не добыть… ... 29
Студенты читают стихи Л. Завальнюка ... 30

Слово – мастерам

Виктор АЛЮШИН. Стихи ... 33
Борис ЧЕРНЫХ. Отче наш. Реквием ... 36
Павел ОЛЬХОВ. Звательный падеж (Вместо послесловия) ... 45

Поэтическая встреча

Светлана КУЛИГИНА. Стихи ... 46
Вера ЦЫКОВА. Стихи ... 48
Юрий РОМАНОВ. Стихи ... 50
Анна ПРОКОПЬЕВА. Стихи ... 52
Иван ЧЕРНИК. Стихи ... 53

Поэтический дебют

Анжела МУФТАХЕТДИНОВА. Стихи ... 55
Виктория СТАРЦЕВА. Стихи ... 55

Малая проза

Александр ГЕРАСИМОВ. Далёкий запах летнего дождя. Моя красивая осень. Леший. Откровения в мужской компании. Рассказы и миниатюры ... 56
Ярослав ТУРОВ. Деда Ваня. Рассказ ... 66
Анатолий КАЙДА. Белый рояль (Из цикла «Город-призрак»). Рассказ ... 73

Критика и литературоведение

Анатолий ЛОСЕВ. Ошибку надо исправить ... 76
Александр УРМАНОВ. О том, как маленькая текстологическая ошибка вызвала большой переполох в учёных кругах (Необходимые пояснения и дополнения к давней статье А. В. Лосева) ... 80
Александр УРМАНОВ. «На Амуре всё возможно…» Роман «Амурские волки» как литературный феномен ... 87

Из архива

Галина ЭФЕНДИЕВА. Друзья-дальневосточники памяти Фёдора Ивановича Чудакова (Предисловие к публикации текстов) ... 98
Творчество Ф. И. Чудакова на страницах харбинского журнала «Юный читатель Рубежа». Публикация и вступительная статья Г. Эфендиевой ... 101
«Времена не меняются – меняемся мы»? Стихи Евгения Ерёмина 1980-х годов. Публикация и вступительная статья С. Красовской ... 104

Страницы прошлого

Валентина БРЫСИНА. Учителями славится Россия…
В память о Марине Константиновне Пеньковской ... 107
Валерий ЧЕРКЕСОВ. В мире всё идёт по кругу… ... 113

От редакции. Завершая год назад работу над «Амуром», следующий выпуск альманаха мы планировали посвятить восьмидесятилетию Леонида Андреевича Завальнюка – замечательного поэта, родившегося 20 октября 1931 года на Украине, однако своей поэтической родиной считавшего Приамурье. Но 7 декабря 2010-го поэта не стало, он скончался от сердечной недостаточности в Москве.

Этот выпуск «Амура» мы посвящаем памяти Леонида Андреевича, активно сотрудничавшего с нашим альманахом. У нас неоднократно печатались его стихи и прозаические миниатюры, а также воспоминания о поэте и статьи о его творчестве. Сегодня мы знакомим наших читателей с произведениями другого жанра – с девятью сказками из цикла «Сказки лесной поляны, или Жизнь и приключения зайца Прошки». Более известный всем нам как поэт и прозаик, к созданию сказок и стихотворных азбук Завальнюк обратился уже в зрелые годы, имея опыт сценарной работы над мультипликационными фильмами. Этот поворот к жанру, традиционно включаемому в круг детского чтения, вовсе не удивителен. Сказки Завальнюка философичны и глубоки, в них просто и доступно говорится о вечных ценностях, дружбе, взаимопонимании, радости каждодневного существования. Некоторые из вошедших в цикл произведений автор сопроводил собственными иллюстрациями. Отдельные сказки ранее публиковались в детских журналах, шесть сказок становились основой сценариев для мультфильмов, а три выходили в свет отдельным изданием в серии «Сказки-мультфильмы» (2006) и были переизданы уже после смерти поэта. Наши читатели смогут познакомиться с шестью ещё не публиковавшимися нигде сказками.

Тексты сказок были переданы в редакцию альманаха «Амур» вдовой поэта Наталией Марковной и предваряют выход в свет всего цикла «Сказки лесной поляны» (25 сказок), подготавливаемого к публикации в одном из издательств Санкт-Петербурга. Там же вскоре будут переизданы повесть «Дневник Родьки – “трудного” человека» и известная многим амурчанам поэма «Осень на Амуре». А в московском издательстве «Зебра Е» ведётся работа над сборником стихов Леонида Андреевича, отобранных для публикации вдовой поэта.

В предисловии к «Сказкам лесной поляны» автор спорит с одной из героинь цикла, вороной, сомневающейся в нужности этого жанра читателям: «Раньше, конечно, были охотники до сказок. А теперь вряд ли они есть. Кто это будет читать, слушать?..

– А вдруг будут? В жизни всякое бывает. Мне кажется, стоит попробовать».

Стоит попробовать! Попробовать не только погрузиться в сказочный мир, созданный Завальнюком, но и увидеть его автора с новых, неведомых нам ранее сторон. Надеемся, этому помогут публикуемые в альманахе сказки, воспоминания о Леониде Андреевиче и размышления о его творчестве.

Леонид ЗАВАЛЬНЮК

Сказки

СКАЗКИ ЛЕСНОЙ ПОЛЯНЫ

Как заяц Прошка друга искал

– А что это у меня друга всё нет и нет? – подумал заяц Прошка. – Пойду искать.

Ходил-ходил, искал-искал... У бобра бобрята, семья большая, ему не до Прошки. У аиста – аистята. Хлопот полон рот: кормить надо, учить летать надо.

Встретил Прошка лося из соседнего леса, хотел с ним подружиться. Но лось только посмеялся:

– Всем ты заяц, хорош, но уж больно маленький. Вот подрасти немного, стань хотя бы вполовину меня, тогда и подружимся.

Весь день искал Прошка. И ещё день. Наконец, пришёл к лесному озеру, сел на берегу и заплакал.

Вдруг из воды лягушка:

– Ква! – Голова зелёная, глаза большие, грустные и мигают. – О чём плачешь, заяц? Иль беда какая?

– Ой, беда, лягушка, беда! У всякого порядочного зверя есть друг, а у меня нету. Два дня искал, и всё без толку!

– Два дня – это что! – вздохнула лягушка. – У меня вон тоже друга нету, так я уже целую неделю ищу. А давай вместе искать.

– А как?

– А так. Я налево по берегу пойду, а ты направо. Я, кого встречу, буду о тебе хорошее говорить, а ты обо мне. Мол, неплохая какая лягушка. Добрая, чуткая, одинокая...

– Ну, молодец, придумала! – загорелся Прошка. – Это о себе хорошее говорить как-то неловко, а о тебе я такое наговорю!..

И стал заяц для лягушки друга искать, а она для него. Ходят они по лесу, хвалят один другого почём зря. А вечером сойдутся на берегу озера, рассказывают, кто что видел, с кем говорил, какие случаи с ними по дороге бывали. Хорошо им. Долго так, бывает, сидят.

Неделя прошла. И ещё неделя. А тут как-то приходят они на своё любимое место, а там ёж с кротом расселись у пенька, в шашки играют. И ворона сидит на соседней сосне, советы даёт.

– Вот они, вот они голубчики! – закричала ворона, увидев зайца с лягушкой.

– Ага! – мрачно проговорил ёж. – А мы вас как раз ждём! – и что-то шепнул кроту.

– Да-да, – сказал крот. – Подойдите поближе, поговорить надо... Ну-ка, объясните нам, что это вы всё ходите по лесу, агитацию разводите? Чего вы добиваетесь? Чего ищите?

– А ничего особенного, – говорит Прошка. – Я вот для лягушки друга ищу, а она для меня. Разве нельзя?

– Почему нельзя? – сказал ёж. Серьёзно так сказал и вдруг рассмеялся. – Можно. Но вы ведь, глупые звери, уже нашли. И у тебя есть друг, и у лягушки.

– Это как? – удивился Прошка.

– А вот как! Ты – друг лягушки. А она – твой друг.

Задумался Прошка, а потом говорит:

– Слушай, лягушка, а может, действительно так? Чего нам искать? Если я тебе не противен, возьми меня в друзья. На всю жизнь. Мне лично с тобой хорошо...

Смутилась лягушка.

– И мне с тобой хорошо, – говорит. – Только я думала, что я такая... мокрая, такая... неприятная...

– Да что ты, что ты! Наоборот! Я вот тебе, может, скоро даже морковку принесу. У меня там припрятана...

– А я... А я тебя квакать научу. Хочешь?

– Ещё бы!

* * *

Что говорить, квакать заяц так и не научился. А лягушка есть морковку не стала. Не смогла. Но дружба, дружба у них получилась. Это уж факт.

Правда, ворона стала было кричать по этому поводу, что, мол, мы, вороны, живём триста лет, никогда, мол, не слышали, чтобы уважающий себя заяц дружил с какой-то лягушкой.

– Какой позор-р-р! – кричала она Прошке. – Ты бы ещё с рыбой дружбу завёл. Ха-ха-ха!

Но Прошка не обращал на это никакого внимания. Да и звери не обращали. Им нравилось, что у Прошки есть друг. Нашёл! Захотел найти и нашёл. Молодец!

Как Прошка стихи сочинил

Лежал как-то заяц Прошка под кустом, смотрел в небо. Синева, красота!.. Вдруг пчела мимо пролетела: «Ж-ж-ж-ж!» Прошку как током ударило. Вскочил он на ноги, да как завопит:

Пчела забот не знает,
Она себе летает.
Забот она не знает,
Летает, летает!

Ну, чудеса! Стих получился. Побежал Прошка на радостях к лягушке, прочёл ей своё сочинение.

– Только ты не смейся, – говорит, – и никому пока не рассказывай...

– А чего смеяться? – сказала лягушка. – Замечательно. Ты прямо как Пушкин! – и закричала: – Эй, белки, вот Прошка стих замечательный сочинил. Послушайте!

Пришлось Прошке и белкам своё сочинение прочитать.

– Ой, Прошка! Ой, талант! – Уж так хвалили его белки, что это ж словами сказать невозможно. То есть до того хвалили, что Прошка совсем осмелел и дальше уже сам каждому встречному стихи декламировал.

Бобёр сказал:

– Да-а! Это да-а-а!

Кроту тоже понравилось. Дятел предложил положить Прошкины стихи на музыку. А ворона обняла зайца за плечи и повела к ежу.

Пошли они. И все остальные звери двинулись следом.

Прошка, пока шёл, изменился до неузнаваемости. Даже ростом как будто выше стал. Важный такой, губы в ниточку и голову гордо набок откинул.

– Что с тобой? – говорит ёж. – Может, ты что-то не то съел или тебя мешком из-за угла ударили?

– Нет, – говорит ворона. – Это у него от вдохновения, он стих сочинил. Вот послушай.

Тут встал Прошка в позу и два раза подряд продекламировал своё стихотворение.

– Гм!.. Складно, – сказал ёж. – Только почему это пчела у тебя забот не знает? Ты на самом деле так думаешь?

– А какие у неё заботы? – говорит Прошка. – Летает себе, мёд ест.

– И всё?

– Конечно!

– Ну что ж, в конце концов, стихи про пчелу. Пусть она сама рассудит.

Побежали звери по лесу, позвали пчелу. Ёж говорит:

– Сейчас Прошка свой стих прочтёт. Про тебя. Только ты для начала расскажи, пожалуйста, что ты сегодня делала.

– Сегодня? – сказала пчела весело. – А ничего почти и не делала. С самого утра с другими пчёлами в улье убиралась. Это обязательно. Мы без чистоты гибнем. Потом прополисом, такой клейкой смолкой, сливу обмазывали. Эта слива с дерева к нам свалилась. Станет в улье гнить, – всех отравит. А так прополис вокруг неё затвердеет, и она в нём, как в консервной банке. Потом несколько раз за нектаром слетала, два раза воск в улей принесла. Соты достраивала. Потом подружек своих выручать полетела. Они на сахарном заводе до того сахару объелись, что сами взлететь не могли. Потом мы – старые пчёлы – в новый улей перебирались. У нас молодая матка – пчелиная царица – народилась. А две царицы никак в одном улье жить не могут. Вот мы вместе с нашей старой маткой вылетели из улья. Тысяч пятнад-

цать нас было. Сели на небольшую дощечку, сбились в комок величиной с яблоко. Пасечник взял нас с этой дощечкой и перенёс в новый улей. Потом...

– Хватит, – сказал ёж. – А теперь, Прошка, прочти свой стих. Если хочешь, конечно.

– И прочту! – мрачно сказал Прошка. – Только я его слегка переделал. Теперь будет так:

Пчела много забот всяких знает.
Она с утра улей подметает.
Потом нектар и воск собирает...

– У-у-у! – загудели звери. – Так хуже. Давай, как было вначале!

– Да, – сказал ёж, – вначале было лучше, повеселей. Давай, Прошка.

Но Прошка заупрямился.

– Ну, что ж, тогда я сам прочту, – сказал ёж. И прочёл:

Пчела забот не знает,
Она себе летает.
Забот она не знает,
Летает, летает!

– Вот это да! Вот это да! – Пчела от радости запрыгала на одном месте. – Так лучше, так правильней! Я ведь никому не жалуюсь на свои заботы, так зачем про них? Не переделывай, Прошка, это стихотворение. Пусть так останется.

Так оно и осталось. Потом дятел с вороной положили его на музыку и все звери спели его на дне рождения у пчелы.

Прошкино новоселье

Решил заяц Прошка дом построить.

Встретил белку.

– Слушай, белка, будь другом, нарисуй мне дом. Большой, красивый. И чтоб все завидовали. Можешь?

– Могу! – Нарисовала белка большое дерево, а в нём дупло. – Вот! Большой, красивый!..

– Красивый-то – красивый, да как я жить в нём буду?

– А как мы – белки – живём?

– Так вы же по деревьям лазать умеете! Э-эх!..

Пошёл Прошка дальше, встретил пчелу.

– Пчела, пчела, нарисуй мне дом. Большой, красивый. Можешь?

– Попробую! – Старалась пчела изо всех сил. Нарисовала улей. – Вот! Лучшего дома не бывает.

– Так-то оно так, да как я жить в нём буду?

– А как мы – пчёлы – живём?

– Так вы же маленькие. И летать умеете!..

Дошёл заяц до ручья лесного. Встретил бобра.

– Бобёр, бобёр, нарисуй хоть ты мне дом, большой, красивый и чтоб все завидовали.

– И рисовать не надо! Видишь, вон там пруд, а посредине пруда хатка из прутьев и глины сделана? Вот это и есть дом, – говорит бобёр. – Уж куда лучше, куда красивее!

– А дверь где?

– Вот в том-то и хитрость. Дверь под водой. Нырнул и входи. А если кто нырять не умеет, ни за что в этот дом не войдёт!

– Так вот я как раз и не умею!..

Совсем пригорюнился Прошка. Идёт, вздыхает. А навстречу ему – ёж.

– Что не весел, заяц?

– Да вот, понимаешь, хочу дом построить. Большой, красивый и чтоб все завидовали. А нарисовать никто не может. Нарисуй ты, может, у тебя получится.

– А зачем?

– Что?

– Рисовать зачем?

– Ну, как «зачем»? Ты нарисуй, а я построю.

– А зачем? Строить зачем?

– Ну, странный ты, ёж. Жить-то мне где-то надо?

– А где ты сейчас живёшь?

– Да так... Знаешь – поляна земляничная, на ней куст ракитовый. Вот под этим кустом и живу.

– И что ж, плохо тебе там?

– Почему плохо? – Прошка задумался. – Хорошо.

– Так чего ж тебе ещё! Где зверю хорошо, там и дом его. Эх, Прошка, Прошка! Какая, ты говоришь, поляна? Земляничная? А куст – ракитовый? Так вот, чем рисунки рисовать, я тебе лучше стих скажу. Слушай:

До чего же он отличный
Знаменитый Прошкин дом.
На поляне земляничной,
Под ракитовым кустом!

– Вот здорово! Это ты про мой дом? Значит, он тебе нравится и ты мог бы ко мне в гости прийти?

– Хоть сейчас. Позови только.

– Вот здорово! А то я ведь думал: «Дом построю, новоселье сделаю, гостей позову...» Мне так давно хочется гостей позвать!

– За чем же дело стало? Зови сегодня же и считай, что это у тебя новоселье. Вот давай я этот стих малость переделаю, и мы с тобой его на весь лес прокричим. Так-так... А тут вот так... Готово!

Ёж дал Прошке листок с переделанным стихотворением, и они на весь лес в два голоса запели:

Белка, ёжик и пчела,
Бросьте все свои дела.
Вас зовёт на новоселье
Знаменитый Прошкин дом.
На поляне земляничной,
Под ракитовым кустом!

– А как же это мы бобра не позвали?! – спохватился заяц. – И крота, и ворону, и дятла, и лягушку!..

– Не влезли в стихотворение, – вздохнул ёж. – Ну, ничего, я их отдельно каждого приглашу.

– Думаешь, придут?

– Обязательно!

Должен вам сказать, что все гости пришли, и у Прошки было очень хорошее, прямо-таки замечательное новоселье.

Заяц Прошка и цирк шапито

Ехал, ехал цирк на колёсах. Остановился отдохнуть на лесной поляне. Все звери в страхе разбежались кто куда. Только заяц Прошка не испугался. Залёг он неподалёку за кустом. Интересно, что будет?

А было много чего. Сперва большой белый пудель на передних лапах по поляне бегал, потом две розовые свинки медведя в маленькой тележке катали. А потом... Прошка глазам своим не поверил. Из циркового фургона вышел заяц в галстуке и в очках. Огляделся он по сторонам и давай в барабан бить. «Трам-тарам, там-тарарам!»

Тут Прошка совсем осмелел. Подполз он поближе да тихо так, тихо и говорит:

– Здорово, друг!..

– Здорово, коли не шутишь. – Заяц-циркач даже не удивился. – А ты что, просто поздороваться пришёл или тебе по делу чего нужно?

– Да ведь как сказать... – замялся Прошла. – Я вот подумал: ты заяц, и я – заяц. Может, меня тоже к вам в цирк возьмут?..

– Ещё чего! Много вас тут таких бегает. Я, например, в барабан бью и до восемнадцати считать умею. А ты что?

– А я... А я квакать могу. Хочешь, поквакаю?

– Н-ну... Давай, квакай... Хотя, подожди, я за Василием Ивановичем схожу, пусть он тоже послушает.

Пока заяц-циркач за Василием Ивановичем ходил, Прошка сбегал за своей подружкой лягушкой.

– Там ничего особенного и не надо, – говорил он ей. – Просто я вот так рот открою, а ты говори: «Ква!». Ещё раз открою, а ты опять: «Ква!». Сиди здесь, за пеньком.

Очень обрадовался Василий Иванович, когда увидел Прошку. Он даже шляпу приподнял:

– Здравствуйте, уважаемый, – говорит. – Вы, я слыхал, квакать умеете? Поквакайте, пожалуйста, а я послушаю.

– Это можно. – Тут Прошка прокашлялся, разинул рот во всю ширь, а лягушка в это время из-за пенька: «Ква!». Он ещё раз разинул, а лягушка опять: «Ква!»

Заяц-циркач даже очки свои уронил от удивления. А Василий Иванович говорит:

– Браво, браво! Вот уж воистину богата наша земля самородками. Ваш номер, уважаемый, мог бы стать истинным украшением нашей программы...

Видно, он ещё что-то хотел сказать, но ворона его перебила. Как что где случается, так она уж тут как тут.

– Самор-ро-док! Укр-р-рашение! – прокричала она с высокого дерева. – Мы – вороны – живём триста лет... Никогда я не видела такого наивного человека. Вон же за пеньком лягушка сидит. Прошка только молча рот разевает, а она квакает.

Тут и другие звери осмелели, стали подбираться поближе. И дятел с пчелой подлетели, и белки прискакали, и ёж своего приятеля крота вызвал из норы. Сидят они все чуть поодаль, слушают, как ворона надрывается:

– Это же обман! Самый обыкновенный обман! Неужели непонятно?!

– Ну, почему же, это как раз очень понятно, – сказал Василий Иванович. – Но должен вам заметить, достопочтенная ворона, в нашем цирковом деле иногда просто никак не обойтись без некоторой хитрости. Однако вот в чём беда: вас, Прохор... Простите, не знаю вашего отчества. Вас я никак взять не могу. Один заяц у нас уже есть. А вот вашу напарницу... Кстати, где она там?

Тут он подошёл ближе к пеньку, увидел лягушку.

– А вот вас, уважаемая, я беру. Золотые горы не обещаю, заведение у нас небогатое, но мухи отборные, самые лучшие – круглый год. Уход, конечно. Аквариум большой, удобный, плавайте в своё удовольствие. Вот я сейчас плесну в него водички, вы прыгайте туда, и – поехали. Думаю, вы согласны?

А лягушка смотрит на него и только глазами хлопает. Тут все звери замерли, совсем близко к лягушке подобрались. Что она скажет?

А она опять глазами похлопала и из стороны в сторону головой качает. Мол, нет, не согласна!

– Глупость! Какая глупость! – закричала ворона. – Как можно упускать такой случай! Это же слава, это же искусство!

– Ну и пусть, – сказала лягушка. – А я всё равно без Прошки не поеду!

– И опять же глупость! Сказано же тебе, заяц у них уже есть. Вот с ним и будешь выступать. Какая тебе разница: тот заяц или этот?

– А вот и разница! Разница! – что было сил закричала лягушка. – Прошка же не просто заяц. Он мой друг! Друг! – и заскакала прочь.

– Стой! Стой! – Прошка побежал за ней.

А вскоре и все остальные звери потянулись следом. Опустела поляна.

– Н-да, история... – Василий Иванович вздохнул. А потом засмеялся так громко-громко, весело. – Вот уж воистину иногда зверь подаёт пример человеку. Дружба – великое дело!.. А скажи, артист, тебе бы не хотелось сейчас быть на месте Прошки?

– Ещё чего! – возмутился заяц-циркач. – Я и в барабан бью, и до восемнадцати считать умею. А он что? Но если вам так уж нравится этот Прошка, я, – пожалуйста, – я и уйти могу!.. – и всхлипнул.

– Ну, что ты, что ты, дорогой! Успокойся! Ты ведь знаешь, я тебя очень, ну, просто очень... уважаю.

– Уважаете... И на том спасибо. А нам, между прочим, давно в дорогу пора. На выступление опаздываем.

– Твоя правда!

Тут запрягли они лошадей, сели на облучок и поехали. Застучали копыта, загремели колёса.

– А, может, споём? – сказал Василий Иванович. – Что-то настроение у меня хорошее.

– Можно и спеть, – проворчал заяц-циркач. – Только давайте я сегодня первым голосом буду петь, а вы – вторым. У вас первый голос совсем плохо получается.

– Давай!

И они дружно запели:

Фургончик катится, грохочет.
На облучке сидит медведь.
Он зареветь ужасно хочет.
Но он – артист. Нельзя реветь.
Ведь могут очень испугаться
Мартышка в клетчатом пальто,
Учёный гусь, два снежных барса
И поросёнок, мастер фарса, –
Артисты цирка шапито!

Как заяц Прошка медведем был

– Ох-ох! – прискакала лягушка к зайцу Прошке. – Там, – говорит, – зверь какой-то страшный сидит на поляне, воет. Не ходи туда, Прошка, он тебя съест. Вот и сейчас воет. Прислушайся.

– А чего прислушиваться? Я и так слышу. Только он вроде не воет, а скулит... А ты его видела?

– Нет. Я боюсь...

– Пойдём, посмотрим. Со мной ничего не бойся!

Подкрались они с лягушкой по высокой траве.

– Эй, зверь! – крикнул Прошка. – Ты кто такой?

Сперва было тихо, потом зверь заскулил, а потом послышалось:

– Бо-о... Бобик я... Помогите! Помогите мне, пожалуйста, я потерялся. – И опять заскулил потихоньку.

– Это он притворяется, выманивает нас, – сказала лягушка. – Мы выйдем, а он нас – хвать!

Но Прошка был храбрый заяц.

– Не бойся, лягушка. Я и сам кого хочешь схватить могу. – И опять закричал: – Эй, Бобик! Не знаю, какой ты зверь, а я лично – медведь. Видел когда-нибудь медведя, нет? И не советую. Глянешь на меня, – ужас берёт. А уж сила у меня – страшное дело. Это сейчас у меня голос писклявый, потому что горло болит. А то, бывало, я как зареву, так и дикие кабаны и лоси бегут от меня во все стороны, спотыкаются!.. Короче говоря, ты закрой глаза, чтоб попервости не испугаться, а я к тебе выйду. Закрыл?

– Закрыл...

Вышли заяц с лягушкой крадучись на поляну, а там... А там под кустом щенок сидит. Смешной такой, мохнатый. Глаза зажмурил и дрожит весь.

– Так! – сказал Прошка. – С тобой всё понятно. Щенок – он и есть щенок. Открой глаза, рассказывай, что к чему. А ты, лягушка, беги в лес, собери зверей. Тут, видно, дело не простое, обсудить надо.

И десять минут не прошло, собрала лягушка всех. И бобёр пришёл, и ёж. И ворона с дятлом прилетели, и белки прискакали.

– Значит, так, звери, – сказал Прошка, – пришёл этот щенок первый раз в лес. С хозяином. И потерялся. Думаю, ёж, если мы не поможем, он ни за что своего хозяина не найдёт. Лес-то большой.

– Большой! – ёж кивнул головой. – А кто его хозяин?

– Охотник.

– Охотник?! – закричали все.

– Да вы не пугайтесь, – сказал Прошка. – Он же не просто охотник, а фотоохотник. У него вместо ружья – фотоаппарат. Он как увидит зверя, так и сфотографирует... Да, чуть не забыл. Главное сейчас какой-нибудь старый ботинок найти. Бобик говорит: понюхаю, как следует, ботинок и в два счёта своего хозяина найду. Надо попробовать.

– Бр-р-р-ред! – сказала ворона. – Собака, конечно, по запаху может многое найти. Но тут же нужен не просто ботинок, а именно ботинок вот этого фотоохотника... Вот что, звери, доверьте это дело мне. Мы – вороны – живём триста лет... Иди сюда, Бобик. Ты будешь на мои вопросы отвечать, а я буду записывать. Какой он, твой хозяин? Выглядит как?

– Он большой… – сказал Бобик. – Красивый… Добрый…

– Не густо. А ещё что?

– Он очень большой... Очень добрый...

– Ну, это мы уже слышали. А выглядит он как? Возраст у него хотя бы какой? Он молодой, старый?.. Он кашляет?

– Да, – сказал Бобик. – Он кашляет. Иногда...

– Значит, старый! – сказала ворона. – Большой, добрый и кашляет. Конечно, старик. Будем, звери, старика искать!

И начались поиски. Ходили звери по лесу, ходили. Все уголки обшарили. Нету никого. Прилетел дятел, и тоже ни с чем. Наконец, ворона прилетела.

– Пусто всё! – говорит. – Нет никакого старика. Только мальчонка какой-то у дальнего ручья бродит, под каждый куст заглядывает. Я ему кричала, кричала. Не слышит. Подлетела ближе, а у него уши какими-то чёрными кружочками заткнуты. И провода от них...

– Так это же он, он! – закричал Бобик. – Это у него плеер, магнитофон такой маленький. Он музыку слушает…

– Тогда вперёд! Вечереет уже. До темноты успеть надо.

Полетела ворона, Бобик помчался за ней. И все звери побежали следом.

Только лягушка замешкалась. Устала она. Тогда Прошка посадил её на плечо и тоже побежал на задних лапках.

Прибежали они к дальнему ручью, а там фотоохотник стоит уже в кругу зверей, Бобика к себе радостно прижимает.

– А где же твой медведь? – говорит.

– А вот он, вот он! – закричал Бобик, увидев Прошку.

– Ха-ха-ха! – засмеялся фотоохотник. – Заяц-медведь! Сейчас мы его сфотографируем. Только ты стой, стой, не шевелись!

Да так и снял Прошку с лягушкой на плече.

Потом этот снимок был напечатан на обложке одного очень красивого журнала. Прошка на нём улыбается, и лягушка улыбается во весь рот. А внизу написано: «Заяц-медведь со своим лучшим другом».

Прошкина хитрость

Что-то вдруг случилось с вороной. Затосковала она совсем. Даже летать перестала. Сидит на лесной поляне, нахохлилась. Бежал мимо заяц Прошка:

– Что с тобой? Уж не заболела ли?

– Да лучше бы я заболела, – говорит ворона. – День рождения у меня. А кого в гости звать? Никто меня не любит, никто не уважает. Да что там говорить, все меня ненавидят... Уйду, улечу, куда глаза глядят. Прощай, Прошка. Прощай навек.

И так она это жалобно сказала, что у Прошки даже слёзы навернулись:

– Да ты что, ворона! Кто это тебя ненавидит?

– Все! Не случайно же мне никто за всю жизнь ни одного доброго слова не сказал. Ни одного!

– Эка невидаль! Ну, не сказал, так скажет. Вот слушай, что я придумал. – И Прошка стал быстро-быстро что-то шептать на ухо вороне.

Не знаю, что уж он там шептал, только вскоре она взлетела высоко над лесом и закричала:

– Сегодня у меня день рождения! Все, все, все приходите под старую кривую сосну. С приветом к вам – ваша ворона!

Первым пришёл бобёр. Удивился он: вороны нет, а стол под старой кривой сосной накрыт. И всякие угощения на нём. И где кому сидеть, на маленьких бумажках написано. Нашёл он своё место. На нём – чистая речная раковина, а в ней, как в тарелке, земляника и два свежих ивовых прутика. Облизнулся бобёр. А тут и ёж с кротом идут.

– А где же ворона?

– Не знаю...

Потом белки появились, дятел с пчёлкой прилетели. А вороны всё нет и нет.

Наконец, Прошка с лягушкой прискакали. Прошка сразу же своё место увидел. Там большая морковка лежала. Взял он её со стола, потом записку взял. А потом повернул записку обратной стороной да как закричит:

– Послушайте! Вы только послушайте, что здесь написано. – И прочитал: «Прощайте, звери. Ухожу, улетаю от вас навсегда. Я знаю, что вы все меня ненавидите и вам это будет только приятно. Бывшая ваша ворона».

Все так и ахнули, зашумели, заговорили разом. А Прошка надкусил морковку и говорит:

– А чего шуметь, чего ахать! Всё правильно. Мы её очень даже ненавидели, эту противную ворону. Никто ей никогда доброго слова не сказал. А почему? Потому что каждому, буквально каждому она была враг. И вам, белки, и тебе, ёж. А уж про бобра и говорить не приходится. Вот давай, бобёр, скажи, перечисли вкратце, что она тебе плохого в жизни сделала.

– Мне? Не знаю... Мне лично – ничего, – как-то мрачно проговорил бобёр. – И вообще, Прошка, я с тобой совсем не согласен. Может, у вороны и есть недостатки... А у кого их нет? Только мне жалко, что она улетела.

– И нам, и нам! – в один голос вскричали белки.

– И мне! – прожужжала пчела. – А может... А может, нам поискать её? Я, например, полечу в одну сторону, дятел – в другую, и будем кричать: «Вернись, ворона, вернись. Мы тебя очень просим!»

Тут ёж одобрительно кивнул головой. Мол, верно, правильная мысль! И все остальные звери тоже закивали, сгрудились вокруг стола.

– Значит, так, – сказал ёж. – Начинаем поиски. Сейчас я объясню, кому куда лететь, кому куда бежать. Прошка пусть дома сидит, раз он ворону ненавидит. А кричать, звери, будем так: «Вернись, ворона. Вернись скорей к нам. Мы тебя ждём. Мы тебя...»

– Уважаем! – подсказал крот.

– Нет, мы тебя любим. Чего уж тут мелочиться!

И тут вдруг с высоты на стол что-то закапало: кап, кап, кап. Все звери подняли головы, а ворона... Вот она! Сидит прямо над столом на старой кривой сосне, и слёзы у неё из глаз капают.

– Извините, друзья, – говорит. – Мне соринка в глаз попала. Сейчас я приведу себя в порядок и сяду с вами за стол. А вы пока кушайте, кушайте, угощайтесь.

– Слушай, Прошка, – сказал бобёр, – неужели и ты будешь сидеть за столом после всего, что ты тут говорил про ворону?

– Конечно, буду! – сказал Прошка и захрустел морковкой. – Мы ведь с вороной не только хорошие, мы ещё и слегка хитрые.

И тут он рассмеялся и рассказал зверям, как научил ворону сделать так, чтобы она смогла сама услышать, как звери на самом деле к ней относятся.

Очень хороший день рождения получился у вороны.

Прошка волшебник

Нашёл заяц Прошка бинокль в лесу под берёзой. Маленький такой. Но видно в него далеко-далеко. И ясно всё, как на ладони.

– Красота! Волшебная штука!.. А что, если мне волшебником стать? – подумал Прошка. – В шутку, конечно.

Сказано – сделано. Целый день наблюдал он в бинокль за своими лесными товарищами, а как стало вечереть, побежал к лягушке.

– Здорово, лягушка! Посмотри-ка на меня, я волшебник! Хочешь, скажу, что ты делала, когда солнце над самой высокой сосной стояло? Так вот, ловила ты, ловила бабочку, а поймала жёлтый осиновый лист.

– Верно! – удивилась лягушка. – А ты откуда за мной подсматривал?

– Да ниоткуда не подсматривал. Волшебник я! Пойдём со мной, я тебе докажу.

Шли они, шли. Пришли к белке.

– Слушай, белка, скажи, только честно, когда солнце над самой высокой сосной стояло, ты орех лесной несла? Хотела в старое дупло спрятать, а потом передумала, в новое спрятала?

– Верно! А ты откуда за мной подсматривал?

– Да подумай своей головой, где лягушка, а где ты! Разве мог я за вами двоими сразу подсматривать? Волшебник я! Пойдём с нами к бобру.

Пошли они втроём к бобру. Прошка и бобра удивил до изумления. А потом ещё и дятла, и ворону.

– Эй, ворона! – закричал он. – Ты зачем чужое гнездо с ветки сбросила?

Ворона как летела, так и упала камнем вниз:

– Во-первых, не сбросила, а случайно уронила. А во-вторых, подсматривать очень некр-р-расиво!..

– Да не подсматривал он! – закричали звери хором. – Не мог же он сразу в пяти местах быть. Просто волшебник он. Волшебник!

И понеслось по лесу: «Волшебник! Волшебник!» Слухи, споры, разговоры. И все почему-то с вопросами стали к вороне обращаться:

– А сны он разгадывать может?

– Может!

– А грозу остановить может?

– Может!

– А болезни лечить может?

– Волшебники всё могут! – гордо говорила ворона. – Кто больной, подходи по одному. Я вас записывать буду. У тебя что, насморк? За лечение три морковки. У тебя что – крыло побаливает? Готовь пять морковок...

И вот ворона пишет, пишет, а звери всё идут, идут.

– Ёж, у тебя что? Что болит, говорю?

– А ничего не болит.

– Что ж ты тут стоишь, нахмурился?

– Да вот, хочу волшебнику вопрос задать.

– Вопрос – всё равно что консультация. Я тоже буду участие принимать. Значит, четыре морковки да плюс три...

Но ёж уже не слушал ворону. Он подошёл к Прошке:

– Скажи, пожалуйста, ты в самом деле волшебник? Молчишь? Ну что ж, тогда я тоже волшебник. Например, могу тебе сказать, что ты делал, когда солнце над самой высокой сосной стояло... Я как раз к тебе в гости шёл. Смотрю, чем это Прошка так увлечён? Ага, понятно, нашёл где-то бинокль, за зверями подглядывает... Хороший бинокль. Но больше ты его не получишь. Опасно тебе его давать. Это же надо, волшебником себя объявил, лечиться к тебе идут. Вон даже лось из соседнего леса пришёл. А ты можешь лечить? Отвечай, можешь??!

– Так я же... Я хотел пошутить! – закричал Прошка. – Только пошутить! – и горько заплакал. Очень жаль ему было бинокля.

– Хороши шутки! Весь лес переполошил... Вот что, нашёл я твой бинокль под кустом, там, где ты его припрятал. Хотел было в речку бросить от греха подальше, а потом подумал: отдам-ка я его кроту. У него зрение слабое, ему полезно... Вот так. А теперь извинись перед зверями и перестань реветь!

Но Прошка никак не мог угомониться. Он всхлипывал всё громче, всё жалобней. А потом и вовсе зарыдал в голос. Все кинулись его утешать. Но куда там!

И чем бы это кончилось, неизвестно, но тут как раз крот появился. Послушал он Прошкины рыдания, понял что к чему да и говорит:

– Не плачь, приятель!.. Мои глаза устроены так, что никакой бинокль им не поможет. Поэтому ёж отдал его мне, а я отдаю тебе. На, владей, – и повесил бинокль Прошке на шею. – Только один уговор... Ты ведь добрый, Прошка?

– Я очень, очень добрый!

– Ну, а раз добрый, то владей этой штукой не один, а со всеми нами. Кто захочет посмотреть в дальнюю даль, дай ему эту штуку на минуту-две. И лягушке дай, и бобру, и белкам... Договорились?

– Договорились!

Тут все звери зашумели радостно, засмеялись. Даже ворона засмеялась. Но потом сказала:

– Пр-р-равильно! Только за каждый просмотр – полторы морковки. Становитесь в очередь, я вас записывать буду.

– Нет! – сказал Прошка. – Нет! – и даже ногой топнул. – За морковку каждый дурак может добрым быть. Верно, крот? А я просто так буду добрый. На, смотри, ты первая. Бесплатно.

И Прошка протянул бинокль вороне.

Как Прошка дятла с вороной помирил

Поссорились дятел с вороной. Да как! Того гляди подерутся. Летают на лесом, орут друг на друга.

– Уйди! Улетай отсюда! – кричит дятел. – Это моё дерево!

– Нет, моё! – кричит ворона.

А дерево-то! Смотреть не на что. Сухая, кривая осина.

Собрались звери на крик. Ёж говорит:

– Слушай, дятел, зачем оно тебе, это дерево?

– Как зачем? Там под корой иногда очень вкусные жучки-червячки попадаются. Я сегодня прилетел, а ворона меня гонит!

– А тебе, ворона, зачем оно?

– А просто так, из принципа. Может быть, я на этой осине отдыхать люблю. Там вид на речку красивый. И вообще от моего гнезда она намного ближе.

– Нет, – говорит дятел. – От моего дупла до неё и вовсе рукой подать!

– Ну вот и хорошо, – говорит ёж. – Так и решим. От кого эта осина ближе, тот её и хозяин.

Послали зайца Прошку шагами расстояние мерить. Мерил он, мерил. Раз десять со счёту сбился. Приходит, да и говорит наобум:

– Так на так получается. И до вороны от этой осины триста шагов, и до дятла – триста. Так что пускай они вместе ею владеют.

– Нет! – кричит ворона. – Ни с кем я своё добро делить не желаю. Вот что, дятел, когда завтра с утра пораньше я прилечу к этой осине, чтоб тебя там и близко не было!

– Ах, так?!

– Да, так!!

Тут они опять взлетели над лесом, и понеслось:

– Это моё дерево!

– Нет, это моё дерево!

Делать нечего, стали звери расходиться. Белки ускакали, за ними лягушка упрыгала. Пчела улетела. Остались только заяц Прошка да ёж с бобром.

– Надо же, какая неприятность в лесу, – говорит ёж. – А как их угомонить, ума не приложу. Уж лучше бы её вовсе не было, этой осины!

– Как? – встрепенулся Прошка. – Как ты говоришь?

– Да я говорю, не было бы осины, не было б и вопроса. Ну ладно, я пойду. Нора у меня осыпалась, поправить надо...

Ушёл он, а Прошка говорит бобру:

– Не было бы осины, не было бы и вопроса... Но она есть. Значит, что? Значит, надо сделать так, чтобы её не было. Согласен?

– Да я, Прошка, почти всегда с тобой согласен. Только я не пойму, к чему ты это?

– А вот к тому. Зубы у тебя острые? Острые! Ну вот и давай режь эту осину под корень. Да пониже, чтобы пенёк не сильно торчал.

– А дальше что?

– А дальше – не твоя забота.

Короче говоря, долго ли, коротко ли, срезал бобёр осину, потом «распилил» зубами на короткие поленца, как Прошка велел. Утащили они её по частям куда подальше да и бросили в овраг.

– Всё! – говорит Прошка. – Теперь приходи сюда завтра чуть свет. И я приду. Посмотрим, что будет.

А было вот что. Первым прилетел дятел. Поискал он, поискал осину. Нету. Сел на сосне и задумался. А тут и ворона прилетела. Туда шасть, сюда шасть. Нету осины. Увидела дятла.

– Ты что это?! – говорит. – Куда осину подевал?

– Одумайся, ворона, – говорит дятел. – Мне ли с такой деревиной справиться?

– И то верно. Может, не на то место прилетели? Давай-ка вместе поищем.

И вот летают они над лесом, перекрикиваются: «Ну что, нету?» «Нету»...

Устали, измаялись. Сели отдохнуть. Ворона говорит:

– Жалко, хорошая осина была... Ну ничего, я себе другую найду.

– И я найду, – говорит дятел. – Мало ли таких по лесу разбросано.

– А что ж ты раньше не нашёл? Что ж ты на эту прилетел клювом стучать?

Вздохнул дятел да и говорит:

– Веришь ли, ворона, мне иногда так скучно, одиноко бывает. Поговорить бы с кем-нибудь. А тут вижу, ты на осине сидишь. Ну, думаю, дай подлечу, а вдруг словом-другим перемолвимся...

– Вот чудак! Так бы и сказал. Я поговорить – всегда пожалуйста. Мне тоже иногда и скучно, и одиноко бывает... Только ты учти, сама-то я хорошая, но характер у меня очень плохой. Если тебе это подходит, давай одно дерево на двоих искать. Там и будем сидеть вдвоём, беседы беседовать.

– Давай! – обрадовался дятел. И полетел.

– Бери левее! – крикнула ворона. И тоже полетела.

И вот летят, летят они высоко над лесом. А Прошка с бобром стоят, смотрят им вслед и улыбаются.

Прошка почти гений

Ну, история!

Пропали у белок грибы. Все, что они сушили на зиму, всё пропало!..

Собрались звери. Что делать?

– Мы, – говорят белки, – без грибов не выживем. Надо будет с первым снегом ближе к городу перебираться. Там – то хлебную корку найдёшь, то ещё что-нибудь. Бывает, дети даже конфеты бросают...

– Конфеты – это хорошо, – говорит ёж. – Но давайте сперва подумаем, разберёмся. Как вы сушите эти грибы? Где сушите? Мы ж ничего про это не знаем!

– Да ведь как, – говорят белки, – находим гриб, накалываем его на колючку или на сучок острый, он и сушится... А место у нас одно. Надо долго вдоль ручья вот этого идти, потом... Да лучше мы вам покажем.

Пошли звери вдоль ручья. Идут гуськом. Впереди белки, за ними – ёж с кротом, дальше – лягушка и дятел с вороной. А бобёр совсем отстал. Идёт, вздыхает...

– Ты что, – говорит заяц Прошка, – плохо себя чувствуешь?

– Плохо, Прошка, плохо!.. Но ты не обращай внимания...

Короче, шли они, шли и дошли до нужного места.

– Здесь! – говорят белки. – Вот здесь! Ох, ох! – и заплакали...

Стали звери шарить по кустам. Все сучки, все колючки осмотрели. Нет ничего! Хоть бы один гриб где остался! Нету!!!

– Кр-р-ража! Гр-р-рабёж!! – говорит ворона. – Наверное, белки из соседнего леса здесь орудовали!

– Скорей всего, это люди, – сказал ёж. – Как думаешь, бобёр?

А бобёр молчит. Отвернулся даже. Посмотрел на него Прошка, покачал головой, да и говорит:

– А мне кажется, что здесь тайна какая-то. Можно сказать, секрет природы. – И опять смотрит на бобра. – Не простой, конечно, секрет. Но я не я буду, если я его не разгадаю!

Тут все звери радостно зашумели, белки заохали, ёж говорит:

– Ты, конечно, Прошка, – голова, но где уж тебе секреты природы разгадывать?! Зря ты белкам надежду подаёшь.

– Ах, зря?! – говорит Прошка. – А если не зря, тогда что?

– Тогда я перед тобой извинюсь и скажу, что ты у нас гений. А теперь предлагаю пойти домой, там думать будем.

И опять пошли звери той же дорогой вдоль ручья. Только теперь бобёр впереди всех шагал. Пыхтит, торопится. Догнал его Прошка, толкает в бок:

– Ну так как, – говорит, – насчёт секрета природы? А?! Один я его, пожалуй, не разгадаю. Давай вместе... По-моему, ты мне что-то сказать хочешь. Или мне это кажется?

Помялся тут бобёр, покряхтел, да и говорит шёпотом:

– Хочу, Прошка, хочу... Понимаешь, друг, никакого тут секрета нет. Это всё я, дурак, наделал. В том месяце перегородил я ручей в самом верховье, поставил плотину. Казалось бы, никому она не помеха. А оно, видишь, что вышло. Ручей из-за неё совсем по другому руслу

потёк. А белки этого не понимают. Они как ходили вдоль ручья, так и ходят. А это уже совсем другой ручей, и течёт он в другом месте... В общем, гиблое дело с этими грибами!

– Но, погоди, старое русло ведь найти можно!

– В том-то и дело, что нельзя. Оно давно высохло и травой заросло... Ох, дурак я, дурак. Убить меня мало!

– Может и так... – говорит Прошка. – Но вот я тебе другое скажу. Ты плотину ставил? Ставил. Значит, и переставить можешь. А если можешь переставить, значит, можешь сделать и так, чтобы ручей опять по своему старому руслу потёк...

– А вот это могу! – встрепенулся бобёр. – Очень даже могу! Как это мне сразу в голову не пришло?! Правда, работы там... Мне одному и в три дня не управиться.

– А почему одному? Нас ведь двое! Мы как подналяжем!..

И подналегли. Весь вечер, всю ночь разбирали Прошка с бобром плотину в одном месте, а ставили в другом. Брёвна мокрые, тяжёлые, глина вязкая... Но – вперёд, вперёд! Не то что отдохнуть не присели, воды попить не остановились. А как луна померкла, и стало светать уже, новая плотина – вот она. Упёрся в неё ручей, поблуждал туда-сюда, а потом хлынул вниз в нужное место и потёк, побежал по своему старому руслу.

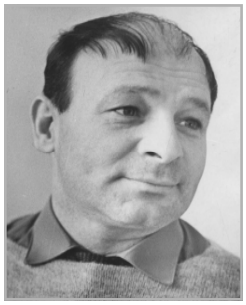
Что дальше? Белки нашли свои грибы. Большое веселье было в лесу по этому случаю. Все поздравляли Прошку. Даже ворона. А ёж извинился перед ним при всех и назвал почти гением.

– А почему это «почти»? – удивился Прошка.

– А вот потому! – сказал ёж. – Это же не секрет природы то, что ты разгадал. Но это, можно сказать, почти секрет природы. Так что ты почти гений. Но не огорчайся, станешь ещё и полным гением. Какие твои годы!

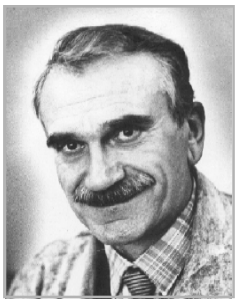
– И станет! Станет! – сказала лягушка.

– Конечно, стану! – сказал Прошка и засмеялся. – Надо же, чтобы в нашем лесу был хоть один настоящий гений!



Леонид Завальнюк - Игорь Игнатенко

От редакции. Предлагаем вашему вниманию интервью с Леонидом Завальнюком, взятое амурским поэтом Игорем Игнатенко на исходе XX века.



«ПРОЧТИТЕ МНЕ ТОЛЬКО ПО ПАМЯТИ...»

Игнатенко. С Леонидом Завальнюком я познакомился лично в конце 60-х годов, когда мы вместе с ним и другими амурскими литераторами выступали на встрече с читателями в благовещенском Доме политпросвещения. Этот дом примыкал к теперешнему зданию областного краеведческого музея, в котором на ту пору был обком КПСС. Но заочное знакомство состоялось значительно раньше, когда ещё школьником я прочитал в «Литературной газете» стихотворение Завальнюка «Снова стихами повеяло…» Оно, наряду со стихами других любимых поэтов, на долгие годы стало определяющим в моём понимании поэтического творчества. Особенно в атмосфере грядущих «застойных» лет, сменивших пору так называемой хрущёвской «оттепели». Набившие оскомину лозунги, призывы и прочие волевые «императивы» словно бы отменялись напрочь строчками завальнюковского произведения, давали в затхлой демагогической атмосфере глоток свежего воздуха. С моими тамбовскими друзьями-одноклассниками Толей Дробязкиным, Лёшей Селивёрстовым и Толей Деревянко мы выучили наизусть это стихотворение, и оно стало нашим поэтическим «паролем». Особенно подкупала та часть стихотворения, где автор обращался к памяти любимого нами Сергея Есенина, цитируя строчки из его поэмы «Анна Снегина». С тех пор считалось знаком хорошего тона выучивать наизусть «десяток хороших строк» из каждой новой поэтической книжки, попадавшей в наши руки. Тем более что рядом с именем Завальнюка встали имена его сотоварищей по литературному цеху Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной, Рождественского и других, менее громких, но не менее талантливых «поэтов-шестидесятников». Особенно подкупало то разноголосие, которое буквально с лёту позволяло различать их в общем литературном «хоре». Мы явственно слышали спокойные обертоны поэзии Леонида Завальнюка, поскольку он был, несмотря на своё московское местожительство, всё-таки наш, амурский – не по рождению, а по стартовой творческой «прописке». Это давало нам надежду на успех и своей мечты. А мечтали мы о разном, но обязательно о высоком и ярком, чем впоследствии жизнь нас и одарила каждого по его мере и старанию.

Теперь, собственно, о самом интервью. Сделаю несколько пояснений, чтобы вам была понятней и ближе атмосфера, в которой интервью записывалось. В конце девяностых годов я на Амурском радио вёл авторскую программу «Стезя». Эти были, пожалуй, одни из самых счастливых лет в моей журналистской биографии. Своих собеседников я выбирал сам, никто не диктовал их список, никакая партийная власть не давила на психику при выборе тематики бесед. Это было то, что на молодёжном сленге называется «кайф». Я долго не верил, что такое возможно, и постоянно твердил себе мысленно: когда-то эта вольготность кончится. И действительно, радиопрограмма «Стезя» просуществовала всего около трёх лет, я успел подготовить сто шестнадцать выпусков, заработать прочный высокий рейтинг слушательской популярности, и на том моя программа по произволу тогдашнего председателя ГТРК «Амур» почила в бозе.

Именно в ту пору я и встретился с Леонидом Завальнюком. В декабре 1997 года он приехал в Благовещенск погостить у своего друга Марка Гофмана. Мы договорились с Леонидом Андреевичем встретиться и поговорить у микрофона в домашней атмосфере, чтобы избегнуть студийной неуютности. В назначенный день и час мы сидели за столом в гостиной комнате, уставленной книжными шкафами. Я выложил перед Леонидом Андреевичем принесённые с собой сборники его стихотворений, которые снял с полки своей домашней библиотеки. Он оставил автографы на каждом из них, а затем мы приступили к разговору. Поскольку особенности жанра радиоинтервью диктовали свои законы, иной раз я был вынужден задавать вопросы, ответы на которые знал заранее из наших прежних бесед или иных публичных выступлений моего «визави». Приходилось учитывать и то обстоятельство, что не все из наших предстоящих слушателей были глубоко знакомы с творчеством Завальнюка. Для некоторой части молодёжи это имя вообще звучало впервые, и это тоже надо было понимать.

И ещё: переведённая в текстовой вид устная речь Завальнюка неизбежно потеряла свой фонетический колорит. Глуховатый спокойный голос поэта вы уже не ощутите, равно и его речевые повторы, усиливающие ту или иную мысль, паузы и даже дыхание. То же самое касается и просторечных выражений, которые я не то чтобы «причесал», но слегка поправил, чтобы в тексте они не выглядели заурядно простецкими. Но поверьте, редактуры в этом интервью не так уж и много, она вовсе не касается сути затрагиваемых нами вопросов.

И наконец, на рабочей магнитной плёнке общее звучание нашей беседы достигло около полутора часов. Пришлось кое-что сокращать едва ли не вдвое, чтобы выкроить минуты для песен на стихи Завальнюка. И всё равно потребовалось разделить готовое интервью, первая часть которого прозвучала на «Вечернем канале» Амурского радио 23 декабря 1997 года, а окончание вошло в программу «Стезя» 26 декабря. Разумеется, для альманаха «Амур» я вновь объединил эти части.

* * *

Игнатенко. Леонид Андреевич, вот ещё один год, 1997-й, подходит к концу. Конечно, у каждого человека сейчас пора подведения итогов в пути. Ваша первая книжка стихотворений так и называлась – «В пути». Вот она у меня в руках – маленького формата, в твёрдом переплёте. На обложке рисунок – солнышко встаёт… На каком примерно отрезке пути сейчас и жизнь ваша, и солнышко? Начнём с этого года, а потом обратимся к более ранним годам.

Завальнюк. Да я как-то думаю всё об одном и том же, когда смотрю на эту книжечку, «В пути». Это ведь первая моя книжка, которая вышла здесь в Благовещенске в 1953 году. Потому что я очень молод был, и книжка была слабенькая. Но я с удовольствием на неё смотрю… Тогда, по сути, и началась моя творческая жизнь. А вот последняя книжка, которая издана в прошлом году, она называется «Беглец». Это итоги не итоги, но в подзаголовке значится: «Стихи разных лет». Сюда не вошли, конечно, стихи, которые были в первой книжке, «В пути».

Из остальных книг, которые выходили и в Благовещенске, и в Хабаровске, и в Москве потом, в эту книжку «Беглец», конечно, стихи вошли. И вошли стихи, написанные в последние семь-восемь лет. Смотрю на своего «Беглеца» и вижу, что практически мало что меняется в моих устремлениях. О чём я старался писать ранее, о том я и теперь пишу. Пишу о любви, о человеческой близости. О земле пишу, потому что в этой теме заключено многое. Вот круг моих тем, он немудрящий, что называется. Но это явления очень крупные – и любовь, и близость. Думаю, этих тем мне хватит до конца моих дней. Не собираюсь менять ни свою профессию, ни свою нравственную ориентацию. Как всё было, так оно и будет.

Игнатенко. Леонид Андреевич, ничего случайного в жизни не бывает. В том числе даже и в названиях книг. «В пути» понятно – это романтика молодости, это то советское время – стройки, энтузиазм созидания. В общем, некий пафос. А вот «Беглец»… В чём значение этого названия, если не секрет? Или вы это оставляете для расшифровки читателю?

Завальнюк. Эту книжку я не знал, честно говоря, как назвать. И вообще с названиями книжек у меня дело плохо обстоит. Как доходит до этого, так я начинаю мучиться, перебирать варианты. Попервости эта книжка должна была называться «Молитва о доме». Почему «Молитва»? Потому что в ней заключены молитвенные мотивы. Я имею в виду не церковные молитвы, не «Отче наш», а просто мотив молитвенный, обращение пронзительное к чему-то, что может быть выше и дальше того, чем мы занимаемся в обыденности, что мы видим каждый день. Это обращение мне свойственно. Не знаю, насколько мне это удаётся, но, во всяком случае, это именно так. Я уже было решился и хотел назвать её именно так, как задумал, – «Молитва о доме». Но, знаете, какие сейчас времена… Времена сейчас очень сложные! Сложные они и для поэзии в том числе. И, конечно, мне хотелось, чтобы эта книжка не просто лежала на прилавке книжного магазина, а её кто-то купил, прочёл… Мои друзья (я как раз был в ту пору в Польше, есть такой польский режиссёр Ежи Гофман, мы у него гостили с женой) как-то в разговоре поинтересовались: «Что ты собираешься делать сейчас?» – Я ответил, что собираюсь выпускать книжку. – «А что там за стихи?» – Я почитал стихи. – «А как называться будет?» – Да будет называться «Молитва о доме». – «Почему “Молитва о доме”? Вообще сейчас все на религию накинулись, и туда её суют, и сюда суют. Вот и твой религиозный мотив будет восприниматься как конъюнктурный. Нельзя так называть!»

В чём, в чём, но в стихах меня столкнуть с моей убеждённости трудно, а в названиях я очень подвижен. Я говорю: «Ну, хорошо, Ежи, а вот ты снял столько фильмов, и все они называются у тебя очень хорошо, красиво. Как бы ты назвал книжку?» – «А вот по этому стихотворению, которое у тебя тут есть, я бы её и назвал». – А стихотворение такое… Почему меня это убедило, потому что в нём есть те мотивы, которые мне важны. Послушайте. Оно называлось «Беглец» и открывало книжку.

Из жести смастерили крупорушку
И перетёрли прелое зерно,
И стало жёлтой кашею оно,
Весёлый дух распространив на всю избушку.
Таская прошлогодние снопы
И молотя вишнёвым кнутовищем,
Я находил всё то, чего мы ищем
На дальних берегах неведомой тропы.
Я был романтик, Господи прости,
Такого сильного и сочного замеса,
Что мог полкрови уплатить за место,
За право в горькой гордости расти.
Я был добытчик хлеба и тепла, –
Глава семьи в свои пятнадцать с малым.
Пронизанная током страсти алым,
Светло и тяжко жизнь моя текла.
И всё ж зимой, скормив корове крышу,
Потом дорезав, стельную, её,
Я бросил дом и в лютый холод вышел,
И в мир чужой пошёл через жнивьё.
Я понял вдруг, что не могу спасти
Огромный нищий край, попавший в недороды.
И долго брёл я поперёк свободы,
Живую душу унося в горсти.

Так вот, бежать, быть беглецом, унося живую душу в горсти, с моей точки зрения, – это как раз то, что свойственно очень многим стихам этой книги. Всё может быть, всё может пропасть, но душа пропасть не должна. Её надо уносить, даже будучи беглецом, от чего бы то ни было. От всего – от нынешней действительности, от завтрашней бесперспективности – от всего живую душу надо вынести. Вот как возникло это название.

Игнатенко. Не хочу вам возражать, но всё-таки «беглец»… Мне кажется, что применительно к вам очень верно выражение одного из поэтов, что все мы родом из детства. Я вспоминаю ваши стихи, где описана Украина, тяготы войны, где вы рано почувствовали себя ответственным не просто за самого себя, а за семью, за других людей. Раннее взросление – это ведь определило вас на всю жизнь, как ни страшно само слово «война», да? Из детства-то вы никуда так и не убежали.

Завальнюк. Да, конечно. С войной у меня очень много связано и в жизни, и в стихах, естественно. Я беглец от войны? Нет, я не беглец от войны. Потому что я несу её с собой всё время – и эти времена, и всё, что там было. Что касается войны… Вы понимаете, вот сейчас со временем рождаются молодые люди, которые при слове «война» скорее вспомнят Афганистан или даже, если хотите, Чечню. А та война так глубоко где-то в истории, что кажется, её и не было. Но тем не менее на всех людях – и тех, которые рождаются и даже родятся завтра, – всё равно след этой войны и этой Победы существует. Для меня это очень важно, и я об этом много пишу.

Игнатенко. Украина… Говорю это имя, а в ушах певучая речь украинская. Однако сколько ни читал ваших стихов, не помню такого, чтобы вы применяли её. Вы на украинском языке когда-нибудь пробовали писать? Повлияла на вас «ридна мова»?

Завальнюк. Очень повлияла, очень! Есть люди, которые интересуются моими стихами, которые знают поэзию хорошо, в том числе и украинскую поэзию. Они очень часто говорят, что одним из моих учителей, может быть даже главным, является Тарас Шевченко. Его поэтическая речь – она чисто украинская. Сама его поэзия украинская. Она построена на украинской фонетике, на украинском синтаксисе. И у меня очень много влияний. Но на украинском языке я не пишу никогда. Дело в том, что, когда я был ещё мальчишкой и жил на Украине, я написал свои первые стихи почему-то по-русски. Это трудно объяснить почему, но тем не менее… Сейчас я не помню их наизусть, помню только, там были такие строчки, голодное время как раз было на Украине: «Поля зарастут бурьянами… / И будет степь целиною лежать, / Ведь не зря говорил нам Некрасов: / “Учись мужика уважать…”» Это значит, себя я считал мужиком, кто-то должен был меня уважать. Эти стихи я показал отцу, он меня пожурил не как критик, а как человек близкий: «Слушай, Лёнька, что ты пишешь вот: “Поля зарастут бурьянами…” Некрасов там, всё… Вот хочется тебе есть, ты голодный. Ты и напиши: “Я голодный, хочется есть…” Или ещё что-нибудь. Что тебе хочется, то и пиши. Что тебя сейчас задевает, о том и пиши». И хотя это замечание было непрофессиональное, но тем не менее я старался с тех пор следовать этому совету.

По-украински я не писал до самого последнего времени. И вдруг ночью проснулся, буквально месяц тому назад, как раз у меня была другая работа: я заключил с одним издательством договор и пишу для них стихотворную «Азбуку». Мне нужно было написать как раз на какую-то букву стихотворение. Я лёг, задал себе задание на ночь что-нибудь придумать. Бывает, что во сне придумываю… А проснулся я от того, что у меня в голове какие-то украинские строчки шевелились. И вот первый раз за всю жизнь я написал стихотворение на украинском языке. Самое интересное, что последние свои стихи я отдал в журнал «Новый мир», меня попросили, и я случайно Олегу Чухонцеву, который там заведует отделом поэзии, прочёл и это украинское стихотворение. Он подумал, подумал и говорит: «Надо его напечатать». Я говорю, ну как же, все будут на русском, а это… – «Ничего!» – И решили напечатать стихи не украинским шрифтом, где «и» с точкой, а в русской транскрипции. А стихотворение звучит так:

Сидаймо, друже. На столи
В мысках, у горщиках, на блюди
Ложится тэ, що добрым людям
Приемно исты на земли.
Сидаймо, друже, як бувало,
Картопля жовтый пар пуска,
Такою в вик не коштувалы
Ни дядько Кыив, ни Москва.
А оселедцы, а свынына!
Так налывай – и пьем до дна
За нас, за тэ, що батькивщину
Николы вже нэ бачыть нам.

Игнатенко. Мне кажется, это очень интимный момент, когда в вас проснулась родная украинская речь. А это влияло на вас в зрелые годы, когда вы стали поэтом, на стихи которого у нас в стране очень широко зазвучали песни, – украинская певучесть, музыкальность?

Завальнюк. Может быть, это получилось само собой. Я как-то написал однажды: «Песню нельзя сочинить, / Песни рождаются сами…» Это был рефрен моей песни. Но это хорошо в стихах говорить, что песни рождаются сами, а так по жизни, по практике сами песни не рождаются. Дело в том, что музыкальность у меня очень средняя. Если я пел, то лишь в компании друзей, здесь в Благовещенске мы когда-то очень много пели.

Игнатенко. Насколько я знаю, среди них был и самодеятельный композитор, журналист «Амурской правды» Абрам Ривлин.

Завальнюк. Да, как раз в доме Абрама Григорьевича иногда мы пели песни с моими друзьями – Марком Гофманом и Сарой. И когда я слишком громко выступал в этом хоре, Марк Либерович, как правило, меня осаживал, чтобы я потише пел, потому что я фальшивил. Но дело в том, что я музыку очень люблю. Любил то, что сочинял Ривлин, мне это очень нравилось. И в один прекрасный момент, естественно, мы сошлись, поэт и композитор. Абрам Григорьевич попросил меня написать стихи на его уже готовую музыку. Он, что называется, буквально запер меня в квартире, оставил мне схему, «рыбу» так называемую, и я написал стихи. Это была песня «Амур снарядами вспенен, / Исхлестан яростью свинца…» и так далее: «Здесь партизанский батальон / Оставил лучшего бойца». Вот так я написал свою первую в жизни песню. И потом с Ривлиным мы написали ещё достаточно много песен. В дальнейшем он писал на уже готовые стихи. Потом я уехал в Москву и там продолжил это своё занятие. На Всесоюзном радио так получилось, что судьба свела меня с Юрием Саульским, с которым я написал многие свои популярные песни, во всяком случае известные.

Игнатенко. Мне бы очень хотелось, чтобы сейчас прозвучала одна из ваших с Саульским песен. А мы тем временем отдохнём, соберёмся с мыслями для продолжения беседы.

Завальнюк. Давайте послушаем песню, которая называется «Осенняя мелодия»: «Звучит высокая тоска,

не объяснимая словами…» Её исполняют мои друзья Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев.

(Звучит фонограмма песни).

Слеза, осенних дней примета,
Росой холодной потекла,
И журавли уносят лето,
Раскинув сильные крыла.

Звенит высокая тоска,
Не объяснимая словами.
Я не один, пока я с вами,
Деревья, птицы, облака.

Кружатся листья, как записки,
С какой-то грустью неземной.
Кто не терял друзей и близких,
Пусть посмеётся надо мной.

Звенит высокая тоска,
Не объяснимая словами.
Я не один, пока я с вами,
Деревья, птицы, облака.

Немало мы по белу свету
В исканьях радости кружим.
Порой для слёз причины нету,
Но кто не плакал, тот не жил.

И часто плачем мы невольно,
Когда дожди стучат в окно,
Не потому, что сердцу больно,
А потому, что есть оно.

Звенит высокая тоска,
Не объяснимая словами.
Я не один, пока я с вами,
Деревья, птицы, облака.

Игнатенко. Леонид Андреевич, у вас в этой песне есть строчки: «…кто не плакал, тот не жил». Вы говорили, что мальчишкой уже мужиком, крестьянином себя чувствовали. И вдруг такое… Это что: сентиментальность, слезливость? Или поэт должен себя чувствовать обнажённым человеком? Вы никогда в скорлупу не прячетесь?

Завальнюк. Нет, я прячусь в скорлупу. Прячусь, как всякий человек, который живёт в современном мире. Но дело в том, что скорлупа эта должна иметь где-то открытое место. Иначе душа не выживет. Душу, которую я уносил в горсти, можно уносить куда угодно. Но если ты сплошь покрыт цистой, непробиваемой коркой, то душа не выживет, она кончится. Поэтому открытое пространство, открытое место у меня существует, как и у всякого человека. У одного оно находится, допустим, напротив селезёнки или напротив почек. А у другого напротив сердца прямо. Эта открытость должна быть у каждого живого человека. И вот когда я говорил про Шевченко, вы возьмите «Кобзарь» и посмотрите: там слова «плакать», «слёзы» – через каждые две страницы обязательно найдёте. Это не значит, что Шевченко был слезливым. Он был человек очень крепкий, потому что прожить такую жизнь, написать такие вещи, которые он написал, – для этого нужно быть очень сильным человеком. Но и, с другой стороны, надо быть человеком очень чувствующим, очень чутким. Слёзы бывают разные. Бывают слёзы, когда хочешь выпросить чего-нибудь. Бывают слёзы, когда просишь за что-то прощения. А бывают слёзы, которые возникают от того, что ты обращаешься к чему-то очень пронзительному, к Богу или ещё кому-то, на такой ноте, когда слёзы уже, кроме молитвы, ничего не обозначают.

Игнатенко. То есть это не слёзы-жалость, а слёзы-очищение?

Завальнюк. Да, совершенно верно. Это слёзы, которые сопутствуют определённым высоким нравственным ощущениям.

Игнатенко. Хорошо. Пока вы закуриваете, полистайте заодно книгу своих стихотворений «Беглец». Может быть, в этой тональности у вас в ней что-то такое есть, чем вы могли бы поделиться с теми, кто не читал ещё, быть может, ваших стихов.

Завальнюк. Да, я с удовольствием прочту. Видите ли, я, как и каждый автор, считаю, что чем позже стихи написаны, тем лучше. Поэтому я не буду держать себя в узде, прочту из последних… *(Листает книгу, находит нужное).*

Бедное, богатое, больное,
Бездну под покатою луною,
Берег, оползающий к воде,
Крик ночного мальчика-провидца,
Морды ветров и лошажьи лица, –
И не прячьте, я найду везде.
Бедное, богатое, больное!..
В беглой тундре, в африканском зное,
В диких мегаполисных морях
Я всегда найду, пока с судьбы не сбился,
Тот единственный пейзаж,
С которым я родился,
И который крест,
И жизнь,
И родина моя.

Игнатенко. Как случилось, что вы, человек, который пишет стихи всю свою жизнь, который так тонко и глубоко чувствует лирическую струю, хотя и писали баллады, ощутили потребность писать и прозу? С годами вы обратились к этому большому и многотрудному жанру. Помните у Пушкина: «Когда, склоняяся на долгие моленья…»? Это ведь не столько эротика, сколько стихи о творчестве. Почему и как у вас это произошло? Не всё вам удавалось выговорить в лирической канве?

Завальнюк. Дело в том, что я занимался разными вещами в своей жизни. Кроме того, что я пишу стихи, я ещё рисую картины. Писал песни – это совсем другая профессия. К прозе я пришёл вполне естественным путем. Вы правильно сказали, у меня есть много сюжетных стихотворений. Они могут называться балладами, могут ещё как-то называться. Но, во всяком случае, они сюжетные. В них диалоги существуют, зачатки характеров. Желание прикоснуться к каким-то вещам, которые лежат за гранью поэтической строки, у меня было всегда. И я вышел в прозу. Первый раз я написал маленькую повестушку, это было очень давно, она называлась «На полустанке». Её вряд ли кто уже помнит или видел.

Игнатенко. А я помню, мальчишкой читал вашу «Лирическую повесть». Хотя иногда путаюсь и называю ее «Сентиментальная повесть».

Завальнюк. Да, это потому, что она действительно сентиментальная по духу. Это была моя вторая повесть. Ну а потом я написал «Дневник Родьки – трудного человека». Как это было, почему это было, сейчас я не могу даже вспомнить. Но вот однажды во мне какие-то характеры забарахтались, и мне захотелось, может быть, пьесу написать, может быть, ещё что-то. Диалоги какие-то пошли, которые я внутренне слышал. И так вышло, что я начал писать повесть.

Игнатенко. Есть такое понятие – «длинное дыхание», долгое дыхание. Лириков почему-то со спринтерами сравнивают. Вот он рванулся со старта, добежал до финиша за десять секунд – и всё, выдохся, сказал всё, что хотел. Где вы запасали терпения, сил и здоровья для этого долгого дыхания?

Завальнюк. Видите ли, долгое дыхание – это вещь относительная. Вот вы говорите: лирика – это спринт. Пробежал стометровку – и всё. У меня есть стихи, которые я писал по месяцу, по два, и потом ещё к ним возвращался и дописывал. Поэтому о моём коротком дыхании говорить трудно. Хотя стихотворение само по себе сочинение короткое, но дыхания оно требует достаточно долгого. Что же касается долгого дыхания в прозе, то я не знаю, как у других писателей, очевидно, у всех по-разному, но для меня каждый кусок повести, каждая глава, эпизод – это вещь самостоятельная, и она не требует особо долгого дыхания. Так вот, я наберу воздуху в лёгкие *(смеётся)*, напишу эту главу, а потом передохну и принимаюсь за следующую. Вы понимаете, долгое дыхание – это, как мне представляется, «Тихий Дон». Вот там уж действительно такое долгое дыхание! Или «Война и мир».

Игнатенко. Но это эпопеи.

Завальнюк. Да, конечно. Но я никогда не замахивался на такие полотна, потому что «Дневник Родьки – трудного человека» – это тоже лирическое сочинение, если так разобраться. Да и первые мои повести тоже лирические. Поэтому я прозаик, можно сказать, относительный.

Игнатенко. Поэтому, чтобы не затягивать дальше теоретизирование на эту тему, давайте почитаем дальше стихотворения, которые у вас помечены «галочками» в книге «Беглец».

Завальнюк. Давайте.

Не время знать, молчит благая весть.
Не время зреть, погасли озаренья.
Но время звать: «О свет, родивший зренье,
Явись, ты где?»
И звон тоски: «Я здесь».
И вот свинцовая вода.
Тонуть бы, но плыву.
Ах, что за сны!
Плыву я, как летаю, –
И в вечный мрак, и сквозь.
И в искрах звёзд читаю:
«Не время жить еще, но время петь».
Живу!

«Так пой же, пой!»
Тупая боль пуста.
«Надежду пой, иначе день не загорится.
Что ныне ты накличешь, то и сотворится.
Нелепо, слепо, безответно пой, но не смыкай уста».

Игнатенко. Вот это желание петь… С годами оно не проходит? Время всегда диктует нам свои условия, как бы мы ни желали задержаться в каком-либо жизненном периоде, пусть даже и самом плодотворном. А если это действительно так, то в чём преимущество вашего возраста?

Завальнюк. Мне шестьдесят семь лет. Свой возраст я ощущаю слабо. Только когда бреюсь и смотрю в зеркало, тогда я понимаю свой возраст и всякое такое… Допустим, прелесть преклонных лет, и даже старости, заключается в том, что пройден большой путь, и это всё с тобой, оно с тобой существует. И дни, недели, и вообще течение времени воспринимается совершенно по-другому. Оно плотнее, глубже, интереснее, потому что, так или иначе, оно сдобрено всем тем, что ты уже прожил. И каждый человек, с которым ты встречаешься, для тебя, с одной стороны, чистая доска, абсолютно непонятное нечто, с которым ты сталкиваешься. А с другой стороны, когда ты с ним ближе сходишься, начинаешь ощущать в нём то, что ты уже встречал и знал когда-то. Возвращаются люди, которые похожи чем-то на этого человека. И хотя ты и существо одинокое, как и всякий поэт, но ты оказываешься в окружении очень близких и родных тебе людей и нужных. Это очень важное качество, я думаю. Может, оно присуще всем, а может, только некоторым людям, я не берусь судить. Я просто говорю о себе.

Игнатенко. Помните, у Блока есть такое парадоксальное, острое, прямо бьющее в сердце восклицание: «Молчите, проклятые книги! Я вас не писал никогда…»?

Завальнюк. Да, есть такое. Но я не знаю… У Блока одни ощущения, у меня другие ощущения. У меня нет такого чувства, что мои книги надо выбросить или я их никогда не писал. Но иногда, когда я возвращаюсь к тому, что написал очень давно, мне кажется, что это не я писал. Притом, что я остаюсь самим собой, какой я есть и был всегда, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, человек не может не меняться. И то, что написано тридцать-сорок лет тому назад, иногда мне кажется написанным чужой рукой. Действительно, как будто это я никогда не писал. Я не знаю, это ли хотел сказать Блок или другое. Я говорю так, как мне чувствуется.

Игнатенко. Леонид Андреевич, у вас есть стихи, которые вы носили годами строчкой одной или даже одним словом, или даже просто интонацией какой-то. Вы чувствовали, что в этом зародыше есть стихотворение?

Завальнюк. Было, да. Долгое время у меня существовали строчки: «Ой, как нынче зажили на Руси! Умирают заживо на Руси…» И всё. Казалось бы, ну что тут такого? Ничего нету. Но лично мне в этом что-то чувствовалось и виделось. И я никак не мог выбросить это из головы. То есть я оставлял эти строчки, потом опять к ним возвращался, и снова бросал. Так, в конце концов, я ничего и не выудил из этого окончательно. Но в итоге получилось такое стихотворение.

Ой, как ныне зажили на Руси!
Умирают заживо на Руси.
Почернели дочерна те края.
С нами крестная сила,
Господи, пронеси!
Господи, спаси люди твоя
И помилуй!
Денно и нощно бьют колокола.
День и ночь, день и ночь
Колья тешутся.
Хоть шаром покати –
Ни кола, ни двора,
Негде жить,
Негде пить,
Негде вешаться.

Вот такие стихи… Были и ещё другие вещи, которые я сейчас вот так, сходу, может быть, и не вспомню. Но были, были строчки. Помню, долго мне не давало спать и спокойно себя чувствовать такое вот: «И выпало два снега в этот день. Два белых снега – первый и последний…» Но, в конце концов, кончилось тем, что я написал песню, где был такой рефрен: «И выпало два снега… И выпало две песни в этот день…» Музыку написал Саульский.

(Звучит песня «Два белых снега»)

Ломилась в окна звёздная сирень,
Висела ночь на тонкой нитке звука.
Мне выпало две песни в этот день –
В одной свидание, а в другой разлука.
Венок Луны, надетый набекрень,
И Млечный Путь, наброшенный на плечи.
Мне выпало два ветра в этот день –
Один попутный, а другой навстречу.
И ночь ушла, и канула, как тень,
Горел рассвет, неповторимо летний.
И выпало два снега в этот день,
Два белых снега – первый и последний.

Игнатенко. Леонид Андреевич, у меня в руках ещё один ваш сборник стихотворений из тех, что лежат на столе. Он называется «Листопад». А я помню песню о листопаде, как «черноглазая москвичка загляделась» на автора. Это стихотворение рождалось с предощущением быть песней? «Осторожно, осторожно, осторожно – листопад!» – откуда этот рефрен?

Завальнюк. Дело в том, что я тогда учился в Литературном институте. Вначале я был в семинаре Павла Антокольского, а потом перешёл в семинар ко Льву Ошанину, который известен всем как автор многих интересных, замечательных песен. Поэтому и нам он много о песне толковал. Однажды он сказал: «К следующему семинару попробуйте написать песню о Москве». Ну, к Москве у меня было очень сдержанное чувство в те времена, я не чувствовал себя московским человеком. И вообще мне казалось, что большой город не очень подходящее место для жизни и написания стихов. Я не мог написать стихи о Москве как о Москве. И вот, поскольку осень была тогда, я написал свой «Листопад».

Я не видел, я не знаю
Замечательней поры.
Осень пала золотая
На московские дворы.
Не заметить невозможно,
Всюду надписи висят:
«Осторожно! Осторожно!
Осторожно – листопад!»

Потом прошло какое-то время, долгое довольно. Я давал стихотворение кому-то из композиторов, никто ничего не написал. И уже совсем недавно где-то я выступал, не помню где, в каком-то институте. И в ответ на моё выступление вышли две студентки и спели песню «Осторожно, листопад». Я говорю: откуда, что это? Они отвечают: «Это наша институтская песня. Уже на протяжении многих-многих лет она передаётся от одного поколения к другому». А кто музыку написал? Говорят: «Вот одна дама написала музыку, когда-то она у нас преподавала. С тех пор песня и существует».

Игнатенко. Леонид Андреевич, в этот раз вы приехали в Благовещенск зимой, хотя делали это раньше весной или осенью. Я вижу перед вами рукописи. Наступил новый период в вашем творчестве – зимний, да?

Завальнюк. Процесс познания языка бесконечен, огромен и разнообразен. Он не зависит от времён года напрямую. Вот, кажется, ты уже всё знаешь. Но это ты с одной стороны подошёл к языку. Можно ещё подойти с другой, третьей, четвёртой… Могу в подтверждение этой мысли привести стихотворение, называется «Тундра».

Каменная статуя сидела
На пустынном берегу морском
И пустыми дырками глядела,
Как глядит гроза перед броском.
А когда от чёрного причала
Беглая звезда оторвалась,
Ставши в рост, она так страшно закричала,
Что из крика птица родилась.
Жизнь близка, но и не жизнь близка мне
С той поры, как я не ведаю границ
Меж моей землей и той, где обитают камни –
Камни, извергающие птиц.

Игнатенко. Леонид Андреевич, вам не навязли в зубах некие «литературные обоймы», которые составляют литературоведы, журналисты, люди, занимающиеся библиотечным делом? У вас есть своя «обойма», или, если попроще сказать, круг людей, которые вам дороги, близки, без которых Завальнюк не был бы Завальнюком?

Завальнюк. Ни в какие «обоймы» я никогда не входил. В предисловии к книжке «Листопад» Александр Межиров написал, что Завальнюк всегда был сам по себе, ни в какие «обоймы» он не входил. Хорошо это или плохо, никто не знает… Так оно и есть на самом деле. Я абсолютный одиночка. И если есть люди, которые влияют на меня и оказывают воздействие на то, чем я занимаюсь, то они, как правило, не поэты, и не писатели, и не художники. Человек, который оказал на меня огромное воздействие и продолжает оказывать, это Марк Либерович Гофман, с которым мы знакомы уже

больше сорока лет. Это не значит, что абсолютно всегда я согласен с тем, как он понимает то или иное поэтическое явление. У нас очень много расхождений. Но тем не менее у него очень высокие художественные критерии, хорошее знание поэзии, литературы. И не только русской, но и украинской в том числе, потому что он киевлянин, украинский язык прекрасно знает. У меня есть стихи, я их цитирую иногда при случае. Повторю ещё раз: «Где дом друзей, там родина моя». Я ведь не благовещенский человек, я с Украины. А здесь я служил в армии, здесь познакомился с Марком. Здесь вышла моя первая книжка. И так получилось, что и он, и я очень привязаны к этому краю. Но если бы не было здесь Гофмана, мне было бы очень трудно сюда приезжать. А так у меня два позыва: с одной стороны, это земля, к которой я привязан, и, с другой стороны, этот человек, который очень влияет на всё, что я делаю. С моей точки зрения, влияние это незаменимое.

Игнатенко. На подходе к семидесятилетнему рубежу вы перечитываете кумиров вашей юности, молодости? Допустим, того же Пушкина, Лермонтова. Они что-то вам говорят сейчас, возбуждают прежние чувства? Или вы, став им по паспорту дедушкой, уже не зажигаетесь от их стихов?

Завальнюк. Я хотел бы прочесть стихотворение, которое написал совсем недавно. Оно, я думаю, отвечает на этот вопрос. Эпиграф – «Белеет парус одинокий / В тумане моря голубом. / *Лермонтов*».

О, рыцари святого войска,
Ловцы небесного огня!
Стихи молитвенного свойства,
Сто раз спасали вы меня.
И я твержу себе и миру:
Так было, есть и будет впредь:
Пришедший к Богу бросит лиру,
Идущий к Богу должен петь.
Поэт глупец, поэт невежда,
Но он умён тем, что поэт.
В поющем мире есть надежда,
А в не поющем мире нет.
А в не поющем мире пусто,
И он гудит, как сухостой.
Спаси меня, седьмое чувство,
Седьмая раса, день шестой!
И вот тогда родятся строки,
Простые, как вершины гор:
«Белеет парус одинокий…»;
«Роняет лес багряный свой убор.
Сребрит мороз увянувшее поле.
Проглянет день как будто поневоле,
И скроется за край окружных гор».

Игнатенко. Леонид Андреевич, невольно вспоминается призыв Пушкина: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли…» Как вы соотносите этот призыв с тем, что делаете в литературе? Озарение мудрости уступало место смелой догадке?

Завальнюк. Могу прочесть своё стихотворение, которое называется «Пророка жду». Я только и делаю, что жду пророка. Считаю, этой миссии тоже может быть достаточно.

Перезимуем, брат, и это всё осилим.
Отыщем искру в каменной зиме.
Всё в мире есть, но нет другой России,
А без России пусто на земле.
Пророка жду.
Бог в помощь, говори.
Пророка жду, он лёгких слов не скажет.
Он мёртвых всех простит и всех живых отвяжет,
Равно от мрака вечного и от пустой зари.
И понесутся люди кто куда!
Одни побежкой волчьею,
Другие конским скоком.
«Живите, – скажет, – врозь.
Не лезьте в небо скопом,
И даже по двое не лезьте вы туда».
Притом, что Бог один, у каждого свой Бог.
И там, где жизнь чиста и беспредельна,
Любящие живут отнюдь не параллельно,
Поскольку близость есть скрещение дорог.
Вот в чём печаль любви, высокая печаль!
Стремясь унять её, мы даль свою растлили.
Любящий, скажем, Русь
Живёт не вдоль, а поперек России.
Он, только он, несёт её надежды на плечах.
Пророка жду.
Годами в ожиданье,
Что скажет он, как скажет он и где?
В кровящей родине моей,
В земле ли чужедальней
Иль на суровой крохотной звезде
Что снится мне ночами иногда?
Ты кто? Ты смерть моя?
«Нет, я твоя звезда».

Игнатенко. Перед вами, я вижу, лежит рукопись. Очевидно, это рукопись вашей новой книжки? Вы не боитесь говорить о своих планах?

Завальнюк. Нет, я о планах говорить совершенно не боюсь. Не знаю, что это: книжка или что-то иное. Передо мной лежат две рукописи, которые я взял с собой, чтобы работать. На одной папке написано: «Год 95–96-й». На другой папке написано: «Год 97-й». Это стихи, которые написаны в обозначенные годы. За последние восемь-десять лет я написал очень много стихов. Мне хотелось бы издать книжку новых стихов. Но не меньше мне хотелось бы издать, особенно здесь, в Благовещенске, или на Дальнем Востоке, книжку, которая бы здесь существовала, в которой были бы объединены стихи разных лет. Кроме того, чтобы там была поэма «Осень в Благовещенске». Предполагаю вообще назвать книжку «Осень в Благовещенске», если она получится у меня и будет выходить. Чтоб там был «Дневник Родьки…» и, может быть, «Лирическая повесть».

Игнатенко. Леонид Андреевич, у меня есть просьба к вам. Я очень бы хотел, чтобы вы её выполнили. Мы мальчишками-старшеклассниками в Тамбовке, закоперщиком у нас был Толя Дробязкин, который, к сожалению, рано ушёл из жизни, Толя Деревянко, ныне академик, известный археолог, и я, как-то однажды в «Литературной газете», как откровение, открыли ваше стихотворение «Снова стихами повеяло…» Мне кажется, это стихи почти обо всём, и о любви в том числе, потому что там есть резонанс есенинский – «…у этой калитки вам

было шестнадцать лет». И я мечтал, чтобы вы прочитали мне, а значит, и амурцам, это стихотворение. Вас не затруднит эта просьба?

Завальнюк. Да, я, конечно, прочту. Хотя этому стихотворению уже около сорока лет, а может быть, даже больше. Но я его помню и время от времени читаю. И сейчас, если не буду сбиваться, я его прочту.

Снова стихами повеяло
От молодой травы.
Я каждому слову поверю,
Которое скажете вы.
Поверю, что вы наступаете
По руслам новых дорог, –
Прочтите мне только по памяти
Десяток хороших строк.
Неужто вы не заметили,
Как, погасив огоньки,
Вечер уходит медленный
По мостовой реки,
Как падает ночь на гравий
С первой каплей дождя?..
Зачем же вы молодость грабите,
Мимо стихов идя?
Когда ничего ещё не было,
Строкой пробив тишину,
Поэты открыли небо,
Поэты открыли весну.
Поэты оставили песни,
На ярком огне прожив,
Ни почестей громких, ни пенсий
Под старость не заслужив.
Они прошли великанами,
Покой обретая в бою.
Они отцвели и канули,
Оставив душу свою.
И, кровью сердца окрашенный,
Горит их высокий стих!..
Мне жалко молодость вашу,
Идущую мимо них.
Чуть качнув на рессорах,
Время мелькнёт, как тень,
И где-то лет через сорок
Вернётся забытый день.
И вновь драгоценным слитком
Сверкнёт этих строчек свет, –
Подумать: у этой калитки
Вам было шестнадцать лет!..
И снова закат весенний
Раскинет своё крыло!
Мне жалко, что ваше веселье
Мимо стихов прошло.
Тучи – стадо овечье,
Дальних дорог гудки…
Уходит медленный вечер
По влажным сваям реки.
Последний отблеск играет,
За горизонт уходя,
И падает ночь на гравий
В синей капле дождя.

Игнатенко. В этом стихотворении есть строчка «И где-то лет через сорок…» Вы сказали, что этому стихотворению как раз столько лет. У вас нет такого ощущения, что иногда что-то повторяется в этой жизни?

Завальнюк. Я могу прочесть, если вы хотите, об этом.

Малина солнцем облита.
Девчонка плачет у калитки,
И след слезы, как след улитки
На чёрной зелени листа.
Откуда всё?
Откуда цвет?
Откуда я?
Откуда это –
Картинка, виденная где-то?
Не знаю я – утерян след.
Листаю прошлые года.
Всё это было, но когда?!
Но это было.
Так же день
Струился с вербы в лог зелёный,
И сосны смолкой раскалённой
Пятнали собственную сень.
И так же брёл старик седой,
Подслеповато глядя в небо.
И так же пахло жёлтым хлебом
И чёрной жабьею водой.
Всё это было – суетня
Стрекоз над зеленью болота…
А может не было? И кто-то
Всё это помнит за меня.
А может, словно за межой,
Любой из нас живёт чужой,
За нашей памятью, за снами,
Что было с ним, то было с нами.
И это помним мы душой.
Не потому ль так странен раж
В миг озаренья нелюдимый,
Когда, чужой рукой водимый,
Выводит строчки карандаш.
И, удивляясь их красе,
Душа все дни свои итожит,
Чтоб слиться с тем, что знают все,
Но осознать никто не может.

Игнатенко. Леонид Андреевич, поскольку эта программа последняя в уходящем году, чего бы вы хотели пожелать землякам? Вы амурцев по-прежнему считаете земляками?

Завальнюк. Безусловно, амурцев считаю своими земляками всегда и везде, где бы я ни был. Это ощущаю и в Москве сидя, и здесь в Благовещенске. А пожелать могу только того же, что я могу пожелать самому себе: чтобы жизнь продолжалась, чтоб не прервалась она. И чтобы все те ямы и колдобины, все те бездны, которые нам встречаются на пути, были явлением сугубо временным. Желаю всем оптимизма, потому что оптимизма сейчас очень не хватает, а я так думаю, что это чувство не только греет душу и успокаивает, не только даёт надежду, но ещё и движет то хорошее, что должно расти и умножаться в нашей жизни.

Игнатенко. Благодарю вас, Леонид Андреевич! Мне бы хотелось, чтобы ваша поэзия жила постоянно. Дай Бог вам здоровья, творческого настроения! Всего самого-самого доброго! Спасибо вам!

Завальнюк. Спасибо вам за то, что дали мне возможность пообщаться с моими земляками. Я очень рад. До новых встреч!

Послесловие. Больше мы не встречались с Леонидом Андреевичем. Через несколько лет, в 2001 году, издательство АмГУ выпустило книгу избранных стихотворений Завальнюка с его же рисунками. Назвал её автор более чем просто – «Стихи». Задуманное первоначально название «Осень в Благовещенске» осталось лишь в нашем интервью. Более того, помещённая в книге давнишняя поэма, датированная 1966 годом, переименована в «Осень на Амуре». Ну что ж, у поэтов это иногда случается. Могу предположить, что автор хотел словно бы расширить географически само понятие «осень», лишив тем самым его городской локализации. Незначительная правка в тексте поэмы вряд ли была главной тому причиной, поскольку суть произведения осталась неизменной. Примечательно, что через семь лет после этого у нас всё же была напечатана книга «Осень в Благовещенске» с включенной в неё оригинальной одноименной поэмой. И сделал это другой поэт, отлично владеющий и пером, и кистью, Николай Левченко. Завальнюк словно бы дал ему на это «добро» своей книгой.

Все официальные справочники, в том числе и интернетовские, указывают одну и ту же дату рождения Леонида Завальнюка – 20 октября 1931 года. Но в нашей беседе Леонид Андреевич определённо указывает свой возраст – шестьдесят семь лет. И это не оговорка, ибо паспортные данные людей старшего поколения, особенно связанные с хаосом военных и послевоенных лет, зачастую пестрят подобного рода смещениями. Особого криминала в этом и нет, но я склонен всё же поверить на слово своему собеседнику.

Поздние стихи Завальнюка всё больше и больше утрачивают первоначальную свежесть дыхания и конкретность поэтических деталей, всё чаще в них властвует метафизика. Это моё субъективное восприятие, в подтверждение которого укажу лишь на строчки из стихотворения «О, рыцари святого войска…», в которых автор задаёт читателю некую почти масонскую загадку, требующую расшифровки: «Спаси меня, седьмое чувство, / Седьмая раса, день шестой!..» Оставлю разрешение загадки на усмотрение читателей, но для стартового «рывка» рискну предположить, что «седьмое чувство» – это не что иное, как интуиция. С «седьмой расой» и «днём шестым» разбирайтесь сами.

И в завершение о грустном и неизбежном. О смерти, которую поэты прозревают в довольно ранние годы, когда ещё полны сил и желания жить. Memento mori – сказано латинянами давно и мудро. А Завальнюк не зря всегда слыл мудрым человеком. В стихотворении «Осенний плач», в самом его начале, появляется эта доминанта: «Немало я по белу свету / В исканьях радости кружил. / Не надо плакать, смерти нету! / Но кто не плакал – тот не жил…» Когда рождалась песня на эти стихи, «Осенняя мелодия», текст претерпел вполне понятные изменения. Первая строфа стихотворения ушла из начала и стала пятым куплетом песни – «Немало мы по белу свету / В исканьях радости кружим. / Порой для слёз причины нету, / Но кто не плакал, тот не жил». Прилагательное «осенний» осталось в названии, но слово «плач» сменила вполне лирическая и расхоже-нейтральная «мелодия». Композиторы, а в данном случае это был Юрий Саульский, чутче поэтов улавливают рыночную конъюнктуру. Любой редсовет придрался бы к «упадочничеству» исходного текста. Да и зачем двум авторам ставить под сомнение грядущие отчисления от проката песни, которая обещала стать шлягером? И песня стала популярной. Кроме Рузавиной и Таюшева её пела и легендарная София Ротару, а это уже гарантия успеха.

Когда 7 декабря 2010 года Леонид Завальнюк скончался, эта весть больно ранила сердца поклонников его творчества. Невосполнимость утраты коснулась и амурских писателей, которые в той или иной мере были знакомы со своим знаменитым земляком. И когда я писал некролог для газеты «Амурская правда», мне вспомнились почему-то и песня, и стихи Завальнюка, но выбор пал на строчки «Осеннего плача». Именно в них поэт был по-настоящему искренним и открытым. Не каждому это удаётся при жизни, а уж тем более после смерти, которой «нету»…

Наталия КИРЕЕВА

профессор кафедры литературы БГПУ

НА УЗКОМ ПЯТАЧКЕ – ДУША, БЕССМЕРТЬЕ, НЕБО...

Искусство больше человека,
Его создавшего в тиши.
Пиши, как пашут, пахарь века.
Живой и грозный мир пиши.

Придёт любовь, уйдёт любовь.
Тебя забудут непременно.
Но то, что ввёл ты внутривенно,
Навек пребудет над судьбой.

Придёт любовь, уйдёт любовь.
Тебя забудут непременно.
Забудут всё. Уйдут, растают.
Но то, что в душах прорастает,
Но кровь земли и боль вселенной,
Но Бог и истина – с тобой.
Л. Завальнюк, 2008

Писать о Леониде Андреевиче Завальнюке бесконечно трудно. Как вообще можно писать о таком поэте, который, верно и точно рассказав нам о себе – и о нас, о каждом из нас! – так и остался «с вами. Но не ваш».

Но написать всё-таки хочется. Может быть, для того, чтобы как-то приблизиться к нему и хоть чуточку понять, какое такое вещество этот поэт нам «ввёл внутривенно»? что «в душах прорастает»? что же не даст о нём забыть и «навек пребудет над судьбой»?

Я листаю страницы своих записных книжек за прошлые годы. Сейчас всё, связанное с Леонидом Андреевичем, кажется цельным и неотделимым от моей жизни. Познакомившись в 2003-м, мы встречались один, а то и два-три раза в год. Когда не встречались – созванивались, обменивались письмами, посылали друг другу посылки: из Благовещенска с нашими альманахами, из Москвы – с новыми книгами поэта. А когда не было встреч и звонков, я читала, думала, вспоминала. Так что Леонид Андреевич постоянно присутствовал в моей жизни. И сейчас присутствует.

Как часто бывает, поводом для знакомства стало сугубо деловое начинание – моя аспирантка Юлия Гамерман писала диссертацию о творчестве Завальнюка и остро нуждалась в любых материалах. А сама поехать в Москву, задать нужные вопросы и просто подышать тем воздухом, которым дышал Леонид Андреевич, возможности не имела. Поэтому, отправившись в научную командировку, я спланировала визит к поэту, книгой которого «Дневник Родьки – "трудного" человека» зачитывалась в детстве и стихи которого в юности «вживую» слышала на одной из встреч с Леонидом Андреевичем в году то ли 1991-м, то ли 1992-м.

И вот 22 декабря 2003 года я сижу в гостиной московской квартиры поэта. Мы с Леонидом Андреевичем и его женой Наталией Марковной пьём чай из изящных чашечек, разговариваем о Благовещенске, о том, где и какие материалы о его творчестве можно найти. Естественно, заговариваем о стихах. И тут поэт уходит в кабинет и возвращается с, как он её называл, «амбарной книгой», в которую записывал черновики своих стихов. В памяти картина: за старинным столом красного дерева, отодвинув в сторону тонкую фарфоровую чашечку, поэт во фланелевой рубахе перелистывает желтоватые, ломкие разлинованные листочки из кондуита для бухгалтеров, отыскивая стихи, которые он хочет прочитать. Смотрю на него, и в голову приходят неожиданные сопоставления. Я думаю о странно явленной благодаря предметам интерьера связи Завальнюка с традициями русской поэзии: ведь за подобным (или даже этим самым) столом вполне могли сидеть его великие предшественники, отложив в сторону гусиное перо и просматривая черновики со стихами. А ещё о том, что вот и у моего покойного дедушки была точь-в-точь такая же клетчатая фланелевая рубашка…

Именно в ту первую встречу возник замысел организовать визит Леонида Андреевича в БГПУ. Для самого поэта помимо возможности встретиться с людьми, знавшими и ценившими его творчество, с землёй, откуда начались «официальные» шаги в литературу, это была ещё и возможность увидеть своего лучшего, любимого друга – Марка Либеровича Гофмана, связь с которым не прерывалась несмотря ни на какие расстояния уже многие годы. Но если раньше, в советские времена, Леонид Андреевич мог каждый год возвращаться в Благовещенск – «где дом друзей, там родина моя», – то после перестройки такие поездки становились всё более редкими, но оттого ещё более желанными.

Юрий Павлович Сергиенко, ректор нашего университета, идею одобрил, пообещав погасить расходы на поездку – чем тронул поэта. И вот, спустя три месяца, в марте 2004-го, Леонид Андреевич прилетел в Благовещенск. Здесь он встречался с читателями и журналистами, выступал на радио и телевидении, в библиотеках и вузах города. Но самой насыщенной получилась программа пребывания в нашем университете. Впечатляет простое перечисление мероприятий «Дней литературы в БГПУ» с участием Леонида Андреевича: выставка картин, мастер-класс для начинающих поэтов, выступление перед студентами, приветственное слово на конференции для учителей, аспирантский семинар, посвящённый анализу ранней поэзии Завальнюка, творческий вечер для всех поклонников Леонида Андреевича. Я листаю свой блокнот 2004-го и не устаю удивляться: 22-го марта поэт прилетел в Благовещенск, а 23-го уже начались творческие встречи. В семьдесят три года человек, совершив непростой перелёт, сменив 6 часовых поясов, сразу же включился в работу! Да какую – каждый день был наполнен чем-то новым, требующим особого настроя и особой подготовки.

А сколько сил и энергии нужно было для неформальных дружеских встреч! Среди самых запомнившихся – очень тёплое общение за чаем с пирогами у нас на кафедре литературы. И ещё одна – дома у Марка Либеровича, куда мы пришли с Юлей Гамерман. Именно эту встречу вспоминала я потом, читая «Избранные места из переписки с самим собой», где любимый друг выведен под именем Сирано: «Много говорили. В основном о поэзии. Но и не только. Иногда разговор забредал в такие философские дебри, что я говорил: "Хватит! Хватит!" Но Сирано остановить было невозможно». Вот и в тот вечер в доме Гофманов мы сидели за накрытым столом в обществе Леонида Андреевича, Марка Либеровича, его жены и сына и гово-

рили, говорили обо всём. О первых впечатлениях о Благовещенске 1950-х (Марк Либерович, откликаясь на воспоминания о тех годах, вступал в разговор: «Люди счастливы, пообщавшись с Леонидом Андреевичем мимолётно, а наша семья полвека с ним, и я считаю это счастьем!»). О судьбах России. О предназначении поэта. И о том, какая она, настоящая поэзия. Словно в подтверждение своих размышлений Леонид Андреевич читал стихи. А Марк Либерович резюмировал: «Здесь меньше эстетики, чем этики, это уже не поэзия – это основы гармонии мира. Такие люди пишут не стихи, а то, что трогает любого – неважно, любит он поэзию или нет». Спорили о суетности, тщеславии, честолюбии. Вспоминали, как рождался тот или иной образ, как появлялись у героев имена. Например, размышляя о том, как сочетаются имя и фамилия героя повести «Дневник Родьки – "трудного" человека», Леонид Андреевич вспомнил, что имя – Родька – придумал Марк Либерович.

И как-то так получалось, что даже самые «философские дебри» прямо касались не только говорящих – а ими, по преимуществу, выступали Марк Либерович и Леонид Андреевич, – но и нас, слушающих заинтересованно, сочувственно и по временам тоже вставляющих свои реплики. А со стен на нас смотрели бесконечные книжные полки и «картинки» Завальнюка, нарисованные ещё в те годы, когда начиналась эта необыкновенная дружба.

Мы с Юлей Гамерман уходили с этой встречи какими-то… другими. Помню, поздним вечером мы долго стояли в ожидании автобуса на остановке, продуваемой, кажется, всеми ветрами. И я – всегдашняя мерзляка – почему-то не мерзла. Мы с Юлей молчали. Но это молчание не разъединяло: мы – словно в преддверии Нового года – уже получили необыкновенные подарки, а сколько их ещё ждало впереди!

Что-то похожее испытывала я после первой встречи с Завальнюком в Москве. И, сев на диванчик в пустом по вечернему времени вагоне метро, открыла подаренный поэтом сборник «Беглец», начала читать стихи, в том числе те, что перед этим услышала в исполнении Леонида Андреевича, и неожиданно почувствовала, как по щекам побежали слёзы. Сейчас я уже и не вспомню, от каких строк в ту первую встречу пришла я в такое волнение. Может быть, от этих:

Я был добытчик хлеба и тепла, –
Глава семьи в свои пятнадцать с малым.
Пронизанная током страсти алым,
Светло и тяжко жизнь моя текла.

А может:

– Нет ставок?
– Нет.
– Ну что, и слава Богу, –
Сам на себя и ставлю
И бегу.

Или этих?

Люблю врагов, которых я простил.
Они мои друзья.
Но иногда под бременем судьбы
Душою погибая,
Готов я полюбить и тех,
Кого простить нельзя,
За то, что жизнь есть тяжкий труд.
Любая жизнь. Любая!

Не помню. Потому что все эти стихи были перечитаны много раз, а оттого каждое вызывает узнавание и мгновенный отклик. Потом, когда мы с Юлей искали наиболее плодотворный ракурс анализа его творчества, стало ясно, что главная призма здесь – контраст между философичностью и ироничностью, между эпичностью лирики и лиричностью прозы, между изобразительностью стихов и абстрактными образами его графических работ. Так же, как и контраст между масштабностью творческого гения Завальнюка и его покоряющей скромностью, оттеняемой лукавой самоиронией.

Листаю, листаю странички в стареньких записных книжках. И в памяти.

30 марта 2006 года. Я спешу на открытие выставки картин Леонида Андреевича в музее С. Конёнкова, приуроченной к 250-летию Российской академии художеств. Графические работы поэта – монотипии – развешаны в уютном зале. За его стенами – солнечный весенний день. И разноцветье красок здесь в зале – как сообщающийся сосуд с той весной.

На выставку пришли друзья поэта, московская артистическая элита. Леонид Андреевич здоровается с гостями, позирует фотографам, о чём-то тихонько беседует с супругой. А потом начинается творческий вечер, поэт читает свои новые стихи, отвечает на вопросы, и связь между его художественным и поэтическим даром осознаётся присутствующими ещё более отчетливо. Я наблюдаю за всем происходящим и вдруг остро понимаю, что значат слова из его стихотворения «Я в детство не вернусь и в старость не войду» – «Всё с вами. Но не ваш». Он здесь, среди друзей, близких, собратьев по цеху, тех, кто его любит и понимает, но он – один. Один такой. Уникальный. Необыкновенный. Безумно талантливый. Удивительным образом это моё ощущение разделил один из присутствующих – драматург Александр Мишарин, обратившийся к собравшимся со словами: «Он с нами и одновременно далеко, недоступно далеко от нас; питательные силы его творчества не в обыденной жизни, но в некоей невидимой, недоступной человеческому разуму тайной стороне Бытия».

А вот ещё одна встреча. 20 марта 2007 г. Мы в гостях у поэта вдвоём с моей коллегой Алёной Маркович. Обсуждаем важное событие: в нашем вузе создаётся литературно-краеведческий музей. Просим поэта подарить что-то в качестве экспонатов. Леонид Андреевич уходит и возвращается со своей «амбарной книгой». «Да это же бесценный подарок! Святая святых, лаборатория, где рождаются стихи, – и она будет у нас в музее!» – проносится в голове. Кроме того, среди подарков музею – одна из картин в технике монотипии и его книги с автографами. А потом я включаю диктофон и записываю то, что потом

Встреча с читателями.
БГПУ, март 2004 г.

На кафедре литературы БГПУ.
Март 2004 г.

Л. А. Завальнюк и Ю. П. Сергиенко

Леонид Андреевич с женой. В руках картина, подаренная нашему музею

Л. А. подписывает книги в дар литературно-краеведческому музею БГПУ. 20 марта 2007 г.

В гостях у поэта. Март 2007 г.

В рабочем кабинете. Декабрь 2003 г.

прозвучит на открытии музея: «В Благовещенске был театр, был кукольный театр, было издательство – это был один город. Издательства не стало – это уже немножко другой город. Немножко другая атмосфера – культурная, другой воздух. И то, что появляется сейчас ещё один очаг добра – это большое-большое дело. Для Благовещенска, для Амурской области, для всех людей, связанных с Дальним Востоком. И вообще – он важен для всех, потому что добро, излучаемое в пространство, – не пропадает, оно распространяется абсолютно во все стороны и на все расстояния. Я желаю этому музею доброй, хорошей, долгой жизни и роста – постоянного роста!» Так Леонид Андреевич за тысячи километров послал свой привет далёким благовещенским друзьям, поддерживая появление ещё одного островка культуры на амурской земле.

Раскручивается плёнка памяти. Следующий кадр – 10 апреля 2007-го. Мы с Леонидом Андреевичем возвращаемся из МГУ. В этот день должна была состояться встреча со студентами и аспирантами филфака. А получилось очень тёплое, душевное общение с преподавателями. Потому что студенты и аспиранты на встречу не пришли. Казалось бы, неудача. Но настроение у Леонида Андреевича хорошее. Он улыбается, шутит, ободряюще похлопывает меня по руке: «Ничего, что читателей и слушателей было немного. Зато какие!» Дарит свою книгу «Как Прошка друга искал и другие сказки» с яркими иллюстрациями сыну моих друзей, которые везут нас в обратный путь. А дома, поставив розы в воду и рассказав Наталии Марковне, как всё прошло, открывает недавно изданную «Планету Зет» и подписывает её для меня. Есть там такая строчка: «Я считаю, что вечер наш прошёл прекрасно». Эти слова – конечно же, написаны мне в утешение, потому что мою тревогу за мероприятие и огорчение, что отклика от студентов так и не случилось, Леонид Андреевич глубоко прочувствовал. Но для него, как и для тех немногих, кому повезло оказаться на этой встрече, вечер действительно прошёл прекрасно. Татьяна Дмитриевна Венедиктова, заведующая кафедрой общей теории словесности, где мы собрались, написала мне потом: «За знакомство с Л. Завальнюком спасибо особое. Очень странная вышла акция – неудавшаяся в смысле сбора народа, что было крайне обидно, конечно, – но по-человечески очень проникновенная».

Ещё одно воспоминание – январь 2010 года. Я приношу с почты посылку, открываю, а там книга Леонида Андреевича. «Летела птица». Та самая, о проекте которой шёл разговор на встрече в МГУ в 2007-м. Стихи и картины. Читаю дарственную надпись. Поздравления с 2010-м годом. Неожиданный, роскошный подарок! Как раз перед этим я узнала о её выходе в свет и собиралась заказывать по Интернету. А тут – держу в руках, читаю оглавление, рассматриваю картины. А потом возвращаюсь к стихам. Читаю. И плачу. И смеюсь. И закрываю только тогда, когда прочитано всё. До утра остаётся несколько часов. Но всё равно уже не уснуть. Я поднимаю трубку, звоню в Москву – там вечер, звонить ещё можно. И мы с Леонидом Андреевичем говорим о его книге, в которой собрано всё самое важное: стихи итоговые, написанные в 2008-м, числом сорок, и уравновешивающие их сорок же «старых истин» – стихов разных лет. Здесь, в этой книге, есть и мои любимые «Бега», «Журавли», «Молитва». И новые стихи, предельно искренние, точные и пробирающие до запрятанного где-то в тайниках души после первого же прочтения – «Лестница на небо», «Рождение стиха», «Купол неба всё выше». А вот это словно о наших встречах, когда звучание стихов сопровождал немедленный отклик:

Из музыки рождается полёт.
И, в муках сердца музыку рожая,
Художник жаждет не большого урожая,
А слёз любого, кто его поймёт.

Мы плачем вместе. Что за благодать!
За этот миг, за малое мгновенье
Он всё готов простить и всё готов отдать,
Весь мир, всю жизнь, все голоса и лица,
И правду нищенства, которой он гордится,
И боль свою, и неуменье ждать.

Тогда думалось, что будут ещё встречи, разговоры, какие-то новые открытия, переворачивающие представления о давно привычном. В октябре 2010-го, как раз после восьмидесятого дня рождения поэта, я снова приехала в командировку и сразу же позвонила. Наталия Марковна сообщила, что Леонид Андреевич в больнице с переломом шейки бедра. Но, может быть, через неделю его выпишут и можно будет прийти в гости. Через неделю всё оставалось по-прежнему. И в гости я пришла спустя полгода – к Наталии Марковне. Вспоминать о Леониде Андреевиче...

Вспоминаю и сейчас. Размышляю о природе его магнетизма. Ищу разгадку таинственной власти его поэзии, занимающей особое место в русской литературе, не примыкавшей и не примыкающей ни к каким школам и течениям. Осмысливаю масштаб и величие его личности, отстаивающей право поэзии на жизнь по иным законам, чем законы рынка, определяющие сегодня не только механизмы продвижения поэзии, но и само поведение поэта. Для Леонида Андреевича поэт всегда был сродни оракулу, озвучивающему Бога: «Поэт, когда пишет, перестаёт быть собой. Он словно другое существо, голосом которого говорит неведомое, непознанное». И оттуда, из горних высей, приходит к поэту вдохновение и поддержка. В лице друга – одного на всю жизнь. В лице жены – музы, с которой можно было общаться «только токами души». В лице друзей и меценатов, находивших средства для публикации его замечательных книг в хороших издательствах.

И ещё одну загадку пытаюсь я разгадать, размышляя о том, почему к встречам с поэтом, всегда таким желанным и таким вдохновляющим, я готовилась подолгу? Почему, живя в Москве по нескольку месяцев, бывала в гостеприимном доме Завальнюка не так уж часто? Не хотела беспокоить поэта, отрывать от его таинственной работы? Да, это так. Но это только часть правды. А вся правда заключается в том, что эти встречи вынуждали оставаться один на один с собой и отвечать,

отвечать на очень непростые вопросы о жизни и своём месте в ней. Заставляли остро осознать, что рядом с таким человеком нельзя быть ленивым, равнодушным, пустым, что изо всех силёнок надо тащить себя за волосы из болота праздности, самодовольства, духовной расслабленности, обыденности чувств и впечатлений. Поэтому и нужно было усилие, осознание готовности меняться, расти, подниматься к этому человеку – простому, доступному, но в любой привычной иерархии всегда стоящему на порядок выше. Он, не предпринимая никаких видимых усилий, мощно побуждал к этим переменам – своей личностью и своими стихами.

Видимо, поэтому именно он по-настоящему приобщил меня – филолога, любящего слово по определению, – к Слову, к поэзии. Марк Либерович в тот знаковый приезд Леонида Андреевича на амурскую землю сказал о поэзии своего друга: «Это не стихи. Это разговор с миром, с Богом». Леонид Завальнюк словно помог мне, никогда раньше не считавшей себя ни знатоком, ни любителем поэзии, открыть накрепко законопаченное на зиму окно и впустить в душу свет, весну, запах клейких тополиных листьев. Помог понять, что же такое настоящее Слово. И кто такой настоящий Поэт, посвятивший этому Слову жизнь, не отвлекавшийся ни на что, способное сделать это Слово неискренним или неубедительным. Его стихи стали для меня тем самым «проводом сквозь вечную тьму», который позволяет душе говорить с самой собой, с другими, с Богом. И благодаря этому разговору убеждаться, «что мир не злая шутка», что «Бог и истина – с тобой», что «смерти, смерти нет!»

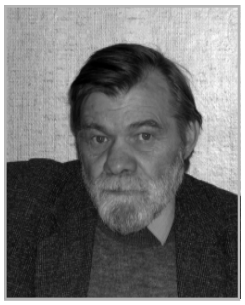
Да, смерти нет! И поэт со мной. С нами.

С нами его стихи и проза. Его песни. Его картины. Они заставляют думать и меняться, вглядываясь в себя и в мир вокруг. Как-то в одну из первых встреч Леонид Андреевич прочитал стихотворение, в котором он звал «поднимать своё низкое небо вместе с жизнью, дарованной мне». Звал и зовёт каждого из нас – поднимать своё небо и подниматься самим. Понимая, что это не просто важно, но жизненно необходимо.

Я снова вспоминаю. 31 марта 2004-го года. Творческий вечер Леонида Андреевича закончился, мы спускаемся в холл университета и слышим, как репетируют своё выступление студенты факультета дополнительных профессий: «Счастья тебе и радости, мира и благоденствия!» Эти слова сопровождают Леонида Андреевича, с букетами цветов идущего к выходу. А хористы БГПУ, продолжающие репетицию, даже не подозревают, что автор песни, сопровождаемый такими добрыми пожеланиями, открывает в это самое время тяжёлые входные двери и выходит на улицу «лучезарного города», в котором когда-то, по его словам, «моя весна / мне двери отворила».

Владислав ЛЕЦИК

член Союза писателей России,
выпускник БГПИ 1967 года



«СНОВА СТИХАМИ ПОВЕЯЛО...»

Октябрь 1963 года. Первые – после месяца колхозных работ – занятия в пединституте. Весь наш первый курс истфила – полторы сотни студентов, литераторы вместе с историками, – собрался в 340-й аудитории на лекцию по психологии. Её читает Николай Иванович Кузьмин, двухметровый атлет, невозмутимый, сдержанный, умело маскирующий короткими, едва заметными паузами своё заикание – следствие фронтовой контузии.

– Существует легенда, что Юлий Цезарь мог одновременно делать три дела: писать «Записки о галльской войне», выслушивать сообщения гонцов и отдавать приказы военачальникам. Так вот, это всё выдумки. И я вам сейчас это докажу. – Николай Иванович обвёл взглядом аудиторию. – Кто-нибудь выйдет к доске и попробует сделать хотя бы два дела одновременно: прочесть вслух любое стихотворение, которое помнит наизусть, и написать под мою диктовку не очень длинное предложение. Есть желающие?

– Есть! – тут же раздался бодрый возглас. Все оглянулись. Ну конечно!..

По проходу между столами вышагивал своей подпрыгивающей походкой энтузиаста не кто иной, как Юра Курячий, тридцатилетний первокурсник, сутуловатый, лобастый, с буйной рыжеватой шевелюрой и неизменной восторженно-выжидательной улыбкой на лице, окончивший очно лишь четыре класса деревенской школы, а

семилетку и десятилетку – экстерном, но зато имеющий одиннадцать специальностей – шофёра, тракториста, токаря, газоэлектросварщика – и прочая, и прочая.

Курячий встал у доски. Перед великаном Кузьминым он казался маленьким, хотя был среднего роста. Но в его широкоскулой худощавой физиономии было столько воодушевления и хитрости, столько уверенности в собственной неисчерпаемости, что аудитория заинтересованно притихла.

– Я сначала целиком прочту предложение, которое буду диктовать, – сказал Кузьмин. – Итак: «Задача психологии – познание объективных законов психической деятельности человека»… Вы уже решили, какое стихотворение будете рассказывать?.. Хорошо. Начали.

Юра схватил мел и, под диктовку преподавателя торопливо выводя на доске каракули, громко проговорил:

Снова стихами повеяло
От молодой травы…

Посмотрел на написанное собственной рукой – и уши его стали малиновыми. Помолчал, обескураженно повторил:

Снова стихами повеяло…

На этом милосердно остановимся. Так ли важно договаривать, что, с ходу запутавшись, наш Юра Цезарь бесславно удалился на своё место? Важно другое: именно стихи Леонида Завальнюка оказались первыми, которые пришли на ум Юре Курячему – не столь уж, заметим, большому знатоку поэзии. Для меня это лучшее свидетельство того, насколько популярен был в шестидесятые годы Леонид Завальнюк в нашем вузе. Да только ли в нём? Помню, как в археологической экспедиции 1965 года на Зее, в устье Громатухи, бородатый археолог Володя по фамилии Дедов (родом, что любопытно, из Домодедово), копаясь в раскопе, с грустной улыбкой читал наизусть:

Шутки шутками, а Бобик сдох,
От любви собака околела…

Все тогда читали и его стихи, и его прозу. А осенью 1967-го я, новоиспечённый сотрудник районной газеты, в клубе таёжного посёлка Ольгинск смотрел с моим новым знакомым, начальником драги Женькой Макогонским, недавно появившийся фильм «Человек, которого я люблю». Фильм закончился, я спрашиваю: «Ну как?» – «Здорово!» – говорит. – «Это по Леониду Завальнюку, – говорю. – Ты “Дневник Родьки” читал?» – «Читал. А ты с Завальнюком знаком?» – «Да, – скромно так киваю, – встречался».

Ну, трепло. «Встречался…» Идём как-то по Благовещенску с приятелем, а он мне: гляди – Завальнюк! Вижу: невысокий мужчина, молодой, лет всего на пятнадцать старше меня, но уже изрядно облысевший, разговаривает на тротуаре с двумя молодыми дамами. Они обе ростом выше его, но уж так им нравится с ним разговаривать, прямо-таки перебивают одна другую… Мы прошли мимо. Вот и вся «встреча».

Лишь где-то уже в конце семидесятых я впервые присутствовал на его беседе в областной писательской организации. Личного знакомства тогда не состоялось – я просто сидел в числе других и слушал. Помню, что его, в частности, спрашивали, зачем и как он пишет слова для песен. Он ответил:

– Песни, не в пример стихам, меня кормят. Хорошо оплачиваются. К тому же интересное занятие. Тексты песен – это не вполне стихи, а скорее что-то вроде либретто для музыки. Однако либретто тоже надо уметь написать, и это не так просто. Кое-кто пренебрежительно отзывается о поэтах-песенниках. О том же Николае Добронравове. А я его очень уважаю – он умеет! В тексте песен важно создавать словесные блоки, которые лягут на слух. Например: «Русское поле». Или: «Зелёное море тайги»…

Усмехнувшись, рассказал случай из своей московской жизни. Он пригнал свой «жигуль» на станцию техобслуживания – срочно сделать какой-то ремонт. Пузатый автомеханик ему отказал: надо было «положить на лапу» – а у Завальнюка таких денег не было. Но интересная деталь: хамски разговаривая с клиентом, пузатый механик одновременно мурлыкал под нос популярную тогда песенку: «Стара печаль моя, стара. Пора забыть тебя, пора…» – не подозревая, что слова песенки сочинил этот самый, стоявший перед ним, клиент.

– Мне хамит – и мою же песню мурлычет. А что мне делать? Пошёл восвояси…

Познакомились мы уже в 1986 году на квартире у Николая Курочкина и Светланы Борзуновой, куда Завальнюк пришёл со своим другом Марком Гофманом. Потом встречались во время его приездов в Благовещенск ещё несколько раз – в писательской организации, в редакции «Амурской газеты», на квартире у Гофманов...

«Где дом друзей – там родина моя…»
Слева направо: Леонид Андреевич Завальнюк, Верлена Львовна, Юлий Маркович и Марк Либерович Гофманы, Владислав Григорьевич Лецик

Главное впечатление – умный человек. Постоянно думающий. Выслушивает вопрос – и отвечает толково и конкретно. Часто его ответы нестандартны и неожиданны, но при этом – ничего ради красного словца, никакого необязательного трёпа. Совершенно не похож на поэтов, которых «заносит».

У нас были добрые отношения, но упаси меня Боже от хлестаковщины: «на дружеской ноге» я с ним никогда не был. Он, при всей своей простоте в общении, умел держать дистанцию. Тем непонятнее для меня было то, что случилось поздней осенью 1994 года. В маленьком двухэтажном особнячке на Калинина, 10, где в ту пору находилась редакция «Амурской газеты», организовали его встречу с любителями поэзии. Народу было много, потом, когда встреча закончилась и большинство разошлись, осталось человек восемь. Разговор стал свободнее, его просили почитать ещё и ещё. Кажется, немного выпили (к слову сказать, он никогда не злоупотреблял).

Перекур…

И вдруг, уставив в меня указательный палец, Леонид Андреевич произнёс:

– А Слава в будущем году начнёт писать стихи!

Вот тебе раз. С чего это он взял? Я никому не говорил, что в ранней юности, было дело, пописывал стихи. Но с той поры прошло лет тридцать! Да и вообще я уже утвердился в своей среде как прозаик… Какие стихи? Я пожал плечами да и забыл.

И вот тут – что хочешь, то и думай: он ошибся всего-то на два года! У меня, действительно, «снова стихами повеяло» – я опять начал писать их, но не в девяносто пятом, как выходило по его предсказанию, а в девяносто седьмом.

Однако это выяснится потом. А в тот вечер мы вышли из редакции «Амурской газеты», когда было уже темно. Завальнюк, Марк Либерович Гофман и сын его Юлий пошли к автобусу. Я проводил их до остановки и распрощался.

А наутро приходит на работу Юлий – мы работали вместе.

– Вот, Леонид Андреич тебе передал! – и, усмехаясь, кладёт передо мной лист бумаги, а там отпечатано на машинке стихотворение, озаглавленное: «Попытка портрета. Сложная форма». Я прочёл – ничего не понял. Прочёл второй раз – кажется, что-то уловил. Прочёл третий раз – расхохотался, позвонил ему, поблагодарил.

Это неизвестное, нигде не печатавшееся шуточное стихотворение Завальнюка я прилагаю в конце своих заметок. А пока…

Последняя наша встреча была в апреле 2004 года, в последний его приезд в Благовещенск. Накануне своего возвращения в Москву он пришёл ко мне в «РИО» с отцом и сыном Гофманами. Были ещё поэты Игорь Игнатенко и Николай Левченко. Я расстарался накрыть стол: и холодец шикарный, и сало с мясными прожилками… Но углубляться в одно только примитивное застолье Леонид Андреевич не дал. Вкусили-выпили, и он сказал: «А теперь почитаем стихи». И мы читали их по кругу: я, Игнатенко, Левченко, Завальнюк.

А потом – лишь редкие телефонные разговоры с Москвой. Смерть своего друга, Марка Гофмана, он переживал тяжело. Гофман не дождался выхода в свет его последней и, как считал сам Завальнюк, лучшей книги – «Летела птица».

У В. Лецика в «РИО».
Второй слева – И. Д. Игнатенко

Эту книгу Леонид Андреевич переслал мне с оказией. На титульном листе написал:

«Поэту Лецику от поэта Завальнюка с искренним профессиональным и всяким другим уважением. Будь счастлив, старик! Леонид Завальнюк. 20 октября 2009 г.».

…Заканчивая свои заметки, хочу вернуться к тому давнему, многим известному стихотворению – его я лишь обозначил в начале:

Снова стихами повеяло
От молодой травы.
Я каждому слову поверю,
Которое скажете вы,
Поверю, что вы наступаете
По руслам новых дорог,
Прочтите мне только по памяти
Десяток хороших строк…

Оно было напечатано на первой полосе обновлённой «Литературной газеты» – первый номер за 1959 год. Надо ли говорить, как гордились своим земляком на

Амуре! Однако вот что любопытно: сам Леонид Андреевич в последние годы оценивал это стихотворение невысоко. Ему горячо возражали, но он только головой в сомнении качал. Чуть было даже не выкинул его из сборника избранного – благо редактор Гофман не дал этого сделать.

Я не знаю, что именно ему не нравилось. Может быть, эти строки:

Зачем же вы молодость грабите,
Мимо стихов идя?..

Возможно, он видел тут экзальтированную асадовско-друнинскую назидательность, для него чуждую? Но это только моё предположение.

Конечно, Леонид Завальнюк имел право на критическое мнение о собственных вещах. Тем более что он, буквально с первых публикаций заявивший о себе как о мастере, с годами писал всё лучше. Это поразительная особенность его таланта – постоянный, до самой старости, приток свежих сил в стихах, постоянная новизна горизонтов мира и уголков души.

И всё же это его молодое стихотворение я в обиду не дам никому, даже ему самому, умудрённому колоссальным опытом автору. Оно по-прежнему волнует меня. В нём живёт дыхание оттепельной эпохи, которая была временем надежд – и временем нашей юности.

А такими вещами не бросаются.

Октябрь 2011 г.

Леонид ЗАВАЛЬНЮК

ПОПЫТКА ПОРТРЕТА. СЛОЖНАЯ ФОРМА

Лецик объелся клёцок,
Выросла борода.
Лецик, как вольный лётчик,
Ищет свои города.

Лецик бежит по дороге,
Нежно трясёт колбасой,
Не помышляя о гробе,
О пиковой даме с косой.

Капусты не надо, не надо,
Импичмент валюте любой.
Под левой подмышкой – отрада!
Под правой подмышкой – долой!

Вот он, движок на мазуте,
Статный, как старый грузин,
Красного кочета сути
В чёрность тщеты погрузил.

Вот он в четвёртой вселенной,
Следом за собственным «ах!»,
Жаркой надежды полено
Ищет в последних дровах.

И – «Лецик!» – взывают просторы,
Вольных небес мужики,
И принимает простое
Сложную форму тоски.

Октябрь 1994

Николай ЛЕВЧЕНКО

член Союза писателей России

ПРОГУЛКИ ПО ОСЕННЕМУ БЛАГОВЕЩЕНСКУ

Меня спросили – был ли я знаком с Завальнюком? Да – ответил я с некоей легкомысленной гордостью. Напишите о нём – последовала просьба, которая, по мере её исполнения, становилась всё более трудноосуществимой.

Наверное, дело в том, что мы не были ни близкими друзьями, ни сверстниками. Но, может быть, почувствовать себя близким с поэтом можно, читая его стихи. И всё же житейские обстоятельства нашего давнего зна-

комства и последующих встреч, чем больше я о них вспоминал, приобретали какой-то многозначительный, почти мистический смысл.

Впервые я услышал о Завальнюке от отца, который был молчаливым посетителем городских литературных встреч и вечеров. С этих же своих школьных лет я узнал о Марке Гофмане и чаще всего встречался с ним около центрального книжного на Ленина.

С его дочерью Ритой Гофман мы стали знакомы с её первых, а моих последних студенческих лет, ещё некоторое время работали вместе на одной кафедре в мединституте. Все эти годы я многократно слышал о «дяде Лёне», потом, в один из его приездов из Москвы, мы организовали встречу наших студентов с поэтом в общежитии. Слушали стихи, задавали вопросы, по ночному городу провожали до дома его старых друзей Гофманов. Он был немногословен, будто старался уйти в тень. Потом я понял, что это была тень его стихов. Возможно, стихи казались ему самым интересным обстоятельством собственной жизни.

Во все наши последующие встречи я только утверждался в этой мысли, утверждался и во время его публичных выступлений, и во время скромных писательских застолий.

И там, и там возникали вопросы, связанные с его поэмой «Осень в Благовещенске». Он отвечал односложно, потом я узнал, что он не любил её. Трудно сказать – почему. Когда мне пришла очередь писать поэму о городе, я выбрал то же название и вообще постарался обозначить присутствие поэта Завальнюка в этой поэтической прогулке по осеннему Благовещенску. Как, может быть, кто-то попытается потом увидеть и моё незримое присутствие на этих золотых осенних улицах. Улицах города, который нам повезло любить.

Валерий ЧЕРКЕСОВ

член Союза писателей России

КЛЮЧ ОТ БЕССМЕРТЬЯ НЕ ДОБЫТЬ...

Запись в моём дорожном дневнике: «19 сентября 2010 года. Поезд “Москва – Благовещенск”. Читаю книгу Завальнюка “Планета Зет”. Что это: случайность или невероятная закономерность? В октябре Леониду Андреевичу 80 лет, и я получил от него сборник».

Да, такое произошло. Книгу на вокзале в столице мне вручил Григорий Петрович Кушнарёв. Уроженец Белогорска, он много лет работал в издательстве «Молодая гвардия», был знаком с Завальнюком, который и передал ему «Планету Зет» для меня. Дарственные слова и, конечно же, стихи новые и те, которые я давно знал, волновали, вызывали воспоминания о наших встречах в Благовещенске и Москве. Их было немного, но каждая осталась в памяти. Леонид Андреевич был первым настоящим поэтом, которого я увидел в теперь уже далёкой молодости, с которым познакомился; его стихи, если можно так сказать, подвигли меня на серьёзное сочинительство, я их помню до сих пор:

Снова стихами повеяло
От молодой травы.
Я каждому слову поверю,
Которое скажете вы,
Поверю, что вы наступаете
По руслам новых дорог,
Прочтите мне только по памяти
Десяток хороших строк.

Шесть суток за окнами вагона пролетала осень – любимая пора Леонида Андреевича, недаром он в это время года часто приезжал в Благовещенск. Как он писал: «Где дом друзей – там родина моя». Одна из его поэм называется «Осень на Амуре», у него много стихов с осенними приметами.

Интонация новой книги была созвучна моему настроению. Несколько раз я перечитывал такое стихотворение:

Мне чудятся поля, которые я знал,
Какой-то лес вдали, дома за косогором…
А за мильоны лет до них –
Рожденья моего вокзал,
Где был я высажен угрюмым контролёром.
Куда-то жизнь меня не довезла,
В какие-то края совсем другие.
Не оттого ль порою ностальгия
Отодвигает все заботы и дела?
Не оттого ль порой, былое сокрушая,
Минуя все дома и города,
Я в сотнях поездов куда-то уезжаю
И сам с собой прощаюсь навсегда?..

Почему-то, читая книгу, вспомнил высказывание Иосифа Бродского по поводу одного поэта, мол, если из стихов этого автора изъять его биографию, то в них ниче-

го не останется. Но зачем изымать биографию? Ведь русская поэзия всегда была исповедальной, а исповедуется человек чаще всего о своём, о сокровенном. Пушкин, Лермонтов, Блок, Есенин, Ахматова, Рубцов, Юрий Кузнецов… Судьба поэта становится и судьбой читателя – вот чем притягательна поэзия. Этим отличаются и стихи Леонида Завальнюка:

Была пора отлёта птиц и поздней молотьбы.
День догорал, по грудь в осоке стоя.
И чувство странное,
До ужаса простое,
Вошло впервые в кровь моей судьбы…

Как будто обо мне сказано. Я читал автобиографическое повествование «Избранные места из переписки с самим собой» и словно возвращался в Благовещенск моей молодости, разговаривал с Марком Либеровичем Гофманом, который в «Избранных местах…» запечатлён под именем Сирано, с Абрамом Григорьевичем Ривлиным (с ним Леонид Андреевич дружил, а я под его началом работал в «Амурской правде»), прогуливался по улице имени Калинина, на которой когда-то стояла «завальнюшка»… Запомнились и слова поэта, что «вдохновение даётся не даром, а обязательно за труд, за работу разума». Собственно, я тоже так думаю, но Завальнюк эту мысль, так сказать, сформулировал.

В Белгород из Приамурья я вернулся в середине октября. Приближалось 80-летие Завальнюка. Я написал о нём и его творчестве статью под названием «Поэт, которого я люблю», напечатал её в областной газете «Смена», в редакции которой работаю, а когда номер вышел, отправил экземпляр Леониду Андреевичу. Надеюсь, газета дошла до адресата, поэт её прочитал и публикация его порадовала. Это был мой поклон поэту. Я не мог предположить, что последний…

Сборник «Планета Зет» завершается стихотворением «Фрагмент молитвы». Вот его последние строки:

Но мне при всём желанье жить
Ключ от бессмертья не добыть.
Так мир устроен: не добыть,
Один я это не осилю.

Сегодня они воспринимаются как провидческие, как пророческие.

СТУДЕНТЫ ЧИТАЮТ СТИХИ Л. ЗАВАЛЬНЮКА

Ксения ПОТЕХИНА

Проникающее ранение в сердце

Читая стихотворения Л. Завальнюка, о многом задумываешься. Читаешь и будто становишься старше, открываешь в себе что-то новое.

Особенно взволновало меня стихотворение «Журавли кричат» – пронзительное, печальное, можно сказать, трагическое. Но как светло становится на душе от него! Особенно от этих вот строк:

…Я осенний, как и многие из нас,
Как и многие средь мира моего,
Кто в бегах, иль павши на колени,
Что бы ни просили, просят одного:
Господи, пошли мне просветленья!
Радости пошли, пусть горькой, но живой.

Как коротко написано, но как много сказано! Проникающее ранение в сердце. Чего ещё хотеть одинокому человеку, как не «горькой радости». Она, конечно, не предел мечтаний, но всё же – мечта. Пока мы умеем мечтать – мы люди, как только перестаём – жалкая пародия. В повседневной гонке за мнимыми ценностями забываем о простых человеческих чувствах, причиняем боль тем, кто рядом. Мы стали жестокими, бездушными. А всё, что нам надо, – знать, что «мир не злая шутка», что добро и зло, любовь и ненависть рядом, и выбор за каждым из нас.

Екатерина МАКОВЕЙ

Победа поэта

Известно, что настоящие поэты чувствуют приближение собственной смерти и в стихах предсказывают её. Часто такие стихи наполнены трагическим ощущением и оставляют у читателя тяжёлое чувство. Вряд ли кому-либо из людей хочется знать, что он в скором времени умрёт, а если он узнаёт об этом, то как это знание примирить с огромным желанием жить? Задача поэта заключается не в примирении с неизбежностью окончания жизни, а в победе над смертью. Эту победу может обеспечить только творчество.

Леонид Завальнюк – один из тех, кто смог в своих стихах и в своей душе победить смерть. Я имею в виду подборку стихотворений «Жестокое начало», опубликованную за год до смерти поэта в журнале «Октябрь». Эти стихи можно прочитать как завещание поэта. Ключевое среди них – «Грусть», в котором есть такие строчки:

Простите, чудо-небеса,
И ты, Земля-планета,
Но убегу. Надолго?
Нет. Совсем.

Это прощание поэта. Но поразительная вещь: Завальнюк прощается не только с планетой Земля, но и с небесами, приютом умерших. Значит, смерть для поэта – переход в инобытие.

Есть ли грусть в этих стихах? Если и есть, то та самая пушкинская «светлая печаль». Поэт предчувствует другое бытие, не жестокое, каким его одарила земная жизнь:

Жестокое начало
Без матери, отца.
Их нет,
Они забыты.
И всё ж не до конца.

Грусть останется здесь, вместе с его телом, а там, впереди, ждёт «весна за вечною зимою».

Леонид Завальнюк в этих стихах побеждает смерть, и читатель должен почувствовать эту победу и осознать, что душа поэта осталась там, в неведомых пространствах, куда нам ещё предстоит попасть.

Поэт преподал каждому из нас урок, что есть тело, а есть душа, и тебе решать, что важнее. И от этого выбора зависит, как ты проживёшь свою жизнь.

Виктория СТАРЦЕВА

Как рождаются стихи?

Что скрывается за понятием «вдохновение»? Как происходит процесс поэтического творчества? Именно на эти вопросы пытается дать ответы Л. Завальнюк в стихотворении «Рождение стиха».

Оно отличается простотой, не перегружено приёмами, замысловатыми метафорами. На первый взгляд оно кажется простоватым, но при вдумчивом прочтении раскрывает глубокий смысл.

Автор описывает вдохновение не только как душевный, но и физический подъём: «Душа – это б ладно, но тело желает летать оголтело». Гармония между внутренним миром поэта и его телом не устанавливается. В этом и состоит загадочный процесс творчества. Когда волна вдохновения накрывает поэта, ему не только нужно «удержаться» на ней, но и определиться, о чём он хочет сказать, что выразить – душевные или физические чувства. Несмотря на заманчивые «предложения» тела «прекрасно полетать», душа лирического героя подавляет эти порывы. «Тихонько спев и сплясав», то есть дав возможность телу выразить радость вдохновения, герой пишет стихотворение, выражая свои душевные чувства.

Леонид Завальнюк нарочито убыстряет и упрощает творческий процесс: «А после, при утреннем свете, на старой какой-то газете о смерти, о тающем лете трепещущий стих написал». На ум сразу приходят строчки Ахматовой:

...Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как жёлтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда...

Произведение Завальнюка убеждает, что невозможно до конца познать всю сложность рождения стиха, осознать те ощущения и мысли, из которых он является. Появление его на свет – загадка, доступная лишь душам поэтов.

Дарья ЛУКИНА

Держаться за боль

С очень странного утверждения начинается стихотворение Л. Завальнюка «Держись за боль. Всё остальное рухнет»». Чувство боли хоть раз в жизни испытывал каждый человек, и у каждого оно своё. Кого-то боль делает сильнее, выносливее, у других, испытавших её, опускаются руки.

Лирический герой Завальнюка во многом прав, замечая, что нас окружает «тлен, сквозь суету и рухлядь». Жизнь – это в какой-то степени хаос, она настолько быстротечна, что человек часто не замечает многого из происходящего вокруг. Всегда проще говорить о том, как всё плохо, чем попытаться увидеть в простых вещах высокий смысл.

Но лирический герой Завальнюка смысл этот увидел, найдя спасение в вере. Я очень долго не могла понять правомерность сопряжения «боли с Богом». Но позже если и не осознала, то почувствовала, прочувствовала: испытывать боль свойственно каждому человеку, следовательно, и вера есть в каждом, у кого-то в большей, у кого-то в меньшей степени: «Я то, что есть в любом».

Самое яркое и, по-моему, точное сравнение – жизни с болезнью, ведь, действительно, все те чувства, события, которые переживает человек, оставляют внутри него отпечатки, очень похожие на следы перенесённых болезней. И автор прав, говоря, что именно душа болеет телом, а не наоборот. Всё, что мы делаем для удовлетворения своих плотских потребностей не приемлет наша душа. Она черствеет и, в конечном счёте, мы забываем о ней. Пока душа способна испытывать боль, мы живы: «А значит, смерти нет».

Наталья МОВЧАН

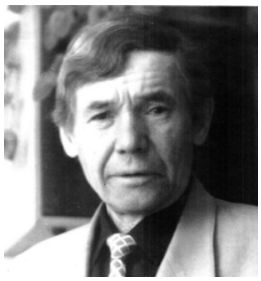
Стихи, которые умеют «стучаться в душу»

Бывают стихотворения, которые умеют «стучаться в душу». Читаешь строки – и дрожь пробивает. Вроде бы простые по форме, не пафосные, но в них есть что-то такое, что заставляет перечитывать их снова и снова. Стихи эти притягивают тем, что в них есть и мудрость, и тепло души, и любовь… Именно такие произведения и рождаются под пером Л. Завальнюка.

Стихотворение «Строитель замков на песке…» пронизано житейской мудростью, даёт надежду, ведь в нём говорится, что даже от бесплодных усилий может быть толк: «сам себя построил». Читаешь такое, и настроение поднимается, хочется творить, браться за что-то, может быть, трудно осуществимое, но о чём давно мечталось! Ведь часто мы пасуем перед трудностями, боимся поражений, нам не хватает решимости. А «Строитель замков на песке» убеждает, что отрицательный результат – тоже результат. Неудачи закаляют характер. Хотя это давно известная истина, но как ново она заиграла, озарившись поэтическим даром Завальнюка!

Поэт умеет создавать многоцветный мир, удивляющий нас тем, что при чтении одних и тех же строк может меняться их палитра. После первого прочтения стихотворения «Журавли кричат» в моём сознании возникли контрастные цвета: белый – цвет чистоты, журавлиный, и чёрный, в который окрашены «смятенье, боль, тревога». Во второй раз заиграли новые краски: золотом посыпались осенние листья («Я осенний, как и многие из нас»), и накрыло пронзительно голубое небо («Журавли кричат над головой»), образ которого неразрывно связан с высшими силами – к ним взывает поэт, моля о просветлении. Зримая зарисовка и в то же время философская… Такие стихи могут сыграть мелодию на струнах самого зачерствевшего сердца.

Виктор АЛЮШИН



От редакции. Вот так всегда и бывает… И знаем об этом, и всё равно – опаздываем…

Всё собирались-собирались встретиться с Виктором Алюшиным, опубликовать подборку его лирики и вот… уже не встретимся. Но, слава Богу, есть стихи, а значит, и вопреки всему – возможность встречи. Это и спасает нас, оставшихся жить.

Предлагаемые вашему вниманию стихи – не просто дань памяти поэту, для многих из нас – это знакомство с одной из малоизвестных страниц амурской литературы. Стихи Алюшина не поразят вас сложной неправильностью рифм, перебоями ритма, неожиданностью образов. Нет, они берут другим – они детство напоминают, стихи в школьном учебнике по литературе, и в нём же – репродукции картин Левитана, Серова с их прозрачным воздухом и тихой песней о сокровенной красоте Родины. А если так, то чего же боле? Если поэзия помогает читателю встретиться с самим с собой, значит, она… Поэзия?!

Стихи

* * *

Пшеничный зреет колос,
Качаясь и звеня.
Родной до боли голос
Зовёт, зовёт меня.
Земля, где имя дали
И где с друзьями рос,
Меня из дальней дали
Зовёт на сенокос.

Март

Март кончается нелепо.
Разве нет? Взгляни сама:
Мирно спят под хмарью неба
День весенний и зима.
Возле пасеки, где прежде
Вьюга плакала навзрыд,
Фиолетовый подснежник
На одной ноге стоит.
Он смельчак. Ему не страшно,
Что совсем невдалеке
Серебрится снег вчерашний, –
Снег, не тающий в руке.

Земная ось

Где-то в недрах под нами
По наклонной, насквозь,
Шар пронзает земная
Многотрудная ось.
Всё проходит над осью,
Кроме полюсов двух:
И сады, и колосья,
И ромашковый луг.
Города на просторе,
Волны синих морей,
Наше счастье и горе
Проплывают над ней...

* * *

...А сколько войн на свете было,
Какие люди полегли...
Земля, как братская могила,
Летит в космической пыли.

* * *

В мире всё идёт по кругу.
Завивается в спираль.
Потянулись птицы к югу
Сквозь сереющую даль.
Мы, как дети, снегом бредим,
Спим ночами кое-как
И у тёщи за обедом
Хлеб воруем для собак.

* * *

Как туманно и зыбко...
И хоть криком кричи,
Если чья-то улыбка
Не согреет в ночи.
Не спасёт у причала
В горький час парапет,
Если друга не стало
И товарищей нет.

* * *

Увязли насекомые в цветах.
Смола застыла, с дерева стекая,
И с неба льётся музыка такая,
Какую открывал в природе Бах.
И солнце не сбавляет вечный бег,
И облака сугробами повисли...
Здесь кажутся кощунственными мысли
О том, что всё же смертен человек.

* * *

Ещё горяч речной песок.
Амур и Зея – в неге.
Но тополь, строен и высок,
Напомнит им о снеге.
Когда июльский воздух сух,
Разросшийся без меры,
Он с высоты роняет пух
На улицы и скверы.
Стоит и держит на весу
Серебряную вьюгу.
А реки быстрые внизу
Торопятся друг к другу.
И не понять: дома в воде,
В снегу ли утонули...
Так в Благовещенске везде
Белым-бело в июле.

* * *

Т. Чернышёвой

Пораньше ляг, спокойно спи,
А утром вспомни так:
Мол, где-то, родом из степи,
Живёт один чудак.
Немножко странен, в меру тих,
До крайности упрям,
Он о тебе читает стих
Реке и тополям.
Не он ли, чуточку хмельной
От светлых чувств и дум,
Сейчас по мокрой мостовой
Шагает наобум?

Россия

Там, где тройками кони летели, –
Так летели, что только держись! –
Заметают Россию метели –
Всю её непутёвую жизнь.
Спит Россия... Народ, как безродный,
Прозябает в глухой нищете...
Это Богу, должно быть, угодно,
Чтоб распяли её на кресте.
Знать, по взмаху державного жезла
Мать-Россия на муки пошла.
И покуда она не воскресла,
Над страной не рассеется мгла.

* * *

В птичьем щебете и гаме
По степи гуляют ветры.
Тянет лошадь километры
Исхудавшими ногами.
По церквам – святые лики,
По домам – простые лица...
Мне такой Россия снится
И её народ великий.

Перелётные птицы

Птицам не страшны любые дали,
Их пути – таинственная вязь.
От кого пернатые узнали,
Что весна в России началась?
Да и что на севере им надо, –
В этом неприветливом бору,
Где высоких сосен колоннада
Инеем покрыта поутру?
Райские отпущены им кущи:
Размножайся, радуйся, живи.
Но любовь всё яростней и пуще
В птичьей разгорается крови.
Вот они над копнами соломы
И над серпантином автострад,
Вечными инстинктами ведомы,
С криками гортанными летят.
Слыша крики птиц, я замираю:
В них и боль, и радость, и тоска...
Это же любовь к родному краю
Птиц домой ведёт издалека!

* * *

На сотни вёрст дорога не кончается.
Родимая сторонушка светла.
Но одиноко на ветру качается
Печальная российская ветла.
И облака опять плывут над нивами.
Берёзы белые стоят среди полей.
Ну почему не стали мы счастливыми
На родине берёзовой своей?
Рождаемся на свет в кромешной темени,
И после наши беды велики.
Уходят и уходят раньше времени
Из жизни окаянной мужики.

«Новая» деревня

Зарастают в деревне дороги.
У людей – исподлобья взгляд.
Но в церквах, не по-здешнему строги,
Божьи лики ещё висят.
Стала жизнь и страшней, и короче
На просторах моей страны.
Богородицы скорбные очи
В наши души устремлены.

Дикая охота

Пожухлые травы намокли,
Намокли и крылья гусей,
И чьи-то глаза сквозь бинокли
Следили за местностью всей.
Утиная шумная стая
Над самой землёю неслась
И вдруг, к камышам подлетая,
В болотную шлепалась грязь.
Шарахались егери всуе,
И долго звенело в ушах,
Когда «жигулёнок», буксуя,
С надрывом визжал в камышах.
Летел, беспощаден и жуток,
Свинец, точно тысячи жал,
И пух от расстрелянных уток
На стылых болотах лежал.

* * *

Воробьи в кустах замолкли разом.
Полная луна вошла в зенит
И оттуда исполинским глазом
На поля российские глядит.
Тишь в деревне. Спят спокойно люди.
Спит в озёрах синяя вода...
Страшно, если этого не будет
Под луною больше никогда.

Город Зея

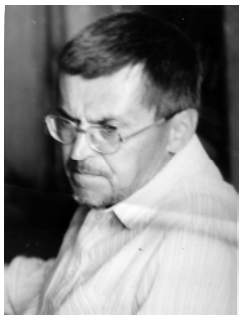
Вьюге злиться долго не дано, –
Поутру угомонилась вьюга.
Только Зея, выгнувшись упруго,
Сотрясает собственное дно.
Проклиная тех наверняка,
Кто воздвиг плотину-коромысло,
Над морозным городом нависла
В море превращённая река.
Запушился инеем карниз,
И река несёт с верховьев тину.
Ну а если разорвёт плотину
И тигрицей кувыркнётся вниз?..

* * *

Б. Черныху

Не заплещется море синее,
Сколь водицы в него не лей.
Закатилась звезда России,
Закатилась звезда полей.
Ямой станет у моря донышко,
Коль останется без воды.
И не вызволишь ты, Алёнушка,
Братца милого из беды.
Царство шумное берендеево –
Все леса его нам сродни.
А сейчас уже нет нигде его –
Ощетинились пни да пни.
Зарастёт травой чисто полюшко,
Затоскует луг по косьбе.
...Ой, ты, русская доля-долюшка,
Позавидует кто тебе?

Борис ЧЕРНЫХ



ОТЧЕ НАШ
Реквием

* * *

В июне 1927 года в станице Албазинской, самой старой на Амуре, внезапно взят опричниками Иван Черных, потомственный казак.

Вначале я хочу показать редчайший фотокадр.

Фотография безвестного албазинского хроникёра. На ступенях церковно-приходской школы в мае 1910 учитель собрал воспитанников, чтобы сделать памятный снимок. В нижнем ряду, четвёртый справа, насупленный Ваня Черных. А в верхнем ряду пятая справа Гутя Самсонова, в сарафанчике. Ни Гутя, ни Ваня не догадываются, что судьба сведёт их в союз навеки, но век окажется коротким, всего двадцать лет.

Фото 1

* * *

Ничто не предвещало ареста. Гражданская смута в России и на Дальнем Востоке унялась. Мужики (бывшие из казачьего сословия) землепашествовали. Иван тоже втянулся в домашние заботы. У него и у Гути народилось трое детишек, два мальчика – Гена и Вадик, и дочь Гера, соответственно четырёх, трёх, двух лет. Грибочки. На усадьбе ржали кони, не верховые, рабочие. Мычали коровы. На заимке метались в загоне овцы. Заимку Иван не забросил. Каждую весну поднимал 15 десятин земли. Стало быть, не отняли ещё землю.

Оставалась открытой граница с Китаем. Албазинцы косили на правом берегу, травы там стояли сочные.

Дома у Ивана за хозяйку оставалась Гутя. Она лишь годом младше мужа. Гутя охотно рожала и празднично нянькалась с малышами. Ей помогала баба Груня, мать. Баба Груня несла домашние тяготы тоже в удовольствие. Сама-то Груня нарожала шесть девок – старшей была Пелагея, за ней шла Гутя.

Дом полная чаша. Ванечка любит Гутю, Гутя любит Ванечку. Но горесть точит молодую семью. Отец

Вани, Дмитрий Лаврентьевич, не принял Октябрьской революции и ушёл на чужой берег. Там вырыл тёплый блиндаж, жил одиноко. Приятели-китайцы хаживали к нему на затуран. Это байховый чай, солёный, с молоком. Где они брали молоко? На русской стороне, куда совершал вылазки Георгиевский кавалер. Но не только за молоком ходил Дмитрий Лаврентьевич. Его притягивали внуки и внучка. И Гутя ходила в любимицах у деда Дмитрия. Старый казак не единожды говорил сыну: «Кабы мне досталась в молодости Гутя. О-о!» На эти «О-о» Ваня улыбчиво отмалчивался. У Ванечки житейская программа была простая: поднять деток, буде ещё народятся. Никак не менее десяти. Поднять, затем во главе рода ходить по станице, выбирая невест и женихов. Притом Ваня холил Гутю и чем далее, тем всё сильнее понимал, что она отвоевала его, зная одну цель – чем далее, тем преданнее любить Ванечку, единственного, ненаглядного.

Но жизнь на Амуре неумолимо сползала в никуда. Сначала скоропостижно помер Василий Яковлевич Самсонов, Гутин отец, а Грунин муж. Повод казался ничтожным. Василия Самсонова, бывшего станичного атамана, вызвали в сельсовет, и сказали бывшие сотоварищи:

– Василий Яковлевич, стадо у тебя великое. Нам кажется, ты заездил девок. Они заместо казаков у тебя. И пашут, и сеют. Лес рубят. И косят. И рыбалят. Урожай сгребают.

– Завидно? – спросил Василий Самсонов.

– Чему завидовать? У самих хлопот полон рот. Из района пришла указивка. Сократить большие хозяйства, а то получается – кулацкие.

– Кулацкие с наёмной силой, – отвечал Василий Яковлевич, – а у меня заместо китайцев мои дивчины.

Фото 2

– Ну, смотри, атаман…

Василий Яковлевич стал смотреть. Получалось, если на всех дочерей поделить коров, лошадей и овец (когда замуж пойдут) – не так богато. Но смотрел он сердечно и слёг. И в одночасье не встал. Его погребли возле старой церкви, воздали должное воину.

Однако Дмитрия Лаврентьевича Черных никакая хвороба не брала. А погранцы ему не указ. Ночью они перехватывали Дмитрия на льду или на плаву, грозно советовали не нарушать границу. Дмитрий отвечал: «Здесь я вырос и состарился. То моя родина, а вы тута временные».

По понятиям середины 20-х отец-эмигрант – явление опасное. Но Ивана и Гутю настолько захватила семейная песня, что отца, Дмитрия Черных, они воспринимали как припев к песне. Привечали его и ласкали.

Головная боль у пограничников – именно Дмитрий Черных. И тогда решили испытать Ваню и Гутю на излом.

Наряд пограничников силой взял Ивана и увёз из станицы. Гутя думала – в Рухлово (ныне Сковородино). Оказалось, в Благовещенскую тюрьму.

Я сам только что получил из КГБ (ФСБ) документы о событиях 1927 года[1]. И узнал, что отец был вывезен в Благовещенский тюремный замок.

Первое, что я сделал, – поехал в нашу тюрьму. Мне выписали пропуск, я вошёл в мрачное чистилище. С подполковником Н. мы посетили старинный корпус, где содержали отца, и камеры, где он был заперт.

В нынешние мои лета, прошедший огни и воды, я не заплакал. Я всё время помню – за спиной у меня мама Гутя. Она выдержала тогда невиданное испытание. Не просто выдержала. Испытание приподняло её над грешной землёй.

Она боролась за Ванечку с пятнадцати лет. Её соперницей была несравненная Таля, дочь предпоследнего албазинского атамана Павла Птицына. Но Павел Птицын, мудро просчитав все шансы дочери, поспешил выдать её за почтовика Гавловского, укоренившегося на Амуре поляка. Закадычные соперницы выплакались на свадьбе и остались верными подругами на всю жизнь. Даже когда обстоятельства вынудили Павла Птицына бежать из Албазина – а он бежал не к Дмитрию Черных, не в Китай, а в Казахстан, но и там его настигла чекистская пуля, – и тогда Гутя и Таля не покинули друг друга…

После ареста Ванечки маменька обошла сто подворий и собрала подписи в защиту Ванечки. Наивная, она думала, что власть примет к сведению письмо коренных станичников. Не тут-то было.

---

[1] Вот обложка «Дела» НКВД ГПУ от 1927 года (Фото 2). Страниц в «Деле» немного. Но они дают повод поздним читателям поразмышлять. Почему с 1927 года надо было скрывать от потомков т. н. «Дело»? Все его персонажи давно умерли, даже их дети в большинстве своём тоже ушли на вечный покой. И сейчас мне, последнему албазинскому казаку, милостиво разрешают припасть к полуистлевшим страницам. Что ж, я читаю и обнаруживаю абсолютную ложь: создание контрреволюционной организации, связь с вождями белого движения в Харбине и пр., и пр. Но 1927 год не 1937, и всё «обвинение» рухнуло уже во время т. н. «следствия».

Процитирую это письмо, хотя видно, что над окончательной редакцией походила рука особиста. Предварительно надо дословно привести слова из Постановления Уполномоченного КРО ПП Богданова (и следом резолюции начальника КРО ПП Шнеерсона – «Согласен» и «Просмотрено» – Ю. К. Анцелевича): «…Ввиду их принадлежности к социально опасному элементу (“их” – вместе с Ванечкой взяли Александра Самсонова, по возрасту он годился в отцы Ивану, 1871 года рождения) – направить для рассмотрения в Особое совещание при Коллегии ОГПУ на предмет заключения в концлагерь, направив предварительно на заключение Далькрайпрокурору…

Справка: Обвиняемые Черных И. Д. и Самсонов А. И. содержатся под стражей в Благовещенском ИТД».

22 июня 1927 года Иван Черных был допрошен (лист «Дела» 8). Из протокола вычитываем: на вопрос 7 «Служил ли в армиях реакционных правительств, где, когда в каком чине и в какой части?» – ответ: «Не служил».

На 8 вопрос: «Служил ли в контрразведывательных учреждениях реакционных правительств (и пр.)?» – ответ: «Не служил».

Далее тятя просит перо и пишет: «В период колчаковщины ни в каких белогвардейских отрядах не участвовал и пособничества не оказывал… в 1920 году призвали на военную службу и служил в 1-м и 2-м кавалерийских полках. В 1921 году из армии (Красной) дезертировал», – начинается, нет, продолжается судьба Григория Мелехова, персонажа шолоховского «Тихого Дона». Его зазывает Гутя, и он готов отозваться на зов любимой, но в эти месяцы он у отца в Китае. Отец уговаривает переманить Гутю в Китай, но в 1922 году Иван переходит границу и возвращается домой. Притяжение родины и Гути одолело.

«Ни в каких разговорах против Советской власти с кем-либо не участвовал, а также не говорил о войне с Китаем и о падении соввласти.

Отец мой Дмитрий Черных последний раз приезжал ко мне в Албазин в 1924 году… Обнаруженная обыском газета “Возрождение” принадлежит жене (для выкроек, в выкройках и найдена)»… И подпись отца.

В «Деле» есть и «Протокол обыска», из него явствует, что «при обыске (это 14 июня 1927 года) обнаружено ничего не было». Обыск произведён в присутствии п/уполномоченного Шишкова, представителя с/совета Филинова и квартирохозяйки гр-ки Черных Августы Васильевны.

Подписи матери, Филинова и этого самого Шишкова.

Сохранился ордер № 18 на право производства обыска, от 14/VI-1927.

Но обыск ничего и не мог дать, ибо Иван был весь в отцовстве, то есть малые детишки пленили его. Уже родился Вадик, третье дитё.

Но всё-таки тятю берут и увозят.

В безнадёжную борьбу вступает мама Гутя.

Лист Дела 10 называется «Поручительский», от 29 августа 1927 года: «Мы, нижеподписавшиеся жители села Албазина Рухловского района Зейского Округа, даём настоящий в нижеследующем: наш односельчанин Иван Дмитриевич Черных, местный уроженец, в 1920 году под влиянием отца Дмитрия Лаврентьевича Черных эмигрировал на китайскую сторону, но в 1922 году возвратился обратно и с этого момента по день ареста проживал в Албазине, занимался хлебопашеством, ни в каких контрреволюционных выступлениях не замечался.

Черных в настоящее время обременён семьёй в числе жены, трёх малолетних детей и больной сестры. Имеет домашность, как-то: 3 лошади, 2 коровы и другую хозяйственную обстановку. Беря его на поруки, мы ручаемся, что от суда он не скроется и по первому требованию суда явится или же нами будет доставлен куда следует.

К сему подписуемся…»

Далее идут подписи ста десяти албазинцев, в послесловии я могу назвать всех, сейчас приведу имена друзей и родных: Р. Портнягин, Григорий Черных, З. Суриков, Георгий Сенотрусов, Павел Птицын, это отец Тали Птицыной-Гавловской, маменькиной подруги, Василий Самсонов (отец Гути), Филат Исаков (кстати, девичья фамилия бабы Груни, матери мамы Гути, – Исакова. Эту фамилию она понесла, через родителей, ещё с Енисейских времён), Павел Антипьев.

И другие.

В конце третьего листа «Поручительства» стоит: «Собственноручные подписи граждан в сем Поручительском Листе Албазинский сельсовет свидетельствует.

Председатель сельсовета Филинов.

30 августа 1927 года».

Любопытна резолюция оперативных работников нынешнего Амурского ФСБ: «Ксерокопия снята»… – и подпись начальника подразделения УФСБ РФ по Амурской области: 17.09.2010. Я. В. Ширяев». Считаю себя обязанным называть сегодняшних функционеров КГБ. Ибо, когда получил, наконец-то, через 83 года, из Центрального Архива КГБ (он в Омске) «Дело» моего тяти, реабилитированного в 90-х, как я ранее поминал, меня позвали в резиденцию ФСБ на улицу Пионерскую, чтобы я, уже старик, внял горьким истинам конца 20-х годов, о которых слышал от мамы Гути невнятно. Внятно она остерегалась мне говорить, чтобы не надломить судьбу младшего сына.

С дамой из ФСБ сели мы в кабинетике. Я стал листать «Дело» и тотчас обнаружил некоторые страницы защемлёнными скрепками.

– Что это означает? – спросил я даму.

– Это нельзя смотреть, – смутившись, ответила она.

– Почему? «Делу» моего отца 83 года. Спустя почти столетие «нельзя смотреть»?! – я встал и ушёл домой.

Неделю спустя меня снова позвали в ФСБ и сказали: «Мы открыли некоторые страницы, Б. И. Приходите, пожалуйста».

Пришёл. В числе «открытых» было как раз коллективное письмо албазинцев в защиту тяти. Выводы читатель пусть делает сам. Я же могу сказать: если подобными черепашьими темпами мы будем восстанавливать правду столетия, мы никогда из-под завалов прошлого не выберемся, никогда не выгребем к свету истины.

Разумеется, иллюзии питали Гутю Самсонову-Черных: да, все подворья старинной станицы высказались в защиту Ивана Черных. К тому же Гражданская война отполыхала. Что ж, Дмитрий Черных выбрал не Советскую власть, но он не выбрал и контрреволюцию. Протест его был пассивным, немым. Эка важность – вырыть на китайском берегу землянку, поставить там печурку, навещать внуков и любимого сына. Но по раскладу тогдашних опричников Дмитрий признан белоэмигрантом, следовательно, врагом. Врагов Советская власть любила, она без них жить не могла. Ворваться же в Китай и там схватить Дмитрия Черных, перетащить на русский берег в те глухие времена рискованно. Поступим проще – арестуем сына. Оснований для ареста нет? Но отец – белый. Разве это не основание?

Можно предположить: тятя попал в капкан. Он коротает дни и недели в тёмной камере старого корпуса Благовещенской тюрьмы. О письме станичников в его защиту не знает. Он не получает никаких вестей от Гути. Ваня отрезан от мира.

Нелепые обвинения в некоем белоэмигрантском заговоре чуть ли не с самим генералом Сычёвым (в Харбине) отметает. Но зэки рассказывают ему, что из этих камер уводят только на расстрел или увозят в концлагеря. Стало быть, надо молиться и готовиться к худшему.

Александр Самсонов, уличённый в том, что в Рухлово на ж. д. вокзале он сорвал красный флаг, пал духом.

Однако и его Иван Черных не видит, их расселили по разным камерам.

Наконец, Ивана вывели к следователю, в стенах тюрьмы же. Тятя идёт, ожидая худшего. Но, к его удивлению, ему объявляют, что он Особым Совещанием ГПУ приговорён к трём годам ссылки, увы, в гибельные места – в Туруханск на Енисее.

Итак, этап.

Отца определили в плотницкую бригаду ссыльных, они рубят избы, ремонтируют бараки ещё царских времён. Тятя тоскует, но позвать к себе Гутю не смеет. Уж больно тяжела дальняя дорога. Притом на кого Гутя оставит деточек? Иван не догадывается о том, что замыслила Гутя. А Гутя замыслила отчаянное решение. В Албазине она распродаёт всю домашность, снова обходит дворы, просит о складчине. Старики отговаривают Гутю: «Ну, куда ты ринешься с малыми? Это край света, там полярная ночь, морозы за пятьдесят». Она выслушивает советы, но срывается в Рухлово, там покупает жёсткие места в пассажирском поезде, добирается до Красноярска. И по тем временам город Красноярск ей кажется огромным. Она снимает на трое суток избу, шлындает по крестьянскому базару, где продают и живность, в том числе лошадей. Она осматривает зубы жеребцам, выбирает подходящего, покупает. Покупает розвальни и большую попону, чтобы в ледовой дороге оберечь детей от простуды. Ждёт попутного обоза, в одиночку идти нельзя: лютуют волчьи стаи. Дождалась, уговорила старшого взять её в обоз. Старшой дивуется – лихая! Но берёт её в обоз. Начинается, не побоюсь этого слова, героическая эпопея.

Хорошо, мама Гутя с детских лет знала гоньбу и, повязав шалью лицо, гнала за мужиками, не отставала. На случайных полустанках сердобольные сибиряки давали привал на ночь, поили молоком детей и кормили картошкой. Рано утром, ещё в сумерках, обоз снова шёл в низовья. Так, без уведомления, она предстала перед любимым Ванечкой. Ванечка пал на колени перед детишками и Гутей. Его товарищи по несчастью дивились и завидовали Ивану Черных.

* * *

В крохотном отступлении скажу: когда я подрос и, страстный книгочей, добрался до жён декабристов, как они столетием раньше ринулись к ссыльным мужьям, но детей оставив в своих поместьях, в России, – я восхитился: дворянки и княгинюшки рискнули одолеть семь тысяч вёрст. Маменька с кроткой улыбкой слушала меня. Когда я оканчивал школу, решилась рассказать о своём путешествии к тяте. Енисей в суровую зиму двадцать восьмого года представлял голую пустыню. Стоянки в сёлах по берегам великой реки были несказанной радостью для моих братьев и сестрицы, а и для мамы Гути.

А ледовая дорога казалась бесконечной, но на десятые сутки перед ними неожиданно предстал Туруханск. Завывала метель. На высокой мачте у монастыря развевался чёрный стяг. Этот чёрный стяг был признанием, что день рабочий актирован, мужики сидели по избам. Нерабочий день пришёлся кстати – праздник для Черных. Тятя не мог наглядеться на ребятишек, вспоминала мама Гутя, даже прослезился. Мама считала его кремнёвым, и вдруг слёзы.

Ожидая зимнего ненастья, ссыльные готовили припасы: сахар, соль, картошку, рыбу. С рыбой проблемы. Тогда власть придумала иезуитскую меру – русским запретили отлов, и это в низовьях Енисея, когда красная и белая рыба идёт косяками, в нерест можно весло стоймя ставить в улове.

Местное племя кетов имело право брать из реки столько рыбы, сколько поднимут. Это тоже придумала власть. Кеты и поднимали. Солили в бочках, устраивали не продажу, а обмен: русские приносили им водку или самогон, а кеты отдавали хвосты. Что мешало самим кетам в магазинах брать спиртное? А тут другой закон-запрет действовал: не продавать малым сим водку: сопьются-де. Это глупость. Русские покупали поллитровки и шли по чумам или баракам кетов.

Тятя наш быстро усвоил эти уроки, рыба была у него. Малосольная и просто мороженая. А когда есть рыба, жить можно. Рыба то же мясо. Охотники в окрестных лесах брали иногда медвежатину или козлятину, но в нормальную погоду. Поэтому – рыба. Утром, на обед, на ужин. Впрочем, и на Амуре рыба всегда была в запасе. Ничего нового нет в обильных краях Сибири и Дальнего Востока, всё извечное. И даже непутёвая власть извечна.

Мама Гутя принялась хозяйничать. Сосед тяти, седой ссыльный (тятя сказал, что тот попал в ссылку за анекдот, рассказанный в кругу друзей, анекдот невинный по меркам конца 20-х годов), завидуя Ивану и вздыхая, ушёл к сотоварищам, и у Вани с Гутей ока-

залась комната и кухонка с печкой, ребятишки могли шалить и вволю смеяться.

Однажды Гена и Гера на улице, за окном, повздорили[2], а после оба заплакали, на что тятя, улыбаясь, сказал строкой из песни:

Две гитары под окном
Жалобно заныли… –

и мама вдруг вспомнила о певучести своей. Мама Гутя в девичестве пела не только на клиросе Албазинской церкви, но и дома, в компании. «Гитару не взяла, – сказала она сожалеючи тяте. – Всё равно не довезла бы, в дороге разбила».

Тятя пошёл к соседям, вернулся с гитарой, старенькой, изношенной, но мама Гутя взяла аккорд, и тятя услышал старозаветное:

Отцвели уж давно
Хризантемы в саду,
Но любовь всё жива
В моём сердце больном.

Об этом она рассказала нам с сестрицей много лет спустя. И годы гитара висела дома, на Шатковской, рядом с машиной «Зингер». Иногда, отложив шитьё, подруги, по рюмочке приняв, пели старинные песни. Это Гутя и Таля. И непременно вспоминали тятю. К ним подпаривалась тётя Пана Хованская, соседка.

Фото 3

[2] Мама Гутя сберегла фото ссыльных детишек, это 1930 год (Фото 3). Брат Гена, сестра Гера и братик Вадим. Укутанные от морозов.

В эти минуты я сидел, затаив дыхание. Память о неведомом тяте пропитывала меня. И память о погибшем Вадике.

В те же годы свою ссылку в Туруханске отбывал врач святитель Лука (Войно-Ясенецкий), позже канонизированный Русской Православной церковью.

На третий день вьюга чуть утихомирилась, Ванечка вывел выводок на улицу, чтобы показать хотя бы часть Туруханска, но внезапно закашлялся. Мама Гутя увидела на белом снегу кровавый ошмёток и сразу догадалась: у папы сдали лёгкие, может быть, ещё в камерах Благовещенска, но Ванечка не придавал значения своему нездоровью.

Теперь же рядышком были Вадик, Гера и Гена. И мама Гутя дышала рядом. Мама заметила, что Ванечка спиной всё жмётся к печке. То был тоже признак беды. Что будет с малыми их детишками? Но надо дожить срок ссылки. После ссылки не упекли бы куда подальше. Здесь они вроде бы вольные, хотя каждый день отец отмечался в милиции. Теплятся трубы котельной и монастыря, с коего сорваны купола и кресты, а из церковнослужителей (их недавно было пятеро) остался единственный. Остальных угнали в неизвестном направлении.

Мама Гутя достала махонькую иконку, копию Албазинской Божией Матери, они походя молча молились.

Гутя принялась писать в Москву, слёзно умоляя о пощаде. Кому она писала, вполне владея слогом? «Дедушке Калинину». О «дедушке» ходили легенды, и, видимо, тиран понимал, что эта добрая слава Калинина греет и власть в целом.

И, представьте, однажды пришёл ответ, на министерском бланке. После ссылки семья Черныхов может выбрать место жительства повсюду в России, кроме Албазина и Рухловского района. Тятя рассмеялся – какие мы, Гутя, грозные и опасные. Нельзя землепашествовать на родине.

Но ни тятя, ни мама Гутя не ведали, что происходит в Албазине и на русском берегу Амура. Связь оказалась прерванной. Мама Гутя писала Тале Птицыной-Гавловской и сёстрам короткие письма, но ответом было молчание. Тятя, понимая своё положение, никому запроса не отправил. Знал: навредит не только семье.

А в станице Албазин сотворялись трагические события. Был убит дед Дмитрий. Произошло это так. Не зная о том, что мама Гутя с внуками снялись с якоря и помчались к Ванечке, Дмитрий, тоскуя по сыну и внукам, решил навестить своих. Но посреди ледовой тропы внезапно выпрыгнувшие из посадок пограничники перегородили тропу: «Куда, мать-перемать, идёшь, отец? Граница отныне на замке». – «К внучатам», – миролюбиво отвечал Дмитрий и пошёл далее. Вслед раздались выстрелы, Дмитрий упал. Пограничники, напуганные бессудной расправой, добили Дмитрия и спустили в ближнюю прорубь. Скрыть событие не смогли потому, что юные солдаты с погранзаставы ходили на танцульки в албазинский клуб и вышептали девахам правду.

Что же мои? После Туруханска они удалились в Щегловск Кемеровской области. Ненадолго. Потому что

там их обложили стукачами, скоро жить в Щегловске оказалось невмоготу. Сохранилось фото 1931 года. Мама Гутя достала из мешка старенькое любимое платьице и старые туфельки, а тяте кто-то дал френч (тогда в моду вошли эти полувоенные френчи)[3].

Фото 4

Всю жизнь я разглядываю фотографию родителей. То, что свершила мама Гутя, – побег в Туруханск (посмертная слава маменьке!) – мне понятно и близко (хотя тогда на свете меня ещё не было). Но, глядя в лицо тяти, я думаю: какой притягательной силой надо было обладать тяте, чтобы за тысячи вёрст, чахотошный, он воззвал маму Гутю, она, немо же, отозвалась на зов и, ни минуты не сомневаясь, ринулась в неведомые края.

А на Амуре началась так называемая коллективизация. Опытные казаки решили, что затеяна авантюра, они надеялись отсидеться на заимках и на подворьях. Волна схлынет, авось останемся сами себе хозяевами.

Власть ответила, как и положено безбожной власти. Летней ночью 1931 года к Самсоновскому взвозу подогнали баржу с буксиром, прикладами загнали на борт сорок албазинцев. Притом родным запретили выйти к берегу, попрощаться[4].

Этих сорока мужиков утартали вниз по течению Амура, и они бесследно пропали. Могло ли так быть: за десятилетие, до самой войны с германцем, не добралось до станицы единой весточки – ни письменной, ни устной? Потом война заслонила беду 1931 года. Лишь после войны прозорливые старики догадались: баржу с арестованными станичниками затопили живьём в низовьях Амура.

И этого тоже не ведали ни тятя, ни мама Гутя.

В 1988 году после возвращения с политзоны (я отбывал мои пять лет с 1982 по 1987 на Урале) посетил я дедовские и родительские гнездовья. Стояла крепкая зима, слава Богу, без метелей. Меня угостили чаем в доме деда Василия. Дом стоял на Самсоновском взвозе. В 88-м там жила семья пришельцев-чужаков Метёлкиных. Они обиделись, когда, осмотрев дедовские углы, я сказал: мне есть куда вернуться. А для стариков Метёлкиных я отыщу другой угол. Разумеется, я пошутил. В 1988 году Албазинский совхоз «Чекист» уже упал, и что бы я делал в упавшем «Чекисте»? Хотя дом деда Василия был моим по праву наследования.

Но тогда же, зимой 1988 года, один из Сенотрусовых увёл меня на лёд Амура и вышептал о расстреле деда Дмитрия и о гибели сорока албазинцев. С 1931 по 1988 сколько лет минуло? Правильно, пятьдесят семь.

Но родители мои не знали об угоне албазинцев. Мама Гутя, умершая в 1959 году (я тогда был студентом), – и в пятьдесят девятом не ведала об одностаничниках. Даже Таля Птицына-Гавловская, давно бежавшая из станицы и ходившая в Свободном у моей мамы в подмастерьях, не решилась рассказать подруге Гуте о трагедии 1931 года.

Имя и отчество летописца Сенотрусова я записал тогда в тетрадку, однако в домашнем архиве не могу отыскать тетрадь. Но сомневаться не приходится. Что было, то было. А после репрессивный вал в конце 30-х годов и война с германцем, унесшая половину мужского населения станицы.

По наитию, однако, тятя вычислил гибель отца и затосковал. Год от году тоска становилась необратимой, тятя замолчал и молчал до последнего дня. Мама Гутя втихомолку плакала, а по ночам прижималась к Ванечке.

* * *

Последние дни застали тятю в совершенно чужом городе Свободном, тогда Свободный был объявлен «столицей» БАМлага.

---

[3] Город Щегловск под Кемерово. Родители на поселении умудрились сфотографироваться (Фото 4).

[4] Самсоновский взвоз назван в честь Василия Яковлевича Самсонова, станичного атамана в начале XX столетия. Отец мамы Гути, а мой дед. Дом Василия Самсонова стоял на высоком берегу. Чтобы поднимать бочки с амурской водой (летом на телегах, зимой на санях), албазинцы прорыли пологий спуск и назвали Самсоновским взвозом. Справа казаки подняли лиственничную лестницу, в 1891 году, для встречи Цесаревича Николая. Он прибыл со свитой на пароходе и поднялся по ступеням. На крепком берегу его приветствовала казачья сотня в конном строю.

Из Щегловска в 1935 году родители решили поехать поближе к родине: сначала в Белогорск (тогда Куйбышевка-Восточная), потом в Свободный (первородно – Алексеевск). Но почему именно в Свободный они потянулись?

Потому что туда перебрались сёстры тяти – Катя и Рая. Сёстры сообщили брату: среди зэков есть доктор-лёгочник Виноградов. Отец рванулся из Белогорска, там доживала век баба Груня, мать Гути, в Свободный, нашёл Виноградова, тот оказался расконвоированным. Доктор в городской клинике сделал рентген, выстукал тяте молоточком грудь и спину и сказал утешительное: «Несколько лет я обещаю тебе».

Роскошное суление по тем временам и в том плачевном положении тяти. Тятя решил: он поможет маме Гуте поднять Вадика, Геру и Гену. Но в 1936 году медсёстры сообщили Ванечке, чтобы он не приходил отныне в клинику. По приговору тройки Виноградова ночью увели чекисты, и на бамлаговском погосте доктор был расстрелян…[5]

Тятя уходил из жизни пристойно. Зимой 1938 года особисты в Свободном пришли взять отца, но, увидев, как, задыхаясь, он отхаркивает кровь в ведро, поднесённое мамой, сказали: «Не жилец», – и ушли. Тятя вздохнул: «Слава Богу, помру дома».

Спустя десятилетия маменька поведала, как накануне смерти Ванечку охватил приступ пророчеств. Пророчества напугали Гутю потому, что страшный приговор тятя, сострадая, вынес Вадику. Почему же тихому Вадику, а не бедовому Гене? Или слабенькой Гере (у Геры, в отца, были слабые лёгкие)? Да и я, хилый последыш, едва держал голову (мать тогда спасала меня, младенца-искусственника, и спасла козьим молоком).

Но пророчество тяти о смерти Вадика сбылось. Старший из братьев Гена прошёл через лагерь Среднебелое с шестнадцати лет (там одновременно с Геной отбывал молодой Юрий Домбровский). Началась война с германцем, в сорок третьем Гена выпросился на фронт, разумеется, в штрафбат, был контужен и ранен, но всё равно уцелел и вернулся домой, уже после падения Японии, из Маньчжурии.

Вадим, солдат морской пехоты, погиб в Порт-Артуре. Не в бою, а в автокатастрофе[6]. Ах, Ванечка, зачем так не близко, но безошибочно ты определил раннюю гибель Вадика? – мама плакала по ночам, молилась заупокойно, перечитывала письма Вадима. Он рос даровитым мальчиком и многое обещал, но ранняя смерть тяти и война оборвали надежды.

Вадика призвали-то семнадцати лет на уссурийскую границу, видимо, во время тяжёлых боёв под Сталинградом. Мама в ворот рубашки зашила Вадику молитву о спасении, я тогда с душевным трепетом наблюдал священнодейство мамы, и Вадим торжественно молчал.

Новобранцы на Уссури голодали и холодали. Письма Вадима, рвущие душу и спустя шестьдесят лет, я иногда перечитываю. Трогательные просьбы к маме, чтобы она хотя бы россыпью в конверте прислала махорки на закрутку, – так они бедствовали.

Но в августе сорок пятого наша армия пошла на Харбин. Вадик нелицеприятно описал русских эмигрантов: эмигранты выглядели сытыми и ухоженными.

Далее наши солдаты ринулись с боями к Порт-Артуру. Питание стало нормальным, солдатам выдавали по пачке махорки через день. Вадик писал счастливые письма.

В одну из этих ночей нужда подняла меня. Я должен был пройти через кухню, но не смог. Там на коленях, перед иконой Богородицы, стояла маменька, уговаривая Всемилостивую сохранить Вадика.

Гена же потерялся на восточном фронте, мама Гутя свято поминала каждый день папу Ванечку и сына Вадика. Сестра Гера уехала в Малую Сазанку, там стояла военно-морская бригада Амурской флотилии. Грамотную Геру взяли секретаршей в штаб, она вышла замуж за матроса, но тут японская кампания прервала мирную жизнь.

Я видел душераздирающую сцену прощания с Колей, мужем Геры.

Провожал я Гену, потом Вадика и, наконец, Колю.

Про японских самураев рассказывали страшные легенды. Самураи не умели сдаваться в плен, сражались до последнего, иногда их находили прикованными к станковым пулемётам.

Все эти месяцы я оставался с мамой. Со стены на нас смотрели тятя, Гена, Вадик, Коля. И ранний уход отца, совсем ранняя гибель Вадика. Где без вести пропавший Гена? И где же Колина часть? Всю войну стоявшая наготове (японец прянет) малосазанская бригада внезапно снялась с насиженного места, Коля прощально махал бескозыркой из фрамуги теплушки (при этом оркестр играл печальное «Прощание славянки»). Это и есть моё отрочество, быстро сменившее детские годы. Господи, помоги нам устоять, – поневоле станешь молиться.

Слава Тебе, с серебряной медалью на груди вернулся живым Коля. Он как братишку обнял меня и как родную обнял маму Гутю. Оставалось просить Бога за Гену. Мама Гутя и просила. Поздней осенью, уже позёмка мела, командир полка сообщил в письме маме: Геннадий Иванович Черных выполнял особое задание командования, выполнил и вернулся, читайте его письмецо.

– Чё поднимать панику, мама? – спрашивал в письме старший брат. – Война с узкоглазыми не лучше войны с немцем. Но я цел и невредим.

---

[5] В те годы, 1937–1938, тысячи узников ушли в расстрельные ямы БАМлага. Архив этого лагеря – лагеря протяжённостью от Усть-Кута в Иркутской области до Совгавани на Тихом океане – хранится в МВД, чиновники и поныне не выпускают архив даже в руки историков.

[6] Взвод Вадима перевозил водопроводные трубы на студебеккерах. Когда машина с солдатами в кузове по мокрой дороге должна была пройти над обрывом, ребята попросили у лейтенанта, взводного, разрешения сойти с машины и пешком пройти опасные сто метров. Пьяный лейтенант закуражился. Машина сползла в глубокий кювет и перевернулась. Все солдатики были ранены. Вадик умер при переливании крови, ему не исполнилось девятнадцати лет. Он похоронен на Русском кладбище.
Тогда, после катастрофы, посадили в тюрьму шофёра, а лейтенант отделался выговором.

Мы, получив доброе известие, возрадовались с мамой, она снова застрочила из своего пулемёта – ножная машина «Зингер» напоминала пулемёт.

Между прочим, по тем временам иметь немецкую «Зингер» считалось богатством. Оказывается, в первую германскую барыня, шедшая через Албазин с мужем-полковником в Хабаровск, растрогалась маминой любовью к шитью и неожиданно одарила её бесценным подарком. «Зингер» спасала и спасла нас в отчаянные годы смертельной болезни тяти, потом в годы войны[7].

Подсобницей же у мамы, я поминал, оказалась тётя Таля Птицына-Гавловская.

Можно подивиться, что Свободный во времена революций, войн и репрессий уцелел и окреп, а теперь загнивает на корню, причём не только физически, но и нравственно. Кричащие факты на слуху. Мы решили на железнодорожном вокзале повесить мемориальную доску: «Здесь, возвращаясь из эмиграции, встречался с общественностью города Александр Исаевич Солженицын», – железнодорожные чиновники запретили вывешивать доску.

В Доме офицеров мы планировали провести «Дни памяти» Исаича. За три дня до открытия Дней я приехал проверить готовность здания к Дням. Но весь Дом был завален восковыми фигурами динозавров и кенгуру. Оказывается, этак решили помешать проведению Дней памяти. Кто решил? Эпоха «демократии».

На главном погосте в Свободном, в Дубках, где покоятся тятя и мама, современные бандиты сняли всю железную ограду и сдали на металлолом…[8]

Но мы отвлеклись. Прости, Отче. Прости, маменька. Простите, братья Вадим и Гена. Прости, тётя Таля.

Здесь уместно вспомнить, как, состарившись, тётя Таля Птицына-Гавловская завещала мне икону Албазинской Божьей Матери. С Албазинской отец венчал юную дочь в станице. Когда я отодвинулся от перипетий моей судьбы, я пришёл в домик Гавловских, и дядя Саша, престарелый сын тёти Тали, снял из угла икону и, вздохнув, передал мне[9].

[7] «Зингер» целёхонькая стоит ныне дома у Геры.

[8] После Февральской революции город нарекли претенциозно – Свободным, и город стал «столицей» 16 лагерей. Самое удивительное для меня и моих друзей, однокашников, было и есть: жители города, потерявшие память (родовую, семейную, национальную, историческую), считают кощунственное имя города идеальным. Даже компромиссное наше предложение назвать город Алексеевском-Свободным отметается с порога. Никакого-де царизма, никакого-де имени отпрыска знатных кровей (Алёши). Убиен мальчонка вместе с родителями, с сёстрами в Екатеринбурге? И что? Мало ли загубил царский режим русских людей? А войны-то какие вёл. С татарами. Со шведами и с поляками. С турками. С французами и немцами. С Японией дважды. Э-э, не надо нам Алексеевска. Ты, Борис Черных, вырос на улице Шатковской, по которой гнали пешие этапы в окружении овчарок, – но ты вырос, не зачах? Вот и гордись именем Свободный.

[9] Икона Албазинской Божьей Матери ныне осеняет мой дом, наш дом.

А в пятидесятых, оканчивая школу, я невольно слушал бурутьбу мамы Гути и тёти Тали.

Не сильно переживая, что я слушаю их воспоминания, маменька, по-моему, специально, принималась рассказывать детали прошлого, а тётя Таля ей помогала вспоминать.

Тогда я узнал о последних минутах отца. Тятя не вставал с кровати неделями и поэтому попросил маму Гутю поднести меня к нему на колени. Мне было около одиннадцати месяцев. Маменька поняла – он прощается. И безоглядно, хотя горлом у тяти шла кровь, положила крохотулю на колени отцу. А руки у отца были ледяные (сердце его почти не работало). Я пустил струю на тятю. Отец счастливо рассмеялся и тотчас отошёл. Тут с улицы прибежал Гена. Мама приложила палец к губам. Гена горько заплакал.

Отпеть отца не удалось. Тогда Свято-Никольская церковь оказалась забитой досками крест-накрест. Но мы отпели тятю дома, хотя вскоре этот дом на улице Комсомольской у нас отнимут и переселят в комнату какого-то барака. Нас было пятеро, да от покойной маминой сестры Пелагеи приехали сироты. В комнате общежития оказалось нас восьмеро. Недавно я письменно обратился к губернатору с просьбой вернуть мне домок, чтобы, готовясь уходить в Дубки, я был поближе к погосту.

* * *

Последние абзацы моего рассказа надо назвать «В тени отца». Лебединые крыла Отче простёр над маменькой и над сиротами. У меня всегда было ощущение, что Отче молча стоит за плечом и одобряет мои неумелые, сначала пацаньи, потом юношеские движения.

Братья ушли на фронты. Я остался на Шатковской (где нам дали сносное жильё) единственным мужчиной. Тяготы тех лет? Тогда у всех были тяготы. Землицы огородной оказалось маловато, всего три сотки, и те сплошная глина. Соседям нарезали по пять соток. Но в сильные дожди с верховых улиц города ручьями наносило много песка, песок я впустил на огород. Уже хорошо – помешать глину с песком.

После вечернего прогона стада я собирал на улице коровьи лепёхи, мы замачивали их в железной бочке. Подкормка для помидор и огурцов. Запахи шли? Божественные!

Тятя, стоя за моим плечом, шептал: «Так, сынок. Действуй. Не сдавайся». Я и не сдавался.

В 44-м случился невиданный урожай картошки, до 30 кулей. А подпол в старом доме промерзал. Куда девать такую прорву картошки? А ещё подошли свекла и морковь, а ещё… Пришлось мне разбирать дряхлые прясла в подполье, менять их на новые.

Однажды я напечатал в Москве «Три сотки», ностальгическое слово о том времени. Но я смолчал о мистическом явлении тяти.

Нынче втихомолку я внушаю сыновьям и внукам стоять до последнего. Имею ли я право показать читателю лица моих (и тятиных) потомков?

Стало быть, мы стоим. Заметьте, младший сын назван в честь прадеда Дмитрия, а мой внук-великан-кра-

савец в честь прадеда – Иваном. Ваня пошёл в математики-программисты.

Внучка – красавица Ксения – родила двух внуков. Здесь, на семейном фото, старший мой сын Андрей держит внука Степана, а на коленях у Наташи, жены Андрея, внучка Маша. То есть это мои правнуки. Зажился я на белом свете.

* * *

Отче наш, сущий на небесах, Ванечка. Да святится имя Твое.

Благовещенск-на-Амуре.
Албазин.
Свободный-Алексеевск.
Туруханск.
2011 год, март-июнь.

Павел ОЛЬХОВ

доцент кафедры философии Белгородского государственного национального исследовательского университета, выпускник БГПИ 1982 года

Звательный падеж
Вместо послесловия

Думаю, читатели, привыкшие к гладкому письму, к тому, что литература должна иметь косвенное отношение к жизни – быть для жизни или как бы жизнью, а не самим жизненным опытом, будут сбиты с толку, приступив к рассказу Б. И. Черныха. Я и сам первые абзацы «Отче наш» читал с некоторой досадой: не решил ли Борис Иванович написать экспериментальный текст? Когда прочитал – понял: никакого отношения к литературным экспериментам рассказ не имеет. То, что бросается в глаза как некоторая фрагментарность, недописанность или продуманное разностилье, напоминает скорее стиль *Carlylese*, особый стиль Томаса Карлейля, или нашего Аполлона Григорьева, писавших в своё время на пределе искренности. Впрочем, пока я вчитывался в рассказ, то вполне обходился и без таких аналогий. Этот рассказ аналогий и не требует, он мобилизует личное понимание – своим звательным падежом, непридуманным жанром зова.

Не литераторы придумывают жанры. Как любил уточнять М. М. Бахтин, люди высказываются жанрами – говорят так, что их речь, в самом моменте своего рождения, как *genre*, имеет свой конкретный смысл, своё внутреннее смысловое единство и свою предназначенность. Черных стремится писать именно с такой жанровой точностью.

«Отче наш» образуется из воспоминаний. Черных вспоминает историю албазинского рода на протяжении минувшего столетия – по сохранившимся эпизодам семейной хроники и по фотографиям. Нет выверенного психологизма. Архивные материалы, численные данные; события пересекаются, будто в обычной жизни – внезапно и разом, пусть выглядит это некстати для формата последовательного повествования.

Родители. Писатель почти никогда не называет их отвлечённым словом. Нет нигде третьего лица. Отец – это чаще всего *«Ванечка»*, *«Иван»*, *«тятя»*, *«папа Ванечка»*, *«отче»*. Мать – *«Гутя»*, *«мама Гутя»*, *«маменька»*. Таковы все участники рассказа, от казаков-прадедов до внуков-студентов и начинающегося поколения правнуков. Конкретная жизнь, которая прожита и живётся ими, оставляется друг другу в воспоминание. Помнится не всё – а то, как умели жить не для времени, не для истории – друг для друга.

Настоять друг на друге для Гути означало «бороться за Ванечку с пятнадцати лет», пройти сквозь репрессии, «собирая подписи в защиту Ванечки», молиться «махонькой иконке» Албазинской Божией Матери и писать «дедушке Калинину», терпеливо и радостно воспитывать детей, многое по-казацки умея и терпеливо ограничивая, ради близких, свои таланты. Самое сильное воспоминание у Черныха о матери – её поездка к отцу, сосланному в Туруханск.

Об отце в воспоминаниях не сохранилось ничего явно героического. Но «какой притягательной силой надо было обладать тяте, чтобы за тысячи вёрст, чахотошный, он воззвал маму Гутю, она, немо же, отозвалась на зов и, ни минуты не сомневаясь, ринулась в неведомые края». Родители, прожившие в «белом круге» своей жизни недолгие и вековые годы, умели позвать друг друга.

Отец умер и стал надёжным прошлым: «Память о неведомом тяте пропитывала меня». В семье вспоминали сбывшиеся предсмертные пророчества отца. «У меня всегда было ощущение, что Отче молча стоит за плечом и одобряет мои неумелые, сначала пацаньи, потом юношеские движения».

Черных не боится речевой неуклюжести, не боится смешений, одновременного присутствия в своей речи семейной лексики, канцеляризмов и речевых штампов других эпох, жаргонизмов или возвышенного слова. Целомудрие его рассказа не стилистическое и не идеологическое. Он говорит о том, без чего нет жизненной точности зова.

Самое притягательное в рассказе вынесено в заголовок. Молитва, которой молился Сын Божий, обращена была к Отцу; об отце вспоминает и Черных, подбирая нужный падеж русской исторической памяти, стремясь к целомудрию в воспоминаниях. Это его личный долг, который нельзя никому передать или оставить.

Таков ли автор сам в своём отцовстве, каким был его отец? Черных радостно припоминает своих детей и внуков; говорить же о себе как отце не решается: кто из отцов не знает своих недостатков, и кто не надеется стать лучшим собою в своих детях? «Нынче втихомолку я внушаю сыновьям и внукам стоять до последнего. Имею ли я право показать читателю лица моих (и тятиных) потомков?» Черных точно знает только о том, что не должен промолчать о святости долга отцовства, но нигде не поминает об этом с высокомерием.

У Ойгена Розенштока-Хюсси, немецко-американского христианского мыслителя, не слишком известного в России, есть книга «Бог заставляет нас говорить». В ней речь не идёт о насилии. Дело в том, что мы не можем говорить свободно, не отвечая при этом Богу; отсюда единственно подлинный речевой падеж – звательный (тот, что отсутствует в современном русском языке: *сыне, брате, отче*).

Черных трудно молвит, отдавая долг памяти отцу, а с ним и своему албазинскому роду. Его воспоминания – не исповедь, но, по всему, воспоминание на покаяние, ответное родовое слово Тому, Кто не хочет, чтобы мы замкнулись в молчании. Бог принуждает нас к свободному, а не бездумному почтительному слову, заставляет нас быть собою. О сложности такого высвобождения, о спасительности для этого памяти о ближайшем, о том, что никогда не позабыть, – рассказ Черныха.

«Отче наш, Ванечка» – «Отче наш, Иже еси на небесех…» Тот, кто не изжил, не растратил своего нравственного таланта и умеет позвать отца, сможет позвать Бога – откликнуться на Его зов.

17 августа 2011 г.
Белгород

Светлана КУЛИГИНА

выпускница БГПИ 1994 г.

От редакции. Светлана Анатольевна Кулигина родилась в Благовещенске. В 1994 году окончила филфак нашего вуза.

В настоящее время живёт в Тахтамыгде Сковородинского района, проходит службу в исправительной колонии в должности старшего инспектора группы социальной защиты осуждённых, капитан внутренней службы. Замужем, воспитывает троих детей.

Пишет стихи, сценарии детских и взрослых праздников. Автор слов гимна Сковородинского района. Впервые её стихи были опубликованы в альманахе «Приамурье – 2010».

Что такое хорошие стихи? Поэзия жизненной прозы, идиллика детских воспоминаний, прозрачность деревенских пейзажей, молитвенный шёпот – если всё это входит в ваше представление о хороших стихах, то они – перед вами. Стихи Светланы Кулигиной именно таковы.

Стихи

Из детства

Четвёртый день льёт дождь. Деревня в сером мраке.
На лужах пузыри, и ветер ветки рвёт.
В промокшей будке спит промокшая собака,
А мы сидим и ждём, когда же дождь пройдёт.

Из бочек через край, журча и бултыхаясь,
Льёт в огород вода – нам тучи как враги.
«Навряд ли пустят в лес!..» Кто горестно вздыхает,
Кто сушит мокрый плащ, кто клеит сапоги.

Веранда в два окна в воде как бригантина.
Мы, дети, забрались с ногами на кровать.
И больше нету сил разглядывать картинки,
Гербарий потрошить и фантики менять.

А в летней кухне печь, дед сушит там верхонки,
И бабушка не спит – грибы в сковороде.
И барабанит дождь мучительно и звонко
По ваннам и тазам и хлещет по воде.

А завтра мы пойдём играть в кусты за баней,
И солнце нам вернёт всех бабочек с лугов.
И бабушка придёт из леса рано-рано,
И снова на обед нажарит нам грибов.

* * *

Солнце пало. Огороды
Чисты, тихи и темны.
Мрачный купол небосвода
Навевает лесу сны.

На огромном покрывале
В клетках пашен и полей
Бахромою выступают
Ёлки пышностью ветвей.

И в унылых серых красках
Греет взор последний луч,
Своей огненною пляской
Растрепавши полы туч.

День

Словно облако из бабочек порхает над огнём,
Мы летали, мы дышали, наслаждаясь этим днём.

Перегрелись, переспели смолы сладкие, как мёд,
Словно августа недели потеряли всякий счёт.

Словно августа кипенье погрузилось в жаркий ил,
И из времени варенье кто-то вязкое сварил.

И число тридцать второе, что никто не мог сменить,
Неподвижного блаженства нам позволило вкусить.

Ну а вечером, незванно, в златотканый тихий лес
Неожиданною манной звёзды ринулись с небес.

Больше в сердце нет печали, больше нет в глазах озёр!
То смеялись, то молчали, то болтали всякий вздор.

Жаркий, дымный, алый-алый отгорал и падал в тень
Сладкий, длинный, бессюжетный странный день…

Рассыпался, обжигая... Звёзд как снега намело!
И от края и до края было тихо и светло.

Ждали

Облепиху за окном снегири клевали.
На ветру качался дом. Мы кого-то ждали.

Ждали лета и вестей, ждали полной чаши,
Ждали снега и гостей – вдруг приедут «наши»?

Скрипнет крыша там иль тут, ахнет ночью печка,
Дети радостно бегут босиком к крылечку.

«Хоть бы кто-нибудь зашёл, хоть бы кто проведал!
Что принёс бы, а ещё – с нами пообедал!»

Рыбы плавали в реке, птицы куст клевали.
Мы сидели в тишине и кого-то ждали.
«Мама, может, к нам пурга постучит в окошко?
Пусть хоть прошлая среда погостит немножко…»

Дом от вьюги не скрипит, не грохочет крышей.
Вдруг к нам кто-то постучит, а мы не услышим?

Дорога

Какая чудная дорога!
Какая света полоса!
Мы едем рано, снегу много,
И серебром горят леса.

Шофёр, не торопи машину,
Ты знаешь, сердце ждёт вестей.
Взгляни на белую равнину –
Она не ищет скоростей.

Слагаю в сердце поздравленья:
– Моя земля!.. Моя страна!..
Но лишь тропарь мои волненья
Способен выразить сполна.

И в каждом дереве – лампада,
Всё благолепно, всё «зело»,
И сердцу ничего не надо,
И сердцу тихо и светло.

Утро

Бегу за огороды,
Встаю в такую рань!
Гляжу – за Тахтамыгдой
Раскинулась… Рязань!

Берёзы и осины,
Стога, стога, стога,
Сырые паутины,
Бескрайние луга.

Как будто через льдинку
Сверкает небосвод,
И розовую дымку
Рассвет на землю льёт.

И как приходит радость
Забрать из сердца грусть,
Раскинулась на север
Моя Святая Русь!

О, русская природа,
Зови меня, зови!
Хорошая погода –
Я плачу от любви…

* * *

«Господи, помилуй!» – просто, как дышу!
Только понимаю ли, чего же я прошу?

А прошу я долю, полную невзгод,
Чёрного позора, боли и забот.

А прошу бездумно тяжкого креста,
Бедности, лишений, строгого поста.

Буду ли любого радостно прощать?
И последний рубль свой просто отдавать?

Вынесу ли ига лёгкого любви?
Разделю ли бремя Спаса на крови?

Вдруг Господь исполнит просьбу до конца?
Так дерзну ли, Спасе, испросить венца?..

Вера ЦЫКОВА

выпускница БГПИ 1978 года

Родилась я 21 января 1954 г. в Норске Селемджинского района. Разнообразие географического ландшафта в его окрестностях настолько уникально, что вряд ли где в области можно найти что-нибудь подобное. В природу нашего края многие влюбляются с первого взгляда, а потом возвращаются сюда вновь и вновь. Меня родная земля взрастила и никуда потом не отпустила. Здесь прошли детство и юность. Трудовая биография почти вся связана с родным селом и его людьми. Много лет я проработала в родной Норской школе: лаборантом, старшей вожатой, библиотекарем, заместителем директора по воспитательной работе. Собирала краеведческий материал для школьного музея, составляла летопись школы в документах и фотографиях. В настоящее время на пенсии. В стихах пытаюсь выразить своё отношение к современному миру, как я это чувствую и понимаю. Хочу помочь, особенно молодёжи, понять, что «срубить бабки», «поймать кайф» и «чалиться» – это не тот путь, которым должен идти человек. Это путь в никуда, в пустоту…

Стихи

Стойба

Где шумный Мын спешит на свиданье
Со строптивой рекой Селемджой,
Злая шаманка, согласно преданью,
Опрокинулась в реку скалой.

Но влюблённым стена – не помеха.
Струи запросто камни дробят.
Рассмеялся Мын, следы его смеха
До сих пор там глыбами торчат.

А эвенкам место приглянулось,
Над рекою вспыхнул костерок,
И красавица эвенку улыбнулась:
«Правда, милый, чудный уголок!»

Так когда-то Стойбу основали
Коренные жители тайги.
Чтоб об этом помнили и знали,
В честь стойбища посёлок нарекли.

Утекло в реке немало,
От кострища не найти мне след.
Сколько пар тропинку истоптало
На скале любви за много лет?

Сопку Воробьёвскую штурмую,
На вершину её заберусь
И на Стойбу, такую родную,
С большой высоты засмотрюсь.

Министерская – как на ладони,
Валуны среди Мына лежат,
Все усадьбы в черёмухах тонут,
От черёмух плывёт аромат.

Там мальчишки снуют мурашами,
По делам своим бабы идут,
И кучкуются за гаражами
Мужики, и коровы ревут…

На стадионе – футбольные страсти,
Болельщики громко свистят.
Рыбаки, взяв рыбацкие снасти,
Тропкой к речке знакомой спешат.

Тихий вечер звезду зажигает.
И на сопках – мерцанье огней.
Сладко сердце в груди замирает:
Нет посёлка любимей, милей!

* * *

Он был бомжом уже лет восемь.
Жил, где придётся, побирался,
Грустил он, провожая осень,
Прихода же зимы всегда боялся.

Был тихим он и незаметным
И не влезал в чужие драки,
Привык он к холоду и ветру,
Пугали лишь бездомные собаки.

Он редко вспоминал, что были
В душе и радость, и веселье,
Как сын и дочь его любили,
А он – продал любовь их за похмелье.

Его подростки обижали,
Ловили у мусорных баков,
Окурком руки прижигали,
Били и натравливали собаку.

Он молча сносил униженье,
Ведь души их словно в коросте,
И было большим достиженьем,
Коль кто-то защищал от злости.

Лишь однажды не успел немного.
Он зря на свист их оглянулся.
Кирпич в висок… плывёт дорога…
И жалко так он улыбнулся…

Осел и рухнул в пыль с размаху.
Никто не плакал … Лишь Всевышний
Слезой дождя кропил рубаху,
И с ветром повторял «Аминь»
чуть слышно…

* * *

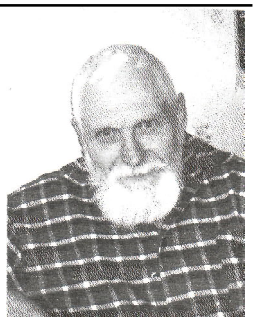
Трещала ночами иконка в углу,
Как будто шептала: «Тебе помогу!
Ты только отчаянью не поддавайся,
Беда у тебя, а ты – улыбайся!
В три погибели скрутит горе когда,
Не гнись, как под ветром лоза.
Тебе продержаться я помогу,
Душу уставшую сном исцелю.
Ты веришь мне, дочка, – я это знаю
И потому на земле помогаю.
Ты добрые мысли взрасти, что ростки,
И людям раздай, как цветка лепестки.
Ведь сколько заблудших, не верящих сколько?
Страдания их мне видеть так больно!
Не ведают люди, что, зло прославляя,
Живут они, медленно душу сжигая.
И если всё это дольше продлится,
Душа человека в пыль превратится,
Дух миллионов людей на Земле
Сокроется в вечной космической мгле,
И будут пылинки безмолвно стенать,
И некому будет их звать и прощать…»
Трещала ночами иконка в углу,
И я ей шептала: «Тебе помогу!
Послушай меня, Богородица-мать,
Скорбь я твою попытаюсь понять.
Я людям все думы Твои расскажу,
Вот ручку возьму и стихи напишу».

Покаяние

Прости, моя милая Родина!
Я каюсь сегодня: прости!
Прости, что так много юродивых
На пыльных дорогах Руси.
Прости, что поля не засеяны,
Что сплошь лебедой заросли.
Что храмы по ветру развеяны,
Что мало так правды средь лжи.
Прости, что хапуги-чиновники
Богатства твои продают.
Прости, что разврата виновники
Беспечно, в достатке живут.
Прости, что дворцы – лишь для избранных,
За нищую старость прости.
За всех убиенных, за изгнанных,
За сирот, за вдов нас прости.
Прости нас за пьянство повальное,
За блуд и за подлость прости,
Что Господу слово похвальное
Нам трудно порой принести…
Прости! Я стою в покаянии,
Где храм у развилки дорог
Разрушен до основания,
И его никто не сберёг…

От редакции. К нам в альманах довольно часто приходят непрофессиональные литераторы. Как правило, это либо начинающие молодые авторы, студенты, либо иногда тоже начинающие или долго пишущие «в стол» уже немало пожившие люди. Как правило, и тех, и других роднят художественная наивность, поэтические неровности, шероховатости. Но удивительно не то, что их роднит, а то, что отличает. Порою, чем моложе автор, тем больше он думает об одиночестве, смерти, с мрачным чувством, почти с удовлетворением констатирует бессмысленность и безысходность человеческого бытия. И это объяснимо: именно в молодости человек остро переживает первые инициации, любови, разочарования, разлуки, которые и окрашивают в соответствующие краски его мир. А чем ближе к последней черте, чем слабее зрение глаз и слух ушей, тем яснее взор и слух сердца, тем глубже вера, тем спокойнее дыхание и светлее стихи. Это в полной мере относится к поэзии Веры Цыковой. Она пишет о жизни. Иногда про таких с мягким юмором говорят: «Что вижу – то пою». Однако, возможно, именно в этом правиле и заключается один из секретов поэзии, способной об обычном сказать необычно. Преобразить. И непременно по закону любви и красоты.

Юрий РОМАНОВ



член Союза журналистов России

Уважаемая редакция «Амура»!

Я живу в Бурятии. О том, что мой институт (Благовещенский педагогический!) издаёт литературный альманах-ежегодник, узнал недавно – от моей бывшей ученицы, ныне педагога – Юлии Назаровны Вавиловой. Она прислала мне по почте два выпуска (за 2009 и за 2010 гг.). С интересом прочитал всё «от корки до корки».

Посылаю Вам свой рассказ и несколько стихотворений. Буду рад, если Вы найдёте возможным поместить их на страницах «Амура» в очередном выпуске.

Желаю Вам творческих успехов.

Коротко о себе. Родился в 1936 году на разъезде Поемный Сковородинского района. Всю сознательную жизнь работал: был моряком, школьным учителем, машинистом маневрового локомотива, механиком поездной радиосвязи, приёмосдатчиком грузов на БАМе, когда эти грузы шли эшелонами на строительство забытой теперь магистрали.

В 60 лет ушёл на пенсию. Беспартийный и всегда был беспартийным. Член Союза журналистов России.

Юрий Владимирович Романов,
выпускник БГПИ 1965 г.

P.S. Большое спасибо Валентине Михайловне Брысиной за её рассказ-воспоминание «Словно это было вчера». Читал – наслаждался: отличная проза! А каков язык! А как замечательны эти толково-словарные вкрапления в повествование!

Здоровья Вам, Валентина Михайловна!

10.05.2011 г.

Стихи

* * *

Ночью Мороз
лианы и всякие пальмы
на окнах рисует.
Это старик
по Африке дальней
ночами
жестоко тоскует.
В Африке – Нил,
пустыня Сахара
и – Берег Надежды!
Ходят там все,
чернея от лютого жара,
почти без одежды.
Вот где побыть
да Нил и пески поморозить
хотя бы разочек!
Вот где пожить
да стужей людей поморозить
хотя бы годочек!
Эх бы, уйти
из сибирского этого
клятого края,
чтобы чуть-чуть
да вкусить
африканского
знойного,
жаркого рая!
Славно б ему
работалось там и гулялось
на старости лет-то.
Может быть, там
согрелся б Мороз,
и усталость минула б до лета.
Только тогда
кто же станет зимою
студить эти степи и горы?
Льдом укрывать
в декабре
море, реки, ручьи и озёра?
Кто же, шутя,
у мальчишек носы
отмораживать станет?
Кто тогда будет
девчонкам-резвушкам
их щёки румянить?
Как тут уйдёшь,
Если – тундра и полюс,
И льдинищи – гири!..
Вот и живёт
старик с бородою по пояс
в холодной Сибири.
Ночью не спит,
бередит мечты, словно раны,
об Африке дальней
и на стекле
рисует, тоскуя, лианы
и всякие пальмы.

Только так!

Предугадать, увы, не можем
свою судьбу ни я, ни ты.
Кто скажет, будет прост иль сложен
твой путь до роковой черты?

Кто скажет, сколько мук изведать
тебе в пути том суждено,
какие беды и победы
в нём Богом испытать дано?

Какие выстоять утраты,
через какой огонь пройти
и не предать того, что свято,
и не сломаться на пути?

Судьба – не вирши на бумаге,
она неведома вполне:
такие выпишет зигзаги,
что не приснятся и во сне.

Бывает, жизнь спокойно льётся,
бежит, как светлая вода.
Вдруг вихрем всё перевернётся,
всё возмутится, всё взорвётся
и канет в небыль навсегда.

Куда тем вихрем нас забросит –
в какую даль? В какой удел?
Не жди: никто тебя не спросит,
чего ты жаждешь, что хотел.

Ни друга нет с тобой, ни брата.
Не плачь! Не гнись! Не упади!
Что было – нет к тому возврата,
пусть даже пропасть впереди.

Надежда – вот твоя награда,
твоё спасенье, твой привет.
Поверь ей – и в потёмках ада
забрезжит долгожданный свет.

Всё мужество своё, всю волю
упрямо собери в кулак!
Пусть меркнет свет от дикой боли –
иди к победе! Только так!

Не жди!

Всё, мужики! Кончай бухать!
Душа устала отдыхать.
Душа устала прозябать.
Эй, боцман! Всех свистать наверх!
Свежак штормит! Великий грех
сидеть, на короля гадать
да в «ящик» пялиться и ждать,
что, может, смилуется Боже.
Не жди! Нам Боже не поможет!
Наш шанс один – спастись самим.
И только так! Куда глядим?
Куда нас к чёрту понесло!
Вались, ребята, на весло!
Пора из бездны выгребать!
Нельзя нам, братья, погибать
ни за понюшку табаку!
Нам от рожденья на веку
дедами сказано: не гнуться!
И пусть в гробу перевернутся
все те, кто жаждет нас увидеть,
как у судьбы,
в глухой обиде,
униженно сгибая выи,
просить мы станем чаевые.
Вот хрен им в губы! Неча ждать!
Пора из бездны выгребать!
Не зря солили нас моря,
бросать не время якоря!
Эй, боцман! Всех свистать наверх!

От редакции. Стихи Юрия Романова не профессиональны и не пытаются скрыть это. Они бесхитростны и не претендуют на поэтическую изысканность и изощрённость; в них изначально ощущается установка на неприхотливого, доверчивого читателя, которым ты воленс-ноленс и становишься. В результате возникает очень важное и необходимое качество восприятия – адекватность, которое и позволяет одним – получить своё читательское удовольствие, другим – пройти мимо с лёгким сердцем, не раздражаясь.

Анна ПРОКОПЬЕВА

студентка 4 курса ППФ БГПУ

Стихи стали рождаться реже – и вместе с этим принесли, наконец, понимание того, КАК много они для меня значат… Независимо от того, пишу я или нет, поэзия внутри продолжается!

И это общая поэтичность души, от которой не избавиться: когда видишь в осени не слякоть и стылость, а полёт золотистых листьев и ночные сонаты дождя…

Стихи

* * *

Быть собой – большое удовольствие,
Человеку данное с рождения!
Маме приношу я беспокойство
Беспрестанной сменой настроения.

Мне же это – свитером поношенным
Кажется: удобно и привычно…
Говорю я маме, что «хорошая»,
Мама отвечает: «Безразличная!»

Вовсе нет: в идеи погружённая,
Ищущая и немного скрытная!
Этим миром я заворожённая,
До событий новых – ненасытная…

Грустно скажет мама: «Дурью маешься…
Жизнь пройдёт, как краткое мгновение!
Как всегда, копаешься, копаешься –
Целый день проводишь без движения!

Вот бы делом правильным заняться –
За компом – ключом скрипичным скрючена!»
Вечной жаждой новой информации
Мама не была ещё измучена.

В буквы с нервным трепетом вгрызаться
И на время недовольно сетовать…
Нравится мне так «самокопаться»!!!
Что вы мне хотите посоветовать?

Красоту свою облагораживать,
Волосы расчесывать усердно?
Мишура не может завораживать,
Потому что это скука смертная!

Хочется по жизни лихо мчаться,
Всё успеть, всё испытать, попробовать!!!
Главное – глаза мои лучатся,
Главное, что в жизни есть особое:

Есть стихи, как словоизлияние,
Есть Мечты и киноленты памяти…
Вера есть в великое Призвание.
А что вы после себя оставите?

* * *

В театре хаоса и тьмы
При свете лампочки в 100 ватт
Не отвязаться от зимы,
Себя усилившей в сто крат.

Ветров холодных фестиваль,
Голодный вой озябших псов.
Холодным гением февраль
Закрыл природу на засов.

Стерпеть бы мне ещё аккорд,
Жестокой музыки игру….
Но поздно: душу на аборт
Веду по скользкому ковру.

От чувств – одни лишь потроха!
Всё выскоблить внутри и сжечь!
Не будет о тебе стиха,
Стихает пламенная речь.

Всё выну: робкие мечты,
И ревности собачий лай,
Ведущие к тебе мосты,
И общие с тобой дела!

Как можно так заиндеветь,
Когда всего лишь двадцать лет?!
А в доме печь и тёплый плед.
И ветра тоже в доме нет.

Пусть спрячет бабушкина шаль
Всё о тебе – стихи и сны.
Я заслоню рукой февраль
И не растаю до весны.

* * *

Ушла зима. Печаль, как пёс,
Уныло потрусила следом…
Всё стало – звонко, не всерьёз,
Всё стало радостным и светлым!

С крыш капает моя тоска –
Во мне совсем её не стало!
И я валяю дурака
И снова наслаждаюсь малым!

Чаи гоняю через раз,
Гимнастикой взбодрила тело…
Как будто солнце в каждый глаз
Лучами тёплыми влетело!

Как будто бабочки внутри
Хихикают и что-то пляшут!!!
Как будто кто-то подарил
Мне звёзды с неба – полный ящик!!

Всё это ранняя весна –
Текущая по ржавой крыше!!
Пусть даже улица грязна –
Внутри сегодня стало чище…

Подруге

В нестираной старой кофтейке,
С прыщами на длинном носу,
С браслетом ценой в три копейки,
Я счастье из кухни несу.

Не слишком на кофе похоже,
– Какая-то бурая муть!
Тепло побежало по коже,
И, знаете, в этом вся суть!

Ногтями с облупленным лаком
Горячую кружку держу.
Всё чудится Смыслом и знаком,
Каким – никому не скажу.

Я в славные игры играю,
В них счастью со мной по пути,
Когда, наконец, понимаю,
Как глупо за стадом идти!

Спасибо подруге за это –
Мы с нею печём пирожки!
И лучики теплого света
На тесто сбегают с руки.

Мы камушки в речку бросаем,
Мы пара счастливых цыплят,
Увидевших сказочным раем
Кормушку и крошечный сад.

Порой негодуем и плачем,
Дороге к себе нет конца! –
Но всё еще детства не прячем
В улыбке, бегущей с лица!

От редакции. Мало о ком в двадцать лет можно говорить как о постоянном авторе периодического литературного издания. Об Анне Прокопьевой – можно. О чём это говорит? Об отсутствии лености. Нет, не о графоманском усердии, а именно о непрерывном духовном поиске и творческом труде молодого поэта. Стихи взрослеют вместе с Анной. Вроде бы и лирическая героиня – всё та же задорная и неунывающая девчонка. Не сразу заметно, что она выросла и уже осознала свою необычность не только как «большое удовольствие», но и как источник жизненной драматургии. «Дон-Кихот в юбке», она с трогательным упорством продолжает отстаивать право на исповедование старых дон-кихотских заповедей, пусть даже и ценой потерь. Есть что-то, что сильнее её, что помогает каждый раз после жизненного разочарования вновь очаровываться красотой и гармонией этого мира и с надеждой смотреть в завтра.

Иван ЧЕРНИК

выпускник БГПУ 2008 года,
преподаватель ОДПП

Привет. Ничего не могу поделать с тем, что нравлюсь вам.

Жил-был мальчик, похожий на меня. Он всем говорил, что скромный, что вокруг слишком много шума, что у него всё есть. Я к нему подошёл и объяснил, что у него только половина всего, потому как вторая половина всего – у меня.

Ещё рецепт: берёте альманахи за последние лет пять-шесть, вырываете листы с моими фотографиями, складываете вместе, листаете – получается мультфильм. Увлекаюсь кинематографом. Стихи свои я посвящаю той, чью руку не отпущу, поэтому ей придётся отрубить мне кисть. Той, которая не использует в своей речи модальные глаголы.

Стихи

Противный тип

Ненастоящий мужчина
не ищет сокровищ на острове,
мечтает грядущую зиму
встретить в квартире с удобствами.

В ружьях и автомобилях
он разбирается слабо.
Отмалчивается или
чрезмерно болтлив,
как баба.

Трижды его прогони,
если в разведку идёте.
Сутулый его организм –
в поликлинике на учёте.

Кинь ему грязи в спину –
трусливо проглотит обиду.
Ненастоящий мужчина
снял с себя пояс шахида.

Кончается 2010

Золотая середина

«Жизнь прекрасна каждой каплей,
ковшик – лучше, чем бокал», –
так учил меня мой папа,
папа в жизни много знал.
Я смышлёный вырос.
Знаю
про «tobe» и «nottobe».
И работа неплохая,
и женился по любви.
На работе скучновато,
но не хуже, чем везде.
Я люблю Нью-Йорк, закаты,
боулинг, кино 3D.
Есть дочурка, ну а сына
мне жена ещё родит.
Собираемся машину
ближе к августу, в кредит.
За друзей пойду в атаку.
Я на подвиги горазд.
Комментируя ВКонтакте,
не пишу похабных фраз.
В общем, я – хороший парень,
муж, отец, глава семьи;
а однажды просыпаюсь –
РУКУ СЪЕЛИ МУРАВЬИ!

2009(вроде) – май 2011

* * *

Луна сквозь щель в занавеске разбавила тьму.
Кайф тараканом ползёт по столу моему.
Ещё секунда, и всё будет так замечательно…
И В ЭТОТ МОМЕНТ ТЫ РЕШИЛА НАЖАТЬ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ!
Где он? Нет, на, полюбуйся!
Ты мне
рассыпала бусы.
Счастливо оставаться!
А вот я – это я, безрассудный и молодой.
Кайф – это стрела, летит мне прямо в ладонь.
Ты – это тень, недоверчива и ревнива.
Ты дрогнула, стрела пролетела мимо.
Мигом одним весь день искалечен.
НЕТ, ТЕБЕ ЧТО, БОЛЬШЕ ЗАНЯТЬСЯ НЕЧЕМ?!
Стоишь тут, загораживаешь только.
Кайф сейчас щукой заглотит мою блесну.
Я очень волнуюсь. Я
прождал всю весну.
Но щуку спугнул рингтон на мобиле твоей.
Это будет рингтон на могиле твоей.

Один день декабря 2010

От редакции. Чего мы только уже не писали об Иване Чернике! Не иначе как любимчик, – подумают иные читатели. И будут не то чтобы правы, но… Что нас подкупает в стихах Черника – искренность и простота чувств при парадоксальной причудливости и даже иногда изощрённости поэтических образов. Это всегда разговор от первого лица. «Беру огонь на себя!» – это про его стихи. А в самом Чернике – способность меняться, оставаясь неизменным, некая душевная целомудренность. Что бы ни говорили о нём и его стихах – хорошее, плохое, – ни то, ни другое как будто не проникает в него – он не пускает. Потому что и то, и другое могут быть одинаково разрушительными. Все его эмоции – там, где им и положено быть у поэта, – в стихах. В сегодняшней подборке Иван и похож, и не похож на себя. Темы остались, изменились сюжеты и ритмы. Судя по всему, главный вопрос, волнующий поэта сегодня: кто герой нашего времени? Да, плохо наше дело, если наш герой «снял с себя пояс шахида»…

Анжела МУФТАХЕТДИНОВА

студентка 3 курса ИФФ БГПУ

Стихи

* * *

Пальцы – в волосы. Слёзы – в тушь.
Нарисую тебя на окне.
Я поверила в близость душ.
Я поверила… Жаль… Её нет.
Не могу описать состояние –
Рвано-скомканное ощущение,
То меня поглощает отчаяние,
То волнующие сомнения.
Рваный стих, как и мысли в отчаянье,
Разбросаю, не глядя, по ветру я.
Были чувства твои случайными,
А мои оказались ответными…

* * *

Шум города. Следы от колёс на дороге.
Пыль. Провода. До крови истёртые ноги.
Засасывает одиночество. Одна идёшь до и после обеда.
«Здравствуйте, Ваше Высочество!» – с зеркалом беседа.
В лужах мечты отражаются, и кажется: вот оно – небо.
Жаль, что редко сбываются, и нет ощущения неги.
И даже через сотни лет опять кто-то один по жизни бредёт.
Сказать бы ему: «привет», да кто теперь меня поймёт
И услышит: «Нет… меня…»

* * *

Звук – это стон струны.
Стук – это бой волны.
Глух – это ты к моим надеждам.
Двух – нас не будет.
Мы будем, как прежде –
Лишь шёпотом ночи,
Что слух режет. Больно?
Не очень…
Вдали уже свет брезжит.

Виктория СТАРЦЕВА

студентка 2 курса ИФФ БГПУ

Стихи

Зимний пейзаж

Снежной солью замело дороги лета,
Месяц лижет мёд морозного замка,
Вьюга тучам завивает до рассвета
Кудри медные в просторах чердака.

Лунной крошкой осыпается на крыши
Иней с клёнов бирюзовых и осин;
Южный ветер, натянув хромые лыжи,
Мчится с хрипом из неведомых глубин.

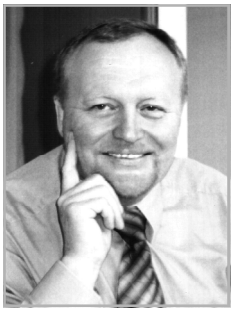
Дымный шлейф на небе россыпями пепла
Стелет путь заре свинцовою дугой;
Солнце кистью обесцвечивает где-то
Краской утра звёздный бисер голубой.

Зарумянилась позёмка от восхода,
Босиком кружась в окрестной зимней мгле.
И сверкнув окраиной потёмок,
Утонула ночь в небесном хрустале…

Снежной солью замело дороги лета,
Месяц лижет мёд морозного замка,
Вьюга тучам завивает до рассвета
Кудри медные в просторах чердака…

Александр ГЕРАСИМОВ

выпускник БГПИ 1977 года



Рассказы и миниатюры

ДАЛЁКИЙ ЗАПАХ ЛЕТНЕГО ДОЖДЯ

Многие воспоминания имеют свои запахи, цвета и звуки, они прилипают к событиям.

Ароматы дождя, сирени и тополиных листьев – летняя студенческая сессия. Густые кисти бледной нежно пьянящей голову сирени плотно воткнуты в зелёную трёхлитровую банку с водой, стоят на дальнем краю длинного преподавательского стола, усыпанного жёлтыми полосками экзаменационных билетов. Первый летний дождь прошёл, настежь открыто окно институтской аудитории, в нём белые и чёрные стволы и ветви тополей, смолистые, липкие, ещё не выросшие в пыльные лопочущие лопухи, чистые изумрудные листья. И озабоченные воробьи орут, один наглее другого. Сердце волнуется, стучит тревожно: экзамены!

Мои экзамены сданы очень давно. Но приходит начало лета, и вновь учащённо бьётся сердце. Зачем я волнуюсь? Неужели я не знаю ответов на все вопросы?

Апрель 2011 г.

МОЯ КРАСИВАЯ ОСЕНЬ

Сырой асфальт и мокрые листья. Не дождь, не морось, а так – прозрачный туман. В тихом парке с влажных веток стекают тяжёлые капли. Красные и жёлтые листья не порхают, не кружатся, а как-то обречённо шлёпаются оземь, прилипают и покорно распластываются. Упавшие в чистые лужи, ещё пытаются в порывах ветра, распустив усы, изобразить из себя кораблики, но, не успев разогнаться, утыкаются в захламлённые берега.

Будь я художником-пейзажистом, целый день стоял бы под большим зонтом перед треногим этюдником и писал на холстах эту осень в прозрачном парке, грел дыханием зябнущие пальцы, наливал в крышку китайского термоса горячий чай с ароматным мёдом и терпким лимоном. Краски, выдавленные из свинцовых тюбиков на фигурную дощечку палитры с круглой дыркой для большого пальца, я не стал бы смешивать, – моим пейзажам нужны чистые и яркие цвета. Только чёрную заменил бы на фиолетовую либо тёмно-лиловую, даже, нагло, на зелёную в холодном спектре этого цвета.

Моя осень – красивая взрослая женщина, знающая себе цену, которая с возрастом становится только интереснее и загадочнее. Лёгкая косметика для осени моих ненаписанных картин вовсе не для обмана, а оттого что не люблю я чёрные краски.

Апрель 2011 г.

ЛЕШИЙ

В тайге, особенно вдали от человеческого жилья, стараюсь избегать встречи с людьми. Услышу чьи-то шаги – притаюсь незамеченным. Мало ли какие люди ходят и по каким надобностям. Последнее дело – стать свидетелем чего-либо, оказаться нежеланным очевидцем и участником, нечаянно раскрыть чужие тайны и страшные грехи. Здесь морали и пощады нет – первый закон тайги.

И в то же время нигде так не проявляется взаимовыручка, как в тайге, где порой на сотнях километров не встретишь человека, даже если очень захочешь. В любом зимовье, охотничьей землянке ты всегда найдёшь минимум предметов, чтобы не сгинуть от мороза и голода: спички, бересту и сухие лучины для очага, котелок, соль, сахар, чай, мешочки крупы, подвешенные к потолку от мышей. Этим ты вправе воспользоваться и, уходя, чем можешь, должен аварийные припасы пополнить. Это второй закон тайги.

Я же вам расскажу о третьем законе.

В лето того довольно далёкого года я в очередной раз решил что-то себе доказать. Взял отпуск и уехал в Приморский край. Мне предстояло в одиночку пройти добрую сотню километров по тайге вдоль отрогов Сихотэ-Алинского хребта. В рюкзаке, кроме минимума продуктов, котелков, брезентового полога, были компас, блокнот с карандашами, фотоаппарат с кассетами чёрно-белой плёнки, бинокль и две дюжины патронов с мелкой и крупной дробью. К патронам имелось ружьё шестнадцатого калибра, раздолбанное и незарегистрированное, которое по окончании похода не жалко было выбросить. При таком снаряжении отправиться в дальнее путешествие по незнакомому маршруту может только неисправимый романтик и авантюрист.

Но в тайге я не новичок, пропасть вовсе не собирался. И поход складывался благополучно. Пробирался через дебри. Пытался рисовать, фотографировать и даже философствовать.

Удивительное явление – наше короткое лето. Однажды начавшись, оно кажется бесконечным. Забывается, что была на свете и, возможно, будет вновь холодная вечность зимы. И люди, живущие в лете, и оно само думают так и надеются на собственное бессмертие. Наивные мы и этим счастливы. – Примерно так, со свойственным молодости снисходительным глубокомыслием, я тогда рассуждал.

На четвёртый день похода нащупал едва заметную, терявшуюся в зарослях тропинку. Она вилась в сотне метрах от берега шумной таёжной речки. Здесь я и увидел тревожный флажок – ленточку выгоревшего брезента на ветке над тропинкой. Остановился и огляделся. Тряпочка была повешена недавно, примятые и сломанные листья не засохли, а только сморщились и привяли. Рассмотрев кусочек брезента, я заметил на его краешке смазанный красный отпечаток пальца. Понял, что это кровь. Едва заметные бурые пятнышки были и на тропинке. Я услышал тихие стоны. Прошёл навстречу звукам двадцать метров и увидел человека. Он лежал на взгорке у корней двух огромных, упирающихся в небо кедров. Выцветшая «энцефалитка» и такие же штаны на человеке были разодраны. Правый рукав куртки от самого ворота почти оторван – в прорехе на плече глубокая запекшаяся царапина. Правая штанина от пояса до колена тоже зияла сплошной дырой, сквозь которую виднелись вывернутые наружу мышцы бедра. Брезентовый ремень на штанах порван. Одежда и земля вокруг в тёмных пятнах и сгустках засохшей крови. Под левой рукой лежала старинная бердана с затвором, треснутым прикладом. В стороне – две стреляные гильзы двадцатого калибра. Всё это я разглядел на бегу, за пару секунд. Подбежал, наклонился к изголовью, свинтил пробку у фляжки, приподнял страдальцу голову, стал осторожно через запёкшиеся губы вливать воду. Судорожно, захлёбываясь, пьёт. Это хорошо. Сейчас очнётся. Поговорим – покумекаем.

– С…с…спсиб…

Ну вот, заговорил.

– Пожалуйста. Ты как?

– Нрмально.

– Я тоже оптимист. Что делать будем? У тебя серьёзная рана. Может заражение пойти.

– Знаю. Пробьёмся…

Всё. Выключился. Потерял сознание.

На вид ему лет сорок. Лохматый. Светлая борода растёт почти от самых глаз, широкой лопатой тянется до ключиц. Роста среднего, сложения крепкого. Но слишком много потерял крови. Раненое бедро сильно опухло, уже гноится. Но сухожилия, вижу, целы. Достаю флакончик спирта и бинт. Пытаюсь промыть рану. Хотя толку от этого никакого, раньше бы это сделать.

Догадываюсь, что порвал его медведь. Но не бурый мишка, с тем не забалуешь, а чёрный белогрудый. Этот размером мельче, но паскуднее. Азиатский характер у чёрного медведя, злопамятный и мстительный. Если ты ему чем-то насолил: спугнул с добычи, помешал жрать ягоды или дрыхнуть на солнцепёке – убежит, но потом обязательно вернётся и отомстит. Не уследишь – разорит стоянку, в клочья порвёт рюкзак, палатку. Даже ружьё может погнуть и погрызть. Но напасть на человека – это и для него сверхнаглость. Был или раненый зверь, или от рождения пакостного нрава отморозок.

Похоже, что бедолага пострадал не здесь. Сюда пришёл, пока были силы. Но зверюга напал где-то недалеко от этого места. У него ружьё, потому нападение было внезапным. Или подкараулил, или подкрался. Однако в последний момент человек успел увернуться, потому что голова не повреждена. Медведь первым делом сдирает скальп от затылка до лба. Охотники говорят, что якобы не может видеть глаза, потому и закрывает их лоскутом кожи с головы. Отметина от медвежьего когтя на плече, значит, успел среагировать. Замах звериной лапы был страшным. Хорошо, что когти зацепились за крепкий брезентовый ремень штанов. Ремень лопнул, но удар ослабил. На бедре осталась глубокая рваная рана, но могло быть ещё хуже. Хотя и сейчас ничего хорошего.

Медведь не убил его, потому что человек успел выстрелить. Или испугался зверь, или был ранен, но факт, что убежал. Нет, не ранен, просто струсил. Раненый зверь был бы в ярости и добил добычу. Почему я не допускаю варианта, что медведь в той стычке мог быть убитым? Потому, что зверь возвращался, приходил уже сюда, к двум кедрам. Бородач был ещё в сознании, начеку – вот они, две стреляные берданочные гильзы.

А место для стоянки он выбрал доброе. Обзор хороший, не замеченным сюда не подойдёшь. На взгорке сухо, кроны кедров и от солнца защитят, и от дождя. В десяти метрах чистый ключик.

Но дело кислое. Рана продолжает воспаляться, нужны антибиотики. Больного надо срочно доставить в посёлок. А это семьдесят километров сквозь заросли, через тайгу, мари, участки скальных осыпей, небольшой горный перевал, два десятка речушек да три брода по горным порожистым рекам. Я мужик здоровый, могу тащить, где на плечах, где на волокушах из ветвей. Но не донесу, не успею.

Пока про всё это рассуждал, успел вскипятить котелок, сварить и запарить таёжный «чай» из листьев элеутерококка, земляники и красной смородины, с ещё зелёными плодами актинидии и уже бурыми ягодами маньчжурского лимонника, дикого барбариса и крупного приморского шиповника. В летних походах я никогда не завариваю чай из пачки, свежие дикоросы и полезнее, и вкуснее. Остуженным отваром начинаю отпаивать своего нового знакомца. Точнее – незнакомца, поскольку имени не спросил. Надо – сам скажет.

Бородач открывает глаза и говорит, как будто продолжая прерванный разговор:

– Пробьёмся.

– До посёлка донести не успею.

– Знаю. Далеко. Переправы. Не дотащишь. Три дня и сам встану.

– Лекарств нет?

– В тайге лекарство.

– В зимовье, лабазе? Антибиотики?

– Нет. Я расскажу. Научу тебя.

– Чему научишь?

– Всему. Ружьё есть?

– Есть. Шестнадцатый калибр. Дробь: семёрка, тройка и нулёвка.

– Нулёвку заряди. Иди, убей зайца. Их здесь много.

– Прямо сейчас?

– Да, поспеши.

– Как скажешь…

Встаю, заряжаю ружьё. Зайчатинки ему захотелось. А почему нет? Может, это последняя воля умирающего?

Я отошёл на двести шагов к большим таёжным лопухам. Такие места зайцы любят. И точно, здоровенный зайчище высунулся из зарослей и лениво запрыгал прочь. Вскидываю ружьё. Бабах! Готов косой: перевернулся через голову, дрыгнул задней ногой и замер.

Возвращаюсь с добычей. Мой напарник заметно ожил. Сумел присесть, упершись спиной в ствол кедра. Глаза закрыты.

– Заяц?

– Заяц-заяц! – говорю я голосом ушастого персонажа из популярного мультфильма.

– Распори его до хребта и повесь на солнце. Вон на ту ветку.

– Что? Рагу не будет?

– В другой раз. Шкуру не сдирай.

Распарываю тушу ещё горячего зайца, верёвкой за задние ноги вывешиваю на солнцепёк.

– Смотри, – говорю, – как его мухи сразу облепили. И откуда налетели? Не понять.

– Они везде. Мухи – это хорошо. Хорошие мухи.

Я не стал любоваться хорошими зелёными мухами, вернулся к раненому.

– Ты кто? – спросил я.

– Человек. А ты?

– Тоже человек.

– Вот и познакомились, – болезненно улыбается, – ты мух не отгоняй, мне их черви нужны.

– Личинки? Опарыши?

– Да. Я пока посплю. Сил мало.

Человек вновь закрыл глаза и, видимо, потерял сознание. Я заготовил и натаскал дрова для кострища, как смог оборудовал бивак. Потом заваривал таёжный чай с травами и ягодами, разводил в кипятке сгущённое молоко – поил горячими напитками свалившегося на мою голову страдальца. В этих хлопотах протянулись сутки. Раненому становилось хуже. На тушке зайца роились полчища мух. Вновь была бессонная ночь у костра, пришло утро, наступил день, и я заснул крепким сном.

– Эй, – услышал я голос, – эй, человек! Просыпайся!

Открываю глаза. Мой подшефный, хотя и в сознании, выглядит дряннее вчерашнего. Его знобит и колотит. Рана продолжает воспаляться, и я понимаю, что уже сегодня-завтра могут начаться осложнения: отравление крови, гнилостная гангрена.

– Не бойся. Гангрены не будет.

Похоже, что мы об одном подумали. Сейчас его проблемы стали и моими.

– Согрей воды, чтобы не горячей была. И не холодной. Будем червяков купать.

Он знает, что мне делать. Это не бред. Нагреваю чистую ключевую воду градусов до двадцати пяти, трогаю пальцем. Сосед следит за мной.

– Не холодная? Не замерзнут?

– Не простынут. Чихать не будут.

– Тащи сюда косого. Червячков не стряхни.

Приношу подвонявшего зайца, на внутренностях которого шевелятся мелкие опарыши.

– Червячков отмой. Только пальцами не трогай. Мне инфекция не нужна.

– Ты что, их есть собрался?

– Увидишь.

Споласкиваю гадких мушиных личинок, осторожно сливаю воду.

– А сейчас высыпай их на рану. Не бойся. Мне хуже не будет. Вот. Молодец. Тебе уже можно в уголке дедушки Дурова выступать. Номер с дрессированными червяками.

– Наверное, ты шутишь?

– Угу.

– Значит, жить будешь.

– Я и не сомневаюсь. Ты поаккуратнее, понежнее с червячками. Смотри, чтобы равномерно расползлись.

– Они тебя сожрут.

– Нет. Есть будут только гнильё.

– Уверен?

– Знаю. Учись, студент.

– Я не студент. Я учитель.

– Тем более учись. Других научишь.

– И сколько они тебя будут глодать?

– Сутки. Пока не растолстеют. Расслабься. Спирт есть?

– Есть.

– Выпей. Боюсь, стошнит тебя. Совсем зелёный стал.

– А ты выпьешь?

– Нет. Я вообще не пью алкоголь.

– Завязал?

– Даже не развязывал.

– Старовер, что ли? Божий человек?

– Все мы Божьи твари. Меня можешь Лешим звать. В посёлке так называют. Ты зайца унеси на север, триста метров. В большой муравейник брось. Только муравьев сюда не приведи. Извини, мне поспать надо.

Опять вырубился. На рану страшно смотреть. Мелкие трупные личинки мух освоились, шевелятся в гнилой плоти живого человека. Господи, чего только в этой жизни не увидишь! «Сходил за хлебушком», прогулялся по тайге…

Уношу вонючего зайца. Издалека забрасываю тушку к полутораметровому муравейнику. Через сутки от зайца только сухие косточки белого скелета останутся. Как советовал Леший, близко к муравейнику не подходил, чтобы не привести мелких лесных троглодитов к биваку, к больному человеку.

Через час он проснулся. Резко открыл глаза, потянулся к берданке.

– Ты что, – забеспокоился я, – стрелять собрался?

– Тихо, медведь. Ты куда зайца выбросил?

– К дальнему муравейнику.

– Медведь там.

– Уверен?

– Знаю. Он всегда был здесь. Рядом. Не подходил. Потому что боялся. Нас двое. Если бы не ты – пришёл бы. Он меня давно задрать и забрать хочет. Сейчас зайца жрёт. Я слышу. Вот что: возьми мою бердану, пойди и шугани его. Стреляй метров за сто. Чтобы картечь над его башкой прошла и ветки посыпались. Пусть обделается. Не бойся, он убежит. Ты ему не нужен. Ему я нужен.

Как быстро я стал подчиняться этому человеку. Делаю всё, что он говорит. Беспрекословно. И нисколько не сомневаюсь в его правоте. Командир, блин. А я – солдат рядовой, будто бы всегда только тем и занимался, что выполнял чьи-то команды. Это я – дитя свободы, который после института на полуторамесячных военных сборах умудрился заработать восемнадцать нарядов вне очереди и трое суток гауптвахты. Ненавижу ходить строем и выполнять дурацкие приказы. Я для того и в тайгу приезжаю, чтобы не слышать команды: пойди туда, сделай то, доложи и встань смирно. Сейчас! Вот вам!

Чего это я разухарился? Надо задержать дыхание. Через прорезь мушки вижу медведя. Ни хрена себе! Таких гигантов из мелкой гималайской породы я ещё не видел. В этом косолапом больше двухсот килограммов, четверть тонны. Настоящий монстр. Жрёт зайца. Поднимает чёрный нос кверху, водит из стороны в сторону, нюхает воздух. Сейчас почувствует меня. Ну, уж нет. Он у меня обделается по полной программе. Нажимаю на курок. Картечь прошла в метре над чёрной башкой, срубила низко нависшие еловые лапы. Грохот выстрела усилился круговым эхом и одновременно с упавшими ветками огрел зверя. У медведя от неожиданности расползлись лапы, и он, как свинья, распластался на земле. Вскочил, крутнулся на месте и, поджав куцый хвост, дал дёру, прямо как заяц, высоко задирая толстую задницу.

– Эй, засранец, – ору я вслед, – бумажку принести?

Хохочу и радуюсь. А чему радуюсь? Головореза напугал. Ха-ха-ха!

Возвращаюсь к стоянке. Дурашливо прикладываю ладонь ко лбу:

– Товарищ командир! Приказ выполнен! Тайга в дерьме, медведь – по уши!

– Вольно. Здесь командиров нет. Мы напарники. А главным сегодня ты, учитель. Потому что сильнее.

– А ты?

– А я умнее. Не обижайся. Я сразу понял, что ты хороший мужик. И тайгу любишь. Но ты городской. Совсем своим в лесу не станешь. А я живу здесь.

– В школу не ходил, в армии не служил? – обиделся и ёрничаю я.

– В армии служил. Там, где Макар телят не гонял. И учиться – учился. Физтех Новосибирского университета.

– Ещё скажи, что с красным дипломом.

– Угадал. Наш таёжный отдел кадров только с красным принимает. Разрешите вновь представиться: бывший интеллигентный человек, бич таёжный[1]. А ты, учитель, из каких мест?

– Из Благовещенска. Историко-филологический пединститута.

– Разумное, доброе и вечное сеешь?

– Отсеялся. Отпуск взял, сюда приехал. За туманом и за запахом…

– Только не за запахом того медведя. Сам я воздух тоже не очень освежаю.

– Поправишься.

– Не успокаивай. Я должен встать. Встану и прибью людоеда.

– Что? Тот медведь настоящий людоед?

Честно признаюсь: меня даже зазнобило. Чуть зубы не застучали. Я только что, как пацан, ходил шугать таёжного людоеда. Он же меня мог сожрать!

Бородач устало прикрывает глаза.

– Извини, учитель. Ты не бойся. Он сегодня сюда не сунется. Завтра придёт. Придёт, когда ты уйдёшь и оставишь меня одного. Мне поспать надо. Ты не скучай. Возьми мой топор и заготовь четыре метровых кучи ильмовых дров. А ночью не тревожься, спи. Медведь тебя не тронет. Всё будет завтра.

Я сделал, как он просил. Заготовил четыре кучи дров из приморского ильма. Только ночью спать не мог. Палил огромный костёр и прислушивался к тайге. Медведь, как и все звери, огня боится. Поил Лешего отварами, он просыпался, что-то благодарно бормотал и улыбался. Человек был почти без сознания, но что удивительно – жар у него прошёл. Под утро, прижав чужую бердану к груди, я всё-таки уснул. И спал часов до девяти, пока солнце не стало красными кругами щекотать сомкнутые веки. Почему-то я проснулся с очень хорошим настроением. Только открыл глаза, как тут же услышал добродушное ворчание бородатого соседа:

– Ну, ты и спишь. Даже дверь веником не подпёр. Заходите, люди добрые, берите, что хотите.

– Привет! А что? Кто-то в гости заходил?

– Слава Богу, никого не было.

Мой напарник сидит у костра. Берданка, которую как родную я всю ночь прижимал к себе, лежит у его раненого бедра. Нет, зрелище ещё то: в развороченном бедре белые личинки заметно выросли, копошатся, пульсируют, крутят острыми носами. Однако рана стала почти чистой, гладкой и девственно розовой.

---

[1] Постсоветские поколения читателей, справедливо воспринимающие автора и героя его рассказа персонажами доисторическими, ровесниками волосатых мамонтов, могут не знать, отчего Леший называется «бич таёжный». Бич – «бывший интеллигентный человек», так именовали себя представители люмпенизированного социального класса 70–80-х годов прошлого века. Они не имели постоянного жилья, но, в отличие от современных бомжей, многие бичи не чурались работы. У нас на Дальнем Востоке эти люди составляли большинство среди сезонных рабочих в геологических экспедициях, заготовительных артелях и даже на приисках. Мне не раз встречались очень колоритные представители «бывших интеллигентов», в том числе образованные, с хорошим чувством юмора. – *Примеч. автора.*

– Иди, умывайся. Пойдём мох собирать. Нет, толпиться сегодня не будем. Ты пойдёшь, а я здесь позагораю.

Умываюсь у чистого ручейка, фыркаю и разбрызгиваю искры студёной воды. Примечаю, какой день хороший, солнечный и нежаркий. Середина августа, а в буйных космах лиственных деревьев уже чуть проблёскивают золотые и медные пряди осеннего предвестья.

– Ну, долго ты там? – бурчит сосед. – Сначала спал до обеда, а сейчас до вечера купаться будешь? У нас хлопот полон рот, а он плескается, как десантник в фонтане.

– Цыц, Леший! Забыл, что меня в главные командиры назначил? Почему до сих пор в две шеренги не построился? Быстро лёжа подровнялся и бегом с докладом!

Бородач поддерживает моё дурачество:

– Я, товарищ командир, извиняюсь, конечно, но личный состав волнуется: а пописать на горшочек вы сходили?

– Молчать! За неуставное запанибратство объявляю пять суток гауптической вахты!

– Есть пять суток! Разрешите исполнять?

Смеёмся, два дурака. Уж больно хорошо день начинается. Пьём чай и треплемся как закадычные приятели на пикнике в городском парке. Барышень только не хватает.

– А теперь за дело, командир. – Леший рассматривает раненое бедро. – Будем с пассажирами прощаться. Пойди вон в ту ложбинку и набери мхов зелёных. В этот чистый котелок складывай. Аккуратно режь. Соринки стряхивай. И пальцами поменьше ко мху прикасайся.

– Полный котелок?

– Полный. Только не спрессовывай. Нежненько-нежненько. Ружьё возьми.

Ну вот, напомнил о медведе-людоеде, и настроение моё подкисло. Иду в указанном направлении. Мхи здесь шикарные. Место тенистое, в меру влажное. Веточки ворсистого мха тёмно-изумрудные, высокие, похожи на маленькие ёлочки. Осторожно нарезаю квадратные лоскуты, смахиваю соринки – сухие хвоинки и листики.

Наполнив доверху котелок, возвращаюсь. Леший лежит на боку, стряхивает на землю личинок-пассажиров. Лоскутом принесённого мною мха тщательно протирает рану, затем плотно накрывает её зелёными облатками:

– Учись, учитель. Мох – природный антисептик. Фронтовики в окопах мох вместо йода и бинтов использовали. Полдела мы сделали. А сейчас зажигай первую кучу дров. Будем мой окорок коптить и жарить.

Настроение у мужика весёлое. Глядя на него, вновь ожил и я, забегал, разжигая и добавляя жару огромному костру. Огонь полыхает, а я, подбадриваемый напарником, всё бросаю и бросаю в него запасённые дрова. Через три часа слой раскалённых углей достигает почти полуметра.

– Хорош кочегарить! Сгребай в кучу и выравнивай угли!

Формирую нечто, похожее на пирог из вулканической лавы. Леший подползает к адскому холму. Избавляется от моховых облаток, и подставляет жару травмированную ногу. Рана на глазах подсыхает. Он терпит. Закрыл глаза, скрипит зубами и не отползает.

– Ты уже как жареный поросёнок, отдохни, – я силой оттаскиваю товарища в сторону, – охладись, палёным пахнет. У тебя борода дымится.

Экзекуция жаром продолжается с перерывами два часа. После чего вконец обессиленный человек сдаётся. Ложится на спину, навзничь, и мученически улыбается:

– Ну вот… А ты говоришь: «гангрена», «антибиотики»… Хрена, а не гангрена! Вот так тайга лечит. Через сутки я уже бегать буду. И прыгать, как козёл.

Варю гречневую кашу с двумя банками тушёнки. Впервые мы плотно обедаем. Расслабленно пьём чай и тихо разговариваем. Без напрягов, без шутовства. Я подробно расспрашиваю. Леший (так своё имя, хитрец, и не назвал) рассказывает.

Уже много лет он промышляет таёжный женьшень. Обычно «корневики» в сезонные походы выходят по двоетрое. Компанией легче и обследовать территорию, разбивая её на условные квадраты, и обустраивать незамысловатый быт походной жизни. Это и безопаснее в случае встречи с лихими людьми – беглыми зеками или «хищниками», как называют тех, кто без лицензий моет золото в таёжных ключах и горных шурфах. Угрозы могут исходить и со стороны диких зверей. Особо опасны вепрь, кабан-секач, и обиженный, раненный людьми, либо попробовавший человечину, медведь. По-любому компанией в тайге продержаться легче.

У него тоже был напарник, с которым хоть в полынью, хоть в пламя. Но полмесяца назад на самое начало сезонного промысла женьшеня Леший растянул связки и не смог выйти с товарищем. Встретиться договорились вот на этом самом месте.

Он пришёл в назначенный срок, но друга не обнаружил и сразу почувствовал неладное. Для него тайга – открытая книга с понятным, хотя и затейливым текстом. Обошёл территорию в несколько километров и всё понял.

С первых часов появления здесь человека охоту на него затеял гигантских размеров и чрезвычайно хитрый гималаец. Чем ему насолили люди, можно только предполагать, но этот медведь был кровожадным людоедом.

Почему друг не почувствовал угрозы? Может, подцепил хворь и потерял бдительность? Но финал был страшен.

В двух километрах вверх по реке товарищу улыбнулась коварная Фортуна. Он нашёл огромный корень. И не просто неправдоподобно крупный, а удивительных форм. Известно, что женьшень это «человек-корень». Самые ценные экземпляры очень напоминают человеческое тело. Есть голова, туловище, руки, ноги и ещё более мелкие детали всяческих органов. Есть у корней и половые признаки человека, потому их разделяют на «мужские» и «женские». Этот корень был мужским. Очень рельефный, с массивными и соразмерными отростками конечностей, без излишних «аппендиксов», и в то же время с нежными пушистыми волосками. Найти такой корень не просто редкая удача, это фарт, который выпадает далеко не каждому поисковику заветного «корня жизни».

Друг Лешего стал осторожно подкапывать и очищать чудесный корень. Возможно, он ошалел от неожиданности и величия находки, возможно, размечтался и расслабился. Человек держал в руках удачу, был безумно счастлив и не услышал бесшумной поступи зверя…

Леший замолчал и отвернулся. Ком боли забил его горло.

– В общем… корень я целёхоньким с земли поднял. А друга… то, что от него осталось, нашёл в пятистах метрах от проклятого места.

Поплакал. Собрал останки в полог. Решил на высоком месте временно захоронить, чтобы звери не растащили. А потом, думаю, вернусь с людьми, перенесём, похороним на кладбище рядом с отцом-матерью. Я уже тело в могилу уложил и стал засыпать землёй, когда этот подонок вернулся. Ты понимаешь?! Я его не услышал! У меня в ушах звенело. Только в последний момент от удара увернулся… Он мне бедро разорвал. Не было бы ремня – оторвал бы ногу. А бердана взведённая на земле лежала. Я к ней рванулся, даже не поднял, только до курка дотянулся. Короче, выстрел, медведь дёру. Я ещё, по горячке, могилу успел засыпать, потом сюда приковылял. Смог и лоскут над тропинкой повесить… А этот ко мне два раза приходил. Я стрелял, он убегал. Потом сознание стал терять. Уже ни на что не надеялся, совсем отчаялся. Только бесило, что не отомстил, не убил. А потом ты пришёл. Остальное знаешь лучше меня. Такие вот дела…

– И что намерен делать дальше?

– Сейчас ты уйдёшь. А я останусь. Я убью его, расчленю и сожгу. Чтобы ничего от этой сволочи не осталось. А ты не задерживайся, дело к вечеру. Пойдёшь по этой тропинке. Через семь километров выйдешь к реке. Переход деревянной стрелкой обозначен, не промахнёшься. По камням перейдёшь на левый берег. Под скалой схрон найдёшь. Я его с другом делал. И дрова, и продукты, даже керосиновая лампа имеется. Там и переночуешь. Такие дела…

Леший полез в рюкзак и достал полотняный свёрток, аккуратно закрученный бечевой:

– На, брат, возьми. Потом посмотришь. Спасибо тебе. Уходи. Христом-Богом прошу: уходи. Долгие проводы – долгие слёзы. А мне ещё к встрече с тем гадом надо приготовиться.

Мы встали, крепко, по-братски обнялись. Я подхватил свои вещи и пошёл. Солнце клонилось к закату. Надо было спешить.

Через пару часов я уже был на стоянке. Легко нашёл схрон, запалил из сухих дров костёр, зажёг и керосиновую лампу. Достал и принялся аккуратно разматывать полотняный сверток. Я уже догадался, что мне подарил Леший. Это был тот самый, необыкновенного величия и красоты корень женьшеня.

Я рассматривал его в свете костра и лампы. Всплески огня оживили корень. Он в самом деле был человеком. Наполненный необъяснимой магической силой человек-корень напрягал мощную плоть торса своего тела, упругих конечностей и… смотрел на меня! Я физически почувствовал этот холодный и насмешливый взгляд. Конечно, это только ощущения. Просто я устал. Надо завернуть корень в тряпицу и хорошенько выспаться. Трофей, конечно, уникальный. И больших денег стоит. Я слышал, что у корейцев в приморском посёлке за подобный, но гораздо меньший корень фартовый промысловик как-то получил новые «Жигули».

Остаток маршрута я прошёл с опережением намеченного графика, уложился в три дня. В посёлке, который был и районным центром, я спросил, где живут корейцы. Не нищие рабочие из Северной Кореи, занятые на лесоповалах, а наши корейцы, чьи предки поселились в Приморье в девятнадцатом веке вместе с русскими первопроходцами.

Я нашёл самого старого деда корейца и передал ему свёрток. Сказал, что это «корень жизни», что мне за него ничего не надо. Сказал, что из-за этого корня погиб человек, и я хочу, чтобы теперь он спасал человеческие жизни. В общем, что-то очень сумбурное говорил и говорил корейскому дедушке. Тот слушал меня и всё время кивал головой.

Я встал. «Спасибо», – сказал старый кореец. «До свидания», – сказал я и поклонился. «До свидания», – ответил дедушка и тоже поклонился.

Во Владивостокском морском вокзале, откуда, как известно из песни Юрия Визбора, корабли отходят всегда на восток, а поезда всегда на запад, я купил местную газету. На последней странице увидел заметку:

НЕОБЪЯСНИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ

Вчера на берегу одной из таёжных рек в районе Сихотэ-Алинских предгорий охотинспекторы обнаружили кострище с обгоревшими частями расчленённой туши необычайно крупного гималайского медведя. По факту незаконного отстрела и необъяснимой жестокости ведётся следствие.

Леший своё слово сдержал!

Март 2011 г.

ОТКРОВЕНИЯ В МУЖСКОЙ КОМПАНИИ

Известно, что когда собирается за столом исключительно мужская компания, то после разговоров о насущных производственных проблемах и необыкновенных успехах в отношениях с доступными женщинами, ещё не перейдя к спорам о футболе, рыбалке и геополитике России в Бермудском треугольнике, с последующим выяснением, кто кого за столом уважает и на чём добраться домой, – любят мужики вспомнить лихую армейскую молодость. Вспоминаются самые яркие моменты. Как рота артиллеристов с полком танкистов на армейских ремнях дралась, и успокоить их смогли только из брандспойтов двенадцати пожарных машин. Как целая гвардейская дивизия дизентерией обделалась и чуть не сорвала масштабные международные учения с участием самого Верховного Главнокомандующего – президента. Или как в одном батальоне духи, солдатский молодняк, дедов-старослужащих отметелили, после чего на радостях напились «тормозухи» и крутились по полу, как мухи

от дихлофоса. И каждый рассказчик старается в этих историях свою исключительную значимость показать, доказать компании – какой он тогда был авторитетный, пронырливый и фартовый.

Я в армии не служил. Но, чтобы не выбиваться из коллектива, в застольных разговорах присутствую. Поскольку эти истории слышал раз по двести, подмечаю всё новые и новые неожиданные подробности и фактологические несоответствия в героических подвигах моих товарищей. Сам я молчу, потому что рассказать нечего. И Юра Бусеев молчит.

– Ты что, не служил? – спрашиваю как-то у коллеги.

– Кто? Я? Служил. Но не имею права рассказывать кем, когда и где. Подписку давал пожизненную. В случае разглашения – расстрел.

– А где подписку давал?

– Где-где! В конторе глубокого бурения…

– В Советском Союзе что ли? Так нет уже СССР и КГБ нет. Вот наивный. Ты что, телевизор не смотришь? Всех наших депутатов и завсегдатаев ток-шоу давно бы расстреляли. Такое про советскую страну болтают, что в Северной Корее политическое убежище просить хочется или у людоедов дикой Океании.

– Правда что ли?

– Про людоедов? Конечно, правда.

– Да нет, что сейчас всё можно рассказывать? Обещали ведь без суда расстреливать.

– Забудь те расписки. ФСБ ещё при Ельцине все советские сверхсекретные архивы американскому ЦРУ передала. В качестве акта доброй воли. Говори, Юра, не держи камень за пазухой. Всё выкладывай.

Насчёт камня я, конечно, загнул. Но Юра вдруг даже лицом посветлел. Встаёт из-за стола и вилкой стучит. Внимания просит.

– Ты чего, Юра? – спрашивает компания. – Политическое заявление хочешь сделать?

– Да, – говорит, – хочу. Я, мужики, государственный переворот совершил!

Все зашумели:

– Юра, ты чего-то того… Ещё и не пили вовсе. Да вроде и по новостям ничего такого не передавали. Президент и премьер на месте. Озабоченные и жизнерадостные.

– Нет, – голос Юры стал твёрдым, как у советского диктора Юрия Левитана, – государственный переворот произошёл. И я должен покаяться.

Тут и я встал в застолье.

– Мужики, – говорю, – давайте Юрана послушаем. Истории про ваши армейские дела мы все уже наизусть знаем. А товарища и друга нашего Юру Бусеева ни разу не слушали.

– Ну, ты, белобилетник, поосторожнее про наши армейские дела, – Вовчик Емельянчиков забычился, – пока ты, дезертир, наших девок на гражданке щупал, мы Родину защищали!

– Так ведь и он, – говорю, – защищал. И даже наоборот – переворот совершил. Государственный, между прочим.

– Ладно, – говорят коллеги, – сначала выпьем по трезвому, а потом пусть Юра расскажет, покается перед Родиной и друзьями. А мы решим, что с ним делать. Может, и под трибунал попадёт в случае объявления военного положения.

Налили. Выпили. Юра и рассказывает:

– Летом восемьдесят второго, после трёх месяцев «учебки» ракетных войск стратегического назначения, попал я в Центральную Африку. Весь выпуск учебного центра, семьсот человек, загнали в грузовые самолёты и отправили помогать нашим загорелым братьям строить социализм и укреплять ядерную оборону от американских империалистов. Страна оказалась большой, но народ в ней жил абсолютно дикий. Хотя девчата у них очень симпатичные: губастые такие, а попки… Ну, о девчонках и о том, как я там чуть не женился, как-нибудь потом расскажу. Не последний раз вместе пьём.

– Может, лучше о девчонках-негритосках расскажешь, – живо загудела застольная компания, – а про хренову политику потом?

– Нет, – жёстко заявил Юра, – нет. Я почти тридцать лет молчал. Мне надо во всём признаться. Чтобы камень с души сбросить.

Так вот. Установили мы свои ракеты по направлению полётов ядерных боеголовок во все стороны. Откуда враг ни сунется – сразу по мусалам получит. И начались скучные африканские будни. Днём жарко, ночью холодно. В увольнения не пускают.

А стояли наши ракеты в самом центре огромного тыквенного поля. Вы не поверите: тыквы со всех сторон до самых горизонтов. Куда ни посмотришь – вокруг только красная в трещинах глина и из неё растут тыквы. Африканская тыква не как наша, круглая приплюснутая, а на лампочку-грушу похожа, только огромных размеров.

В их стране тыква – главный продукт питания, сельскохозяйственная монокультура. Как рис у китайцев, даже больше. Они тыкву и сами едят, и коров ею кормят, и посуду из неё делают, и мебель для своих глиняных шалашей, и сувениры на экспорт. Даже на их государственном гербе – по краям две тыквы нарисованы, а по центру – советская ракета СС-20.

У нас, военспецов, тропические пробковые каски были под африканские тыквы закамуфлированы. А ракеты и палатки мы под цвет их красной глины выкрасили и залепили трафаретами лампочковых тыкв.

Страна та, как я уже отметил, была большая, даже на глобусе видно. Но тыквы у них росли только в одном месте, где мы с ракетами стояли. А вокруг – пустыня. Там слонялись и скитались дикие негры в набедренных повязках и с копьями в руках. Короче, жили мы в их тыквенном оазисе.

Ни слонов, ни жирафов мы ни разу не видели. Только – тощих рыжих коров. Рога у тех коров метра по два, даже удивительно, как они их на худых ногах носят. Коров местное население и доит, и ест, и вместо денег использует. Корова у них как главная денежная единица. А тыква – как разменная монета. Корова стоит десять тыкв. А пачка «кэмела» – полтыквы. За десять коров можно жену купить. А за сто коров – депутатское место в их парламенте.

– Ну, это почти как у нас, – зашумели мужики за столом, – мы своё демократическое государство строим по их образцу, африканскому.

– Как я уже сказал, на нашей ракетной точке тоска была зелёная. И на антрацитных красоток тоскливо заглядывались, и выпить очень хотелось. Но тут меня армейская смекалка осенила. Насчёт выпить.

Забрались мы с Серёгой, моим корефаном ещё по учебке, в палатку-пекарню, стибрили куль сахара и коробку дрожжей. Понятно, к Менделееву не ходи, что из этого добра, добавив воду, можно нахимичить. Только где? В казарменной палатке бражку не поставишь – заметят, учуют. Бидонов и баков нет. Да если бы и были, спрятать их в чистом тыквенном поле некуда.

Вот я и придумал свой оригинальный рецепт африканской бражки. Жалко сразу там не запатентовал, сейчас бы в Сочи жил или на Мальдивских островах.

Ночью мы с Серёгой взяли по паре килограммов сахара, пачку дрожжей и, приподняв колючую проволоку, поползли к тыквам. Выбрали две поспелее, срезали им макушки. Потом выгребли изнутри тыкв немного мякоти и засыпали в них сахар и дрожжи. Срезанными крышками-макушками дырки закрыли, а сверху тыквенными листьями замаскировали.

Через пять дней поползли дегустировать. Вот это напиток, скажу я вам! Ядрёный, шипучий, с ароматом сахарной тыквы и медовой груши, только ещё изысканнее – с устойчивым экзотическим послевкусием спелого оранжевого манго. Про фрукт манго мы с Серёгой прочитали в брошюре «Да здравствует 25-е мая – Международный День Освобождения Африки!».

Под утро чуть тёпленькими вернулись и в свои раскладушки попадали. Благо была не наша вахта дежурить. А на зарядку, в условиях сурового тропического климата, ввиду опасности быть укушенными мухами цеце, нас не гоняли. Но мужики-то, соседи по палатке, всё поняли: колитесь, – говорят, – а то вложим. Пришлось рассказать.

Следующей ночью вся палатка дегустировала африканскую бражку – допили остатки из наших заветных тыкв. Ума хватило ещё дюжину «лампочек» зарядить сахаром и дрожжами. Чтобы не влететь перед командирами, стали пить по очереди, группами. Расписание пьянок составили и на видном месте повесили. Бумага называлась: «График-распорядок культурного досуга личного состава энского взвода». Это я такую хохму придумал. А командир части полковник Хрулёв, прослышав о «распорядке», даже похвалил наш взвод и по внутренней радиосвязи призвал все подразделения брать с нас пример. Наш батяня любил, выступая из радиорубки, учить нас премудростям армейской жизни, Уставу гарнизонной службы, а иногда, расчувствовавшись, пел через микрофон любимый романс «Гори, гори, моя звезда» или матерные частушки.

Солдат от солдата шила в вещмешке не утаит. Вскоре во всех палатках висели графики-распорядки. А лазы под колючую проволоку мы облагородили, чтобы в пьяном виде мягким местом не зацепиться и не пораниться. Вся часть регулярно бражничала по строгому скользящему графику. Дежурства на ракетном боевом посту не срывались, даже наоборот, солдаты и сержанты стали ответственнее – за малейший промах виновник лишался увольнительной в самоволку. В результате дисциплинированных пьянок стратегическая оборона центральноафриканского государства становилась всё крепче и надёжнее.

Главным смотрящим за порядком, естественно, выбрали меня. А изобретённый напиток прозвали «бусеевкой». Кстати, технологию вскоре пришлось изменить, поскольку закончились дрожжи и сахар. Я придумал новый рецепт: из уже готовой «бусеевки» зачерпывали ковш напитка и в качестве закваски вливали в свежую тыкву. Брожение возобновлялось, и вкусовые качества продукта почти не страдали.

Как стая прожорливой и хорошо организованной саранчи, мы методично расширяли освоенную территорию, планомерно двигаясь от центра тыквенного поля к его самым дальним окраинам. Причём использованные тыквы мы не выбрасывали, не разбивали, они так и оставались лежать на своих местах. Только это были не массивные, полные спелой мякотью плоды, а их тоненькие скорлупки-оболочки.

А теперь к вопросу о горячих африканских женщинах… Друзья, поделюсь опытом и сердечными тайнами, только при условии, что не расскажете моей благоверной.

– Ты что, Юрий Викторович, – загалдели мы дружными нетрезвыми голосами, – за кого ты нас принимаешь? Ни-ни, никому и никогда!

– Ладно, вам верю! Так вот, взрослые бабы у них совсем не красавицы: губы ниже подбородка, груди ниже пупка. Зато у молоденьких…

Сами знаете, когда выпьешь – на девок тянет. Дело молодое, гормон штаны рвёт. Познакомился я с одной. Тыквенным напитком угостил. Ей и напиток, и моё культурное обхождение понравились. Привела на следующую ночь подруг. Я с друзьями пришёл. Хорошо погуляли. Даже «Миллион алых роз» и «У солдата выходной» научили девчонок петь. Домой под проволоку полезли – еле отбились от чёрных подружек. По-русски лопочут: «Люблю, не уходи!» и следом под колючку ползут. Через неделю в части ни одного солдата-девственника не осталось. Все познали страстную африканскую любовь. Многие даже мечтали остаться в этом раю навсегда и жить с милыми чернушками в шалашах. Не важно, какого цвета кожа у человека. Советские люди не расисты. Белокурая Дездемона негра полюбила. А мы – наоборот.

– Мужики, за дам надо выпить, – зашумела наша подвыпившая компания, – давайте стоя. Мы не расисты. За дам надо пить с левой руки, как гусары. Ну, вздрогнули!

– Вы меня можете спросить: а как же командиры? Неужели они ничего не замечали и не видели? Дело в том, что пили все. Русские люди и в Африке русские. Наши отцы-командиры не были исключением. Младшие офицеры пили с оглядкой на старших. Старшие офицеры выпивали, прячась от младших и от полковника. Только батяня Хрулёв не оглядывался, не прятался, а пил ежед-

невно с утра и… пока лилось в лужёное горло. Конечно, начальство не тыквенное шампанское пило, а колониальный виски и армейский спирт. И насчёт женщин у товарищей офицеров не было проблем. То есть у многих от систематических пьянок желаний вообще не возникало, а к услугам оставшихся были медперсонал госпиталя и бордели в столице страны. Но это до сих пор не только в прежней, но и в нынешней армии считается главной военной тайной, – я вам её разглашать не буду. Про б… – ни слова!

– Мы тоже! – согласился Вовчик Емельянчиков, а Юра продолжил.

– Недолго музыка играла. Всё хорошее когда-нибудь кончается. Закончились и наши тыквы. Прикиньте сами: семьсот человек рядового и сержантского личного состава, плюс у каждого две-три африканские подруги. Плюс длинные языки подружек, разболтавшие тайну о божественном тыквенном напитке на всю страну. В итоге через месяц на главной и единственной бахчевой плантации большого государства не осталось ни одной целой тыковки. Поле от горизонта до горизонта было усеяно пустой тарой из-под «бусеевки», которую не брали ни в одном пункте приёма стеклопосуды. Пришла пора собирать урожай главной продовольственной культуры, а заготавливать в закрома было нечего. Не из чего стало варить тыквенную кашу для народа. Резко сократилось поголовье рыжих коров, лишившихся тыквенного фуража. А для африканской страны коровы и тыквы тогда, как для России сегодня резервный долларовый запас в американских банках.

– Не-е, Викторыч, – возразили из-за стола, – это у них дефолт произошёл, как у нас в девяносто восьмом.

– Вообще-то всякое сравнение хромает. Может, у нас такое ещё только впереди. Начались голодные бунты местного населения. Вражеские голоса во всём обвинили советских военных специалистов, приведших некогда процветающую страну к банкротству.

Представители местных племён, только познавших изысканный вкус «бусеевки», пришли в расположение нашей секретной ракетной части и стали требовать продолжения банкета. Самые умеренные просили хотя бы опохмелить.

Скандал получил громадный международный резонанс. Совет безопасности ООН вынес на внеочередное заседание вопрос о гуманитарной катастрофе в Центральной Африке, виновником которой явился Советский Союз. Мы наложили вето на обсуждение этого вопроса. К удивлению, в Совбезе нас активно поддержал недружественный тогда Китай.

Контрреволюционная ситуация в стране нашего пребывания углублялась и расширялась. Генеральная ассамблея вождей воинственных племён чёрного континента потребовала отставки марионеточного президента людоеда Кингконга Тринадцатого и выдачи советскими войсками младшего сержанта Юрия Бусеева, то есть меня.

При этом вожди спорили, как меня использовать. Было два мнения: геополитическое и гастрономическое, две диаметрально противоположные версии моей дальнейшей судьбы.

По первой версии мне предлагалось стать новым пожизненным президентом под именем Кингконг Четырнадцатый – Красавчик. Вождь каждого племени моей страны обязан был предоставить мне в жёны по одной самой красивой дочери, чтобы я через свой гарем объединил все враждебно живущие меж собой чёрные племена. Это была и очень тонкая международная дипломатия, поскольку одновременно все племена через меня роднились кровными супружескими узами с Большим Братом – Советским Союзом.

По второй версии меня предлагали съесть. Но не просто сожрать в разорённом тыквенном поле, а сделать это с государственными почестями, чтобы освободить дух просветителя страны, подарившего народу рецепт весёлого тыквенного напитка, и вселить его, мой дух, в каждого отведавшего за праздничным столом моей бренной плоти. Самого же меня после съедения обещали объявить Главным Божеством Центральной Африки На Все Времена. Мне второй вариант совсем не понравился. Несмотря на его изотерическое и судьбоносное для страны и для меня значение.

Зашевелились и в советском руководстве. Ястребы из Политбюро предложили всех офицеров нашей части, не выполнивших святой интернациональный долг, посадить на двадцать пять лет, а закопёрщиков пьянок из рядового состава – расстрелять. Но вмешался Юрий Владимирович Андропов. Председатель КГБ рассудил, что это интриги всесильного Щёлокова, что любимец Брежнева в конечном итоге всё свалит на чекистов, якобы не упредивших и не пресекших грандиозную африканскую попойку и моральное разложение советских военспецов.

Андропов резко выступил на Политбюро, пообещал, что, став Генсеком после дорогого и любимого Леонида Ильича, закрутит всем гайки. Сейчас же, во избежание раздувания скандала «Голосом Америки» и Севой Новгородцевым из Би-Би-Си, надо дело замять. В этой связи целесообразно предложить полковнику Хрулёву, командиру части, застрелиться, остальным офицерам добровольно уволиться в запас, а солдат разослать по разным гарнизонам, предварительно взяв с каждого расписку о неразглашении государственной тайны. В случае разглашения расстреливать незамедлительно и без объяснения причин.

Предложение Андропова активно поддержали престарелый Черненко и моложавый Горбачёв. «Молодцы, – похвалил Юрий Владимирович, – вы тоже станете Генсеками». Тогда его пророчеству никто значения не придал.

Маршал Устинов тут же позвонил по «вертушке» полковнику Хрулёву и сообщил: «Есть мнение вам застрелиться».

Полковник добровольно застрелиться согласился, но только при трёх условиях. Первое: ему посмертно присвоят звание дважды Героя Советского Союза с одновременным вручением двух Золотых Звёзд и двух орденов Ленина будущей вдове. Второе: в многотиражной газете «Суворовский натиск» Дальневосточного военного округа должна появиться короткая заметка, сообщающая, что полковник Хрулёв погиб, исполняя интернациональный долг в энском государстве на энском материке. К за-

метке должно быть приложено примечание, что точные координаты гибели героя не указываются из соображений конспиративности и особой значимости выполненного смертельного задания Родины. И третье: как дважды Герой Хрулёв потребовал установить ему бюстовый памятник, но не на родине, в деревне Хрулёвка, а на месте исторического подвига, в тыквенном поле, в самом сердце Центральной Африки.

Условия были приняты.

В тот же день радиостанция Седьмого американского флота через эфир подключилась к радиорубке нашей ракетной части и на чистом русском языке зачитала стенограмму секретного заседания Политбюро ЦК КПСС, того самого, где решалась моя судьба и участь моей гвардейской части.

…Юра замолчал, налил в стакан и не чокаясь выпил.

Кто-то вздохнул за столом:

– Жалко батяню-полковника. Юра, мы его тоже помянем. А ты не бойся, мы за тебя. В обиду не дадим.

– Друзья, – печально улыбнулся Бусеев, – полковник не застрелился. Не от недостатка мужества, а из-за Брежнева. Историческое заседание Политбюро Леонид Ильич проспал, а когда помощники принесли ему на подпись Указ по Хрулёву, горько заплакал. Генеральный секретарь огорчился, что выдающемуся международному борцу товарищу Брежневу в братской Африке до сих пор не установили прижизненного бюста. Ильич упёрся и отказался тиснуть своё резиновое факсимиле на гербовой бумаге Указа. Хрулёв же, с пистолетом у виска ждавший у репродуктора сообщения о своём награждении и увековечивании, пил, пил и допился. В состоянии крайне обострённой белой горячки его спецрейсом отправили в Московский госпиталь имени Бурденко, а оттуда на принудительное лечение в ЛТП Академии Генерального штаба в закрытом городе Верхние Петушки.

В это же самое время после секретных переговоров их Киссинджера и нашего Громыко решено было замять конфликтную тему и на международной арене. С условием, что мы уберём из уже бывшей братской страны свои ракеты, а американцы ввезут туда гуманитарную тыквенную помощь. В качестве бонуса и моральной компенсации нам разрешили приобрести у США миллион тонн канадской пшеницы – для советских колхозов, за валютное золото, и лицензионную копию «Греческой смоковницы» – лично для Галины Леонидовны Брежневой, бесплатно. Вопрос установки в Центральной Африке бронзового бюста Леонида Ильича не вошёл даже в повестку дня этих переговоров.

Брежнев опять так сильно расстроился, что на следующий день помер. А нас всех срочно вывезли в Союз.

Эти подробности я узнал лично от самого Андропова, ставшего Генеральным секретарём партии и руководителем советской Родины. Ночью в тёмной машине меня доставили на подмосковную дачу, ввели в кабинет.

Он сидел в кресле, укрытый клетчатым пледом. Горбатый старик с уставшими глазами большой сторожевой собаки. Очень долго смотрел на меня. Мне показалось, что он вообще меня не видит.

Но тут он заговорил. Стало понятно, что этот человек очень болен, потому что говорил он медленно и с трудом.

– Вот ты какой! – сказал. – Тебя надо было не в ракетную школу посылать, а в диверсионную. А потом в тыл к врагам забросить. Уж ты бы точно подорвал всю обороноспособность НАТО. Молчи и слушай. Я всё вижу и знаю всё и обо всех. Когда же вы за ум возьмётесь? Пьёте и пьёте. Когда напьётесь? Никогда! И мне недолго осталось, и державе нашей. Знаешь, что будет? Соберутся большие му… на большую пьянку в лесную чащу, чтобы подальше от стыда, от людских глаз, и – проср… нашу великую страну. Жалко. Но даже я ничего не могу изменить.

А ты, тёзка, живи. Не хочу ещё один грех на душу брать. Мне скоро перед ними отчитываться, – и показывает пальцем в угол кабинета. А там икона с распятым Христом и портрет Сталина с трубкой.

Он ещё много чего мне говорил, как будто исповедаться хотел. Но я, мужики, не вправе те слова вам передавать.

…Мы все молча выпили, после чего заговорили о футболе, рыбалке, Бермудском треугольнике, о том, кто кого уважает и на чём бы уехать домой, но хорошо бы после того, как отполируем это дело пивом, а рецепт тыквенной бражки надо бы потом опробовать…

Март 2011 г.

От редакции. Принимаясь за чтение книжек, будь то стихи или проза, каждый ждёт пресловутого «удовольствия от текста», только понимает его по-разному. Для одного удовольствие – почерпнуть новые знания и суждения, для другого – отыскать ответы на мучающие вопросы, для третьего – найти подтверждение собственным мыслям, в герое и сюжете узнать себя и свои жизненные перипетии…

А ещё можно получить удовольствие от мастерства рассказчика, от неожиданного пленения текстом. Именно такого рода читательское переживание провоцируют публикуемые здесь рассказы. Незамысловатый сюжет, сдобренный таёжной и «африканской» экзотикой, плюс мягкий юмор и лёгкое перо – вот нехитрый рецепт литературного удовольствия от Александра Герасимова.

Ярослав ТУРОВ

студент факультета международной журналистики МГИМО

Рассказ

ДЕДА ВАНЯ

– Уважаемые пассажиры, осторожно, двери закрываются! Наш поезд следует по маршруту Хабаровск – Вяземский. Следующая станция – Красная речка, – объявил не вполне внятный голос машиниста, и электричка, тяжко вздохнув над нелёгкой судьбой, тронулась в путь.

Хабаровск – славный город. Пожалуй, лучший на Дальнем Востоке. Чем-то напоминает Санкт-Петербург, но расположенный на семи большущих холмах. Аккуратный, выдержанный в стиле умеренной классики с небольшой примесью модерна. Хорошие дороги, плитка на тротуарах, клумбы на каждом шагу, чистота кругом... А какая набережная! А девушки? Красивые девушки улыбаются тебе, даже приветливо машут... Точнее, это одна и та же девушка, только при каждой новой встрече у неё новое платье и новая причёска... но те же ножки спортсменки-бегуньи, та же фигурка – песочные часы... На людей в Хабаровске вообще приятно смотреть – в большинстве своём они молоды и красивы, ведь это город молодёжи. Здесь полно вузов, поэтому со всех углов Дальнего Востока сюда в поисках *корочек* и, возможно, знаний стекаются тысячи мальчиков и девочек. Многие из них тут же влюбляются, чуть погодя заводят семьи, рожают детей... Ни в одном городе я не видел столько счастливых молодых семей с колясками. Только в двух городах России, где я побывал, не ощущается, что страна переживает демографический кризис – в Москве и Хабаровске. В Хабаровске много рожают, а в Москве... там тупо много народу. Ещё в Хабаровске, как мне показалось, чуть меньше пофигизма, чем в других городах. Видно, эманация *пофигень-травы* из песен Шаова сюда ещё не добралась. К примеру, ехал я в автобусе. Прямо передо мной – табличка, крупными буквами: «Распитие спиртных напитков в автобусе строго запрещено!» Тут заходит индивид – как водится, с лампасами то ли от «Найк», то ли от «Адидас». В руке стакан с янтарным напитком. Отхлёбывает. Я бы и внимания не обратил. Какое мне дело? Может, там у него квас или яблочный сок? Но другие пассажиры разбираться не стали и в едином порыве негодования насели на бедолагу. Пришлось тому спешно ретироваться, расплёскивая по пути драгоценные капли. В Благовещенске или в Москве такого не увидишь. В тот момент я подумал, если бы Дальний Восток послал Москву куда подальше, что, несомненно, способствовало бы ему премного к украшению, и образовал республику во главе с Хабаровском, я бы тут жил. Честное слово.

Поезд бежал по стальной колее, за окном тянулись леса и поля нашей необъятной матушки-России. Вот уж действительно подобрали эпитет – необъятная. Просиди хоть вечность, точнее не придумаешь. Примерно год назад Дмитрий Анатольевич устроил саммит в одном из городов Центральной России, на что делегаты из Европы горько жаловались – изверг вы, мол, четыре часа в самолёте томиться заставили. «То ли ещё будет!» – сказал рулевой и назначил следующую встречу во Владивостоке. Что ни говори, а для европейцев мы навсегда останемся дикой Скифией, сказочной Гипербореей. Совсем другое видение мира. Взять хотя бы наиобыденнейшую воду из-под крана – в Германии её берегут, буквально каждую каплю считают, а в Амурской области, которая, кстати, больше Германии на четыре тысячи кв. километров, могут забыть закрыть кран и уйти на работу, затопив при этом к чертям соседей снизу. А потом ругаем друг друга. Они кричат: зажрались; мы в ответ: скупердяи...

Ехали мы с отцом, как водится, на деревню к дедушке. Деревня была Дормидонтовка, а дедушку звали Ваня. Давно, лет десять назад, когда я напоминал одуванчик, поездки, такие, как эта, были для нас чем-то вроде традиции. Из Благовещенска сперва в Хабаровск – там мы жили у папиной сестры Люды. Непременная культурная программа: все музеи и памятники, набережная, потом папа покупал мне книжку в «Книжном мире» рядом с площадью и диск с игрой. Книжку я съедал за один вечер, а потом неделю голодными глазами разглядывал цветастую упаковку игры, ибо ноутбук с собой ещё не таскал и «погамать» было не на чем. Потом Хабаровск оставался позади, и мы ехали в Дормидонтовку (станцию назвали так в честь инженера Дормидонтова, строившего этот участок дороги ещё при Николае II). Здесь почти каждый день мы ходили купаться на Подхорёнок, небольшую речушку, приток Хора, укрывшуюся в зарослях ивняка, парились в бане, так, «чтоб мясо от костей отстало», ели большущие красные клубничины прямо с грядки, папа мастерил мне деревянные мечи и учил кататься на велосипеде... У деда Вани был новенький си-

ний «Урал», несколько великоватый для меня, но годный. Папа сажал меня в седло и бежал сзади, толкая багажник. А один раз вдруг отпустил, и я метров двести по прямой проехал без чьей-либо помощи. Естественно, когда понял, что меня ничто не удерживает, испугался и улетел в канаву. Зато научился кататься. Мне было лет восемь-девять. Неделю прогонял с отцом по плохому дормидонтовскому асфальту, после чего меня вдруг сбил мотоциклист, почему-то решивший, что я уступлю ему дорогу. Я дорогу не уступил, и на этом закончился мой опыт велосипедиста. Заново кататься я научился лет через десять. Думаете, много потерял? Ничуть. Всё удовольствие с лихвой возвратилось, когда я впервые промчал по родному двору. Помните тот свой первый полёт? А я помню.

Ваня встречал нас на станции, опершись на свой старенький велосипед, прослуживший уже не один десяток лет. На лице его играла довольная стариковская улыбка с прищуром. С нашей последней встречи дед, казалось, стал ниже ростом, и я уже возвышался над ним на полголовы. Морщины на его загорелом, словно вытесанном из осины, лице стали ещё глубже. Но рукопожатие огромной, как лопата, покрытой многолетними мозолями крестьянской ладони, увитой лианами вздувшихся вен, осталось стальным. В июне деду исполнилось восемьдесят три.

– Ну, здорово, родня! Давно не виделись!

Родился Ваня 15 июня 1928 года в деревне Верхняя Потка Черновского района Пермской области, которая тогда ещё называлась Молотовской (вплоть до 1956 года, когда к власти пришёл Хрущёв, отстранив Маленкова, Кагановича и Молотова). Родители Вани были крепкие середняки-крестьяне, полностью обеспечивали себя и ни от кого не зависели. Когда деду было три года, семью постигло несчастье: началась коллективизация. Большевики чумой прошлись по деревням, под красным знаменем социализма забирая у крестьян всё, что у них было ценного. У моих предков увели корову – единственную возможность прокормиться. Не зная, как спасти от голодной смерти троих детей – у Вани было две сестры, старшая Зоя и младшая Клава, – мать моего деда сошла с ума. Из-за этого деда Ваня никогда не был коммунистом – за мать он был на красных «крепко злой». Отцу Вани, Василию Степановичу, огромному, богатырского сложения мужику, волей-неволей пришлось вступить в колхоз, где он работал кузнецом, ковал подковы, лемеха для плугов, косы, серпы и прочий инвентарь.

Ваниного деда по отцу звали Степан Терентьевич. Он был хлеборобом. Деда Ваня описывал его как среднего роста крепко сложенного мужчину, тяжко работавшего до самых преклонных лет. Когда Степану Терентьевичу исполнилось семьдесят два – было это в 1935 или 1936 году, – он пошёл жать хлеб в поле, перед этим напившись в погребе ледяного квасу. Под палящим солнцем с ним случился заворот кишок. Мой прапрадед катался по земле от боли. Василий повёз его в больницу за пятьдесят вёрст от деревни, но, увы, медицина тогда была не на высоте, врачи ничего не смогли сделать, и Степан Терентьевич скончался в страшных мучениях. Деда Ваня мало про него рассказывал, упомнил лишь один случай. Както раз они с дедом Степаном шли по полю. Маленький Ваня бежал, нахлобучив на глаза шапку, и не видел ничего перед собой. У Степана за пояс был заткнут небольшой, но «очень вострый» топор. Ваня поскользнулся и напоролся носом прямо на лезвие. Сталь оставила глубокий порез, кончик носа Вани болтался буквально на небольшой ленточке плоти. Уж не знаю как, но нос Ване вылечили. Правда, остался на всю жизнь шрам-насечка, придававший характерному для мужчин Туровых мясистому носу ещё более картофельный вид.

К концу тридцатых годов страшный голод, терзавший Россию, немного отступил. Ваня в это время ходил в школу и помогал семье по хозяйству. Это были самые счастливые годы в его жизни. То было затишье перед бурей. 22 июня 1941-го на нас напали фашисты, и детство Вани кончилось. Ему суждено было окончить всего лишь семь классов, на этом его образование завершилось. Василию Степановичу прислали повестку на фронт. Ваню разбудили рано утром, и отец попросил проводить его до станции. Перед самым расставанием Василий заключил сына в стальные объятья, поцеловал, пообещал писать и уехал. Ваня остался единственным мужчиной в семье. Было ему тринадцать лет. Следующие тяжкие четыре года войны Ваня возил на телеге зерно из колхоза Зяблы-Мостовая в Черновское (60 км) и в Верещагино (80 км). Слова «Всё для фронта, всё для победы» стали смыслом жизни.

От Василия Степановича периодически приходили письма. Он попал на Северный фронт, под Старую Руссу, где велись ожесточённые бои и где русских позже взяли в котёл и разбили. Писал о том, что видел во время наступления разорённые фашистами деревни, где на пепелище дымились лишь обугленные печные трубы да раскачивались на ветру повешенные... Однажды в семью Вани пришло письмо, что Василий Степанович был тяжело ранен в бою и его увезли в госпиталь. Это было последнее, что Ваня слышал об отце. По дороге тот пропал без вести, не осталось ни очевидцев, ни документов – ничего. Всё, что сохранилось как напоминание о моём прадеде, – это строчка «Туров В. С.» на памятнике героям Великой Отечественной при въезде в Дормидонтовку...

За ужином деда Ваня сидел и вспоминал.

– Были в то время в нашем колхозе трое ребят. Все двадцать третьего года рождения, то бишь им, как тебе, – сказал он, глядя на меня из-под низких седых бровей, – к началу войны было по девятнадцать. Вот и представь. Взяли они телегу на троих и поехали к реке рыбу ловить. А немец тогда к самому Сталинграду валил, вот их прямо по дороге и загребли – и на фронт, в самое пекло. Даже домой не дали зайти. И вот они все втроём под Сталинградом и сгинули. Я даже сейчас помню, как их звали... Один – сосед мой, Черепанов Григорий Иванович был, другой сосед чуть подальше жил, Бочкарёв Пётр Моисеевич звали, и третий – Хомяков Дмитрий Ильич. Вот и всё.

– Дай Бог мне такую память в восемьдесят три, – сказал отец, сидевший рядом.

– Вот какое время было, – мрачно кивал дед. – Думаешь, так просто победа досталась, чтобы вам, молодым, сейчас хорошо жилось? Ан нет. Много людей полегло, сгинуло. Страшно.

«Пётр Моисеевич, – думал я, – Дмитрий Ильич... Ярослав Александрович...»

На наш ужин покушались мухи.

– А что было потом? После войны? – спросил я, жалея, что нет газеты.

– А-ась? – переспросил дед. Он был глуховат.

– Что было потом, спрашиваю! – терпеливо прокричал я ему на ухо.

– Потом? Потом опять голод был! Страшное дело. А чего ты хотишь, когда разруха кругом? Работали на колхозе за трудодни, за палочки. Денег не видали, во как. Голодали. До того доходило, что пацанами в поле лазали, колоски с земли собирали и ели, прямо так, с шелухой. Звали меня на тракториста учиться в школу за пятьдесят вёрст от колхоза. Пробыл я там с полгода, потом убёг. Да и все поразбежались – с голодухи какая учёба? В сорок девятом году забрали меня в армию служить на три года. Привезли в Эстонскую ССР на остров Хийумаа, рядом с ним ещё один побольше – Сааремаа, – дед, произнося эти долгие «аа», издавал забавный блеющий звук и ритмично кивал головой. – Там я и присягу принял, и службу нёс – охранял границу. До ефрейтора дослужился.

– Ефрейтор – это, значит, командир отделения?

– Какой там! – махнул рукой Ваня.

– Командир отделения – сержант, – поправил отец. – А ефрейтор... это ефрейтор. Просто порученец. Хороший исполнительный солдат.

– Вот так и служил. Давали нам в месяц жалование – тридцать восемь рублей. Но это совсем недолго было. Обязали нас потом половину довольства государству в долг сдавать. Так и получали – девятнадцать рублей ноль-ноль копеек. А чего ты на эти девятнадцать рублей купишь? Так, побаловаться – сигареты в магазине взять али конфеты какие, леденцы... Я некурящий был, а вот кто курил, те, в основном, на сигареты. Были и такие, кто не половину, а всё жалование государству в долг сдавал. Так и платили, бараны, тридцать восемь рублей коммунистам, а сами без денег ходили. Их сразу, ха-ха, на стеночку, в красный уголок, подпись: «Ими гордится часть!» Они и рады...

Мне в голову неотвратимо лез Оруэлл.

– А что же, деда, отдали вам долг потом коммунисты?

– Ась?

– Долг возвратили вам потом?!!

– Да какой там! – замахал руками-лопатами дед. – Как забрали, так и с концами!

– Незначительную часть долга населению вернули в 1990 году ценными бумагами, – пояснил отец. – А так это был самый настоящий грабёж.

– Дед, а были у вас на службе случаи какие-нибудь интересные?

– А как же? Бы-ыли. Много было. Очень много. Всего и не упомнишь.

– Расскажи.

– А чего рассказывать-то? Вот разве один случай тебе расскажу. Был у нас такой рядовой Носков, уж не припомню, как звали. Я с ним несколько раз в дозоре стоял. Так вот, он среди местного населения эстонку приметил и стал к ней захаживать тайком. Ну, ты сам понимаешь, – дед игриво прищурился, и что-то подсказало мне, что он и сам пару раз того... – А тогда дисциплина у-у какая была. Строгая! Что ты! С женщиной?! Нельзя!!! – и дед так страшно рубанул воздух своей ладонью-лопатой, что мне сразу стало ясно: и правда нельзя. – Солдаты об этом давно прознали, да старшим не говорил никто, фискал не было. А Носков сам дурак оказался, задержался у бабы у той, офицеры: где Носков? Глядь – нет Носкова! Ну, едрить твою в дышло! Проследили и прямо его у бабы на дому и взяли. Ну, естественна, на гауптвахту. Повели в соседнюю часть – километров шесть будет. Приставили двух парнишек к нему. Первый постарше был. Бурят. Ну, в смысле, из Бурятии парень-то был. – Я кивнул. – А второй помладше. Колькой звали. Кольке винтовку со штыком дали, у бурята ППШ был...

– Пистолет-пулемёт Шахова, – вставил папа.

– Какого Шахова?! Шпагина! Пистолет-пулемёт Шпагина. С круглым барабаном такой. Я с ним долго очень ходил, хорошо это оружие знаю. Я вообще хорошо стрелял. На стрельбе мне когда семь патронов давали и три щита ставили – метров двести, я все три поражал и ещё четыре патрона назад возвращал. Во как! А ещё на танке служил недолго – наводчиком был, тоже не промахивался.

– Так что там с Носковым-то было?

– А-ась?

– С Носковым что стало?!!

– А с Носковым во какая штука приключилась... Он в сапоге в кирзовом с собой финку таскал. А никто не знал.

– Подлец... – сказал папа.

– А ему, окромя жалования, ещё из дому деньги от матери приходили, он их вот здесь, в гимнастёрке, держал, – Ваня похлопал себя по груди. – Сорвали с него погоны и повели. Пока шли, он этих двух конвоиров соблазнил выпить в лесочке. А тогда июль был, день ещё такой жаркий, солнце палит. Зашли они по дороге в магазин, купили водочки, закуски – огурки там, помидорки, лучок... И устроились во лесочке, недалеко от дороги.

– Сволочь, – качал головой папа, которому, судя по всему, эта история была знакома.

– Когда поймали парня у бабы его, он-то, бедняга, перепугался, что с ним дальше будет, думал, под суд отправят, и бежать решил. Ну вот, пока пили, Носков сначала бурята ножом заколол, как свинью, а тот как завизжит! Колька перепугался, в лес побежал, а убивец-то его в спину из ППШ тра-та-та-та-та! – дед очень живописно изобразил стрельбу из автомата. – Потом ещё подбежал и, как барану, по горлу ножиком – вжик! – дед ещё живописнее изобразил, как барану режут горло. – Это всё следствие потом выяснило, как он товарищей убивал.

– Подонок, – проговорил отец. – Ну, посидел бы на «губе» дней десять, не расстреляли же бы его...

– Тогда, Саша, советскую власть все ох как боялись. Страшное время было, суровое. Страна в разрухе, расслабляться некогда.

– И что дальше было?

– А дальше он вот что придумал – прострелил себе вот тут мякоть на ноге из автомата, дохромал до местной деревушки и всем сказал, что на них разбойники напали, конвоиров убили, а сам он убёг. В то время же как было? На Украине по лесам эти, бандеры шастали, так вот, в Эстонии тоже свои были. Освободительные силы, лесные братья. По всей стране, по всем республикам страшное сопротивление советской власти было. Не любили коммунистов, ох как не любили! До войны ещё муж сестры моей матери как-то вёз сено на телеге, а телега скрипит противно так. А солидолу нет смазать. А там до этого коровы по дороге прошли, за собой ходили жидким. Вот дядька мой взял, жидким-то колесо смазал, его увидели, спрашивают: «Чегой-то ты, уважаемый, делаешь?» А он им и отвечает: «Какая власть, такая и мазь!» Представляешь? Люди услышали, кто-то съездил в Тоцкое, в сельсовет донесли. Расстреляли моего дядьку, за слова расстреляли. Страшное было время…

– А Носкову что же – поверили?

– Не знаю. Но крестьяне его к нам в часть воротили. Я как щас помню, стоял тогда на вышке в карауле. Гляжу, Носкова ведут, конвоиров нет старых. Он свою историю с разбойниками повторил. Тут приехали из центра офицеры с собаками, показывай, говорят, как всё дело было. Привёл он их на то место, бурят там убитый лежал, а вот Кольки труп пропал. Три дня его потом искали, нашли в километре от этого места. Как он там оказался, чёрт его знает. Провели следственный эксперимент, тут Носков на своём вранье и засыпался. Двадцать пять лет дали, четвертак, то бишь – высшая мера наказания. Смертную казнь после войны ж отменили. Много всего было, ох, много...

Помолчали немного.

– Или вот ещё случай, тоже при мне был, – нарушил молчание дед. – Послали двоих рядовых в ночной дозор, четыре часа то бишь берег патрулировать, с полуночи до четырёх. Обмундирование дали, как полагается, – одному ППШ, другому винтовку со штыком, ракетницу – чтобы сигнал подавать. У одного две гранаты было РГД-3. Ну, они, видимо, утомились, прилегли на бережку да и уснули. Через час будят их майор и лейтенант: вставайте, пошли, мол, с нами. А уснуть в дозоре – это тебе не шуточки. А ну враг как раз границу перейти решил? Вот один из этих дозорных до того суда испугался, что другому говорит: ты, мол, держись от меня подальше, а сам в гранату запал вставил и сам себя подзорвал. Прямо вот так к груди приложил и бах! Нету.

Я сглотнул. Любовь к живописным подробностям деда начала меня настораживать.

– Что делать? Прям тут и зарыли как собаку. Ни памяти о нём, ни весточки родным, ничего. Вот какое суровое время было, – дед поднял деревянный палец к потолку.

– Жизнь человеческая в те годы совсем ничего не стоила, – мрачно кивал отец. – Человек не личностью был, а сошкой мелкою. Разменной монетой. – Потом помолчал немного и добавил: – Порочная система. Порочная...

«Ах, время, советское время... Как вспомнишь – и в сердце тепло! И чешешь задумчиво темя: куда ж это время ушло? Нас утро встречало прохладой, вставала со славой страна... Чего ж нам ещё было надо? Какого, простите, рожна?»

Эти строчки из Шаова давно не дают мне покоя. Прямо в лоб: хорошо было жить при Советском Союзе? Мне этого никогда не узнать – я родился в девяносто втором...

Казалось бы, мне ли задаваться таким вопросом? Учусь в прекрасном вузе, семья зарабатывает столько, чтобы ни в чём не нуждаться, незачем опасаться, что ночью приедет «воронок» и суровые дяди в коже найдут в шкафу Булгакова или Солженицына... Чего же я плачу?

Месяц назад, 12 июня, страна отмечала День России – в этот день была подписана бумага о нашем суверенитете. Как кто-то сказал тогда – «о независимости хрен знает от чего». Действительно, от чего? Мы были вторым центром Вселенной, вторым пупом Земли. Это сейчас в газетах пишут, что мы живём в оккупированной стране... Тогда, 12-го числа, у многих добрых и умных людей были откровенно мрачные лица. Погибла Империя... Ах, вот бы вернуться в Империю Зла, что столько хорошего мне принесла...

Как-то на семинаре по логике преподавательница припомнила слова своей матери: «Если бы не Октябрьская революция, ты бы сейчас пасла гусей, а так ты преподаёшь философию в престижном вузе». С другой стороны, если бы не революция 1991 года, не видать бы мне этого вуза как своих ушей – до этого момента там училась лишь партийная молодёжь... Сказать спасибо Ельцину? А что, и скажу. Спасибо, Ельцин.

– Дед, а как ты к Ельцину относишься? – спросил я Ваню.

– К Ельцину? Хороший был мужик, работящий. Я за него голосовал, – сказал дед и удовлетворённо закивал, словно отдавая этим кивком долг Родине. – Он был первым строителем Свердловской области, первым секретарём Свердловского комитета...

– Ну, это всё понятно, – перебил я. – Почему он тебе нравится? Что лично тебе он сделал хорошего?

– Как что? – деда Ваня искренне удивлялся моим странным вопросам. – Ельцин свободу людям дал! Его и хоронили с такими почестями! Я по телевизору смотрел. Не каждого так хоронят, значит, заслужил человек.

Бороться с его логикой было бессмысленно.

– Хорошо, дед-Вань. Вот ты говоришь, свободу дал. А что такое свобода?

– Как – что?!! – дед аж рот раскрыл. – Неужели ты не понимаешь?! Ты уже столько в Москве учишься – и до сих пор не знаешь, что такое свобода?!

– Свобода – это когда ты можешь делать, что захочешь! Говорить, что хочешь! Критиковать, кого хочешь! Про свободу слова, свободу печати слыхал?

«Что же ты не пожинаешь плоды свободы, Мцыри?» – хотел спросить я, но вместо этого спросил:

– А к чему тебе, дед, свобода печати? Ты что же, фельетоны, сатиру пишешь?

– Ась? Что ты сказал?

– Ничего, Вань. Хорошо курицу прожарил, молодец.

– Да ты ешь, внучок, ешь! – закивал довольный дед. – Небось, дома так не покормят.

Открыл я давеча местный орган общественной мысли, имя ему «Вяземские вести». На первой полосе фотография детей на велосипедах и прогноз погоды. Потом советы по уходу за огородом, обещания повысить пенсии и увеличить материнский капитал, материал про выборы в местной ячейке партии «Единая Россия», где смаковали новомодное словечко «праймериз». Далее колонка происшествий: подвыпивший мужик украл у соседа телегу с бидоном и пропил; по пьяни подрались муж с женой, у мужа два лёгких ножевых ранения, которые сама же жена и обработала до прибытия врача; и, наконец, в состоянии алкогольного опьянения водителем сбит мальчик-велосипедист – отделался лёгким испугом. В конце газеты – небольшая афиша, программа передач, объявления, реклама и прочие кроссворды. Хотел уж было «порадоваться» за процветание свободы слова в Вяземском районе, как вдруг наткнулся на статью некоего товарища А. А. Панченко с греющим душу кухонным заголовком: «Мы все заложники системы». Смысл статьи сводился к тому, что фермер жаловался на отсутствие материальной помощи от государства, обнищание сельскохозяйственного сектора экономики в стране, мол, исконно русский продукт – картошку – и ту уже в Китае закупаем. Речи Путина и Медведева Панченко назвал популистскими и заявил, что на 100 процентов согласен с программой коммунистической партии. При советской власти «столько было денег, что даже не успевали и не могли их вовремя освоить. Сегодня желание освоить присутствует, но нет средств». Что же, выходит, когда деньги были, не было желания? Занятно. Впрочем, это так, к слову. Главное – вот оно! Живое проявление свободы слова, так сказать, на местах! Вот чего народ так желал – чтобы разрешили ругать власть! Теперь-то уж можно всласть накричаться и накритиковаться в газете, никто слова не скажет. Только вот денег теперь нет, пахать не на чем, негде и не для кого – поставщик охотнее закупит китайскую картошку, она, во-первых, дешевле выйдет, во-вторых, её специально помоют, упакуют и сбоку бантиком повяжут. Красота.

И дедушка мой здесь – наинагляднейший пример. Человек имеет семь классов образования, и свобода слова ему – как ректору МГИМО валенки. Но ведь хочется на кухне-то потрындеть! И плевать, что завод, на котором держалась вся Дормидонтовка, после развала Союза приказал долго жить. Плевать, что при Советах в деревне жило три тысячи человек (и население росло!), было два детских сада, куча магазинов, отличная баня, куда даже с соседних деревень попариться приезжали, мост через реку, чтобы люди могли ездить в поле и сажать картошку, а сейчас тут едва наберётся тысяча человек, а всё вышеназванное лежит в руинах. Главное – свобода!

Профессор Преображенский говорил: «Что это такое, ваша разруха? Старуха с клюкой?» Да, это старуха. Я её видел, когда забрёл на завод. Она уродливая и горбатая, у неё гнилые зубы и маленькие маслянистые злобные глазки.

Встретилась она мне, когда я блуждал среди руин главного распилочного комбината. Раньше тут было градообразующее предприятие, дававшее тысячу рабочих мест. Теперь – отличная площадка для съёмок фильмов ужасов. Надо мной, словно зубы дракона, нависали обломки стен. Тут и там курганами высились груды битого красного кирпича. При всём моём богатом воображении я не смог представить, что тут когда-то работали люди. Здесь я и встретил разруху.

– Чего тебе надо? – спросила она.

– Посмотреть...

– Ну, пойдём...

И мы пошли рука об руку.

– А здесь у нас был мост, – показывала разруха на затянутую ряской заводь. – Сейчас от него даже столбов не осталось, всё растащили... А вон там был ещё один заводской цех, там сейчас тоже пустырь... А вот тут, видишь, фундамент остался? Это детский сад... – разруха говорила что-то ещё, но я уже не слушал.

Я думал. Как это было?

В девяносто первом... Завод ещё дышал чёрным дымом, на последнем издыхании грыз могучие корабельные сосны. Каждый день сюда приходили небритые смуглые мужики, надевали комбинезоны, защитные очки и работали – под скрежет и вой пил нажимали кнопки и дёргали рычаги, возили тачками стружку, опилки, чинили станки, грузили лес... А рядом в офисе сидели мужчины без щетины, не такие смуглые и в белых рубашках. Писали отчёты, рассчитывали дебет и кредит. На стене висел портрет Горбачёва, шумно работал вентилятор...

И вдруг – весть. Советской власти больше нет. Союза – тоже. Растерянность. Кто виноват? Что делать?

Не исключено, что поначалу работали. Не из сознательности, а скорее по привычке. Или по инерции – как угодно. Потом внезапно кто-то украл. Этот кто-то воровал и раньше, на это смотрели сквозь пальцы, но теперь, в острый миг безвластия, факт воровства подействовал, как действует на русского человека халява. Позабыв отца и мать, воровать бросились многие. Что сошло одному, позволено всем.

Кто из нас не стоял в очереди? Все стояли. И я стоял. Не помню за чем. За какой-то бумажкой или бесплатным сыром. Помню, как пытался соблюдать очерёдность, быть вежливым. Но когда впереди меня пролез какой-то нахал, от очереди не осталось и следа. Возобладал закон силы. Задние насели на передних, передние рванулись вперёд. Пришлось выживать. Я таки достал тот сыр. Но прежде был вынужден пару раз грубо пих-

нуть кого-то локтём – ей-Богу, не хотел! – выслушать в свой адрес несколько нелицеприятных эпитетов и распороть рубашку по шву. В мире наглецов локти отрастают как-то сами собой.

Та же история была и с заводом. Каждый пилил то, до чего мог дотянуться. Рабочие – инвентарь, сырьё; администрация – бюджет. Когда от завода остался только голый скелет, начали растаскивать само здание. Сначала унесли то, что можно было легко оторвать – трубы, батареи, сантехнику. И если при этом на лицах ещё сохранялся какой-то стыдливый румянец, то потом, когда дошло дело до стен, рушить стали уже открыто и нагло.

Вся наша Россия – как этот завод.

Такова цена, заплаченная народом за то, чтобы товарищ А. А. Панченко мог опубликовать свою гневную статью. Цена свободы.

Пару дней спустя у магазина хозтоваров мы с отцом снова встретили разруху. На этот раз она явилась в виде женщины пятидесяти-шестидесяти лет, толстой, бурой от солнца и безобразной.

– Люди добрые! – затянула она, скаля редкие пеньки подгнивших зубов. – Дайте денег. Ну хоть десять рублей!

Чуть в стороне, присев на корточки и стыдливо пряча глаза, курила её товарка, девушка лет двадцати пяти. По беглому взгляду, брошенному в нашу сторону, я понял, что и она попросила бы, но стесняется. Пока.

– Ну что вам, жалко, что ли?! – не отставала бабища. – Для бедной женщины пожалели, эх вы...

– Ладно-ладно, сейчас, – успокоил её папа. – Ярослав, у тебя есть? У меня только крупные...

Покопавшись в карманах, я выгреб оттуда всю мелочь, что у меня была, и высыпал в раздутую чёрную ладошку. Баба сразу расцвела. На заплывших глазах её проступили слёзы.

– Ой, спасибо вам, сынки! Вот спасибо, вот выручили! Трубы-то с утра горят, а я уж старая стала, не могу так... Дай, паренёк, я тебя поцелую! – и женщина потянулась ко мне, вытягивая серые губы трубочкой.

Я стоял на крыльце, сделал шаг назад, опершись о перила, и едва не упал – перильные доски прогнили в труху и развалились от одного моего прикосновения. Так и не дотянувшись до меня, совсем неожиданно для нас с отцом да и для себя самой, баба разревелась.

– Вы простите меня, старую, – тихонечко завыла она, усевшись прямо на землю и утирая слёзы, – что я к вам, как нищенка последняя... Я запилась, честно сознаюсь. Совсем запилась... Я ведь фельдшерицей раньше была, здесь в амбулатории работала, уколы ставила. Но я запилась... Простите меня.

Товарка бывшей фельдшерицы прятала взгляд. Мы с отцом беспомощно переглянулись.

На обратном пути я всё думал об этой женщине. Как сложилась её судьба, почему она стала такой?

Женщине было лет шестьдесят, не исключено, что и сорок. На её долю не выпало ни ужасов коллективизации, ни страшного голода, ни горьких лет войны. Она родилась в одной из двух сильнейших стран мира во время, когда солнце над Союзом стояло в зените. Как же так вышло, что много лет спустя она сидела на земле, утирая перед первыми встречными слёзы над своей загубленной судьбой?

Допустим, её звали Надежда. Или Вера. Или Любовь. Родилась она здесь же, в Дормидонтовке, когда село ещё только разрасталось, а на горизонте разворачивались панорамы заманчивых перспектив. А может, приехала с семьёй издалека. Мать работала медсестрой в местной амбулатории. А может, и продавщицей в сельмаге. Отец-фронтовик, вернувшись из ада с медалью на груди, устроился на завод столяром. А может, он был главврач районной больницы... Всего этого мне никогда не узнать. Знаю только, что женщина та работала здесь фельдшерицей, ухаживала за больными, уколы ставила... Наверняка была симпатичной полноватой хохотушкой. Жила, работала, а потом вдруг... запилась. Не исключено, что было это уже после развала Союза. Когда погиб завод, когда начало медленно задыхаться село, когда постный вкус безнадёги заполнил всё вокруг, лишив жизнь какого бы то ни было смысла. На что здесь, в Дормидонтовке, можно надеяться?

Так и не найдя ответа, я предложил отцу вернуться в дом деда. Тот уже давно дожидался нас с прогулки.

После службы в армии жизнь потаскала Ваню по самым разным углам Союза – от Краснодарского края до Архангельской области. Был Ваня тогда круглый сирота, свободный, как ветер, и не было у него ничего, кроме золотых работящих рук. На одной из строек, куда дед прибыл по вербовке, познакомился он со своей будущей женой Валентиной. Заработав на стройках денег, вместе они отправились в неизвестность, в Хабаровский край, который приятель деда описал как землю обетованную – дескать, климат хорош, земля тучна, а в реках полным-полно рыбы. Молодые прибыли в село Мариинское на Нижнем Амуре, где за пару лет сумели нажить какое-то хозяйство. Однако в скором времени от обильных дождей случилось невиданное доселе наводнение. Дома были затоплены до самых крыш. Жителям Мариинского пришлось спасаться бегством. Иван Васильевич с женой Валентиной перебрались сюда, в Дормидонтовку, где обзавелись большим домом с немалым земельным участком и родили троих детей: двух девочек – Люду и Нину и мальчика Сашу, их младшего братика – моего отца...

До самой пенсии Ваня работал здесь же, в деревне, плотником. Он прожил добрую, честную жизнь, построив немало домов, посадив не одно дерево и вырастив доброе потомство.

Старость подкралась незаметно. В 2004 году умерла баба Валя. Ваня тогда поехал в Хабаровск к дочери Люде. Его застигла непогода, и он остался ночевать в городе, не предупредив жену. Сердце Валино не выдержало переживаний и остановилось. Ваня остался один. Члены его потеряли былую силу и резвость, а такой широкий до этого мир сузился до пределов небольшого села.

– Раньше я вон как далеко за грибами пешком ходил! – мрачно кивал дед за столом. – А теперь почти никуда не хожу.

– Да, не научили меня, дед, – сказал я. – Ты уж прости. Объясни мне.

– Как ты живёшь тут без нас? – спросил я его.

– Как-как? Вот так и живу. Работы много, расслабляться некогда. Утром встану, завтрак себе сготовлю, поем, косу наточу, пойду косить. Там уже обед пора готовить. Посплю после обеда, в саду поработаю – время к ужину идёт. Потом телевизор посмотрю и спать ложусь. Так и день проходит.

– А зимой что делаешь, когда в саду работы нет?

– Зимой печку топлю, снег лопатой разгребаю – до калитки, до сарая и до уборной. Работы много. Сам ведь знаешь, какие зимой дни короткие. Время, оно быстро идёт. Сам не замечаешь, как год за годом пролетают...

На приглашение приехать погостить Ваня сильно рассердился.

– Ты что?! Они же тут всё растащут! Я их знаю. Одни жулики кругом, хлебом не корми, дай чего-нибудь стащить! – и Ваня принялся за долгую и богатую историю ограблений собственного дома. По его словам, отлучаться из дома более чем на сутки категорически противопоказано, так как о том, что хозяина нет дома, сразу становится известно всем от мала до велика в радиусе десяти километров, и всегда находится кто-то, кому хочется поживиться за чужой счёт.

«По мне, так лучше вырваться отсюда к родне, чем быть пленником четырёх стен», – подумал я, но вслух этого не сказал.

Совсем скоро наступила пора прощаться. Перед отъездом мы с отцом пытались научить Ваню пользоваться мобильным телефоном. Без толку. Корабль прогресса проплыл мимо, оставив моего деда за бортом.

– Не люблю я эти ваши штучки, – морщил низкие густые брови Ваня. – Не про меня это всё. Вы, вон, грамотные, вот и пользуйтесь. Да и слышу я похуже вашего. Бывает, звонит мне кто-то, я трубку снимаю, а что там в телефоне говорят, не разберу совсем...

Делать было нечего, и мы отправились на станцию.

– Теперь уже долго не увидимся, – сокрушался дед. – Опять буду один весь год. Дожидаться смерти буду, – последнее вырвалось у него помимо воли.

– Ну что ты, дед, – постарался подбодрить его я. – Ты у нас вон какой здоровый! Лет до ста ещё жить будешь!

Ваня только рукой махнул. Только потом до меня дошло, что прожить ещё семнадцать лет в одиночестве – страшно.

Послышался гудок – на станцию прибывал поезд «Владивосток – Благовещенск». Мы с дедом обнялись. Я взглянул в мягкое старческое лицо. Увидимся ли ещё?

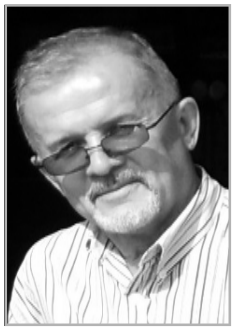
Так вышло, что проститься нам пришлось по разные стороны платформы. Мы с отцом – с одной, Ваня – с другой. Стуча колесами и рыча, поезд отрезал нас друг от друга. Ввалившись с сумками в купе, мы с папой прильнули к окну, надеясь увидеть машущего нам рукой Ваню. Но там никого не было, платформа была пуста. Ваня ушёл. Он не любил сантиментов.

Июль 2011 года
Дормидонтовка – Благовещенск

От редакции. Несмотря на юный возраст, Ярослав Туров в нашем альманахе на положении старожила: нынешняя публикация – третья по счёту. А первая состоялась в 2008 году, он тогда учился в 10-м классе. Каждый его рассказ – и узнаваем, и нов. Общее, повторяющееся – обращённость к современности, к острым социальным темам и конфликтам, категоричность авторских суждений, срывы в публицистику. Традиционно и то, что попадающие в фокус изображения частные случаи и частные судьбы становятся поводом для размышлений о проблемах, которые волнуют всех. Новое – прежде всего характеры, типы персонажей: причём не столько сверстников автора, сколько его «отцов» и «дедов». В обновлённом виде каждый раз предстаёт и автобиографический герой: он взрослеет, становится мудрее вместе с автором. Вызывает уважение, что Я. Туров не замыкается на собственных рефлексиях, проявляет огромный интерес к миру, с большим вниманием вслушивается в то, что пытаются донести представители старших поколений, всматривается в них. И при этом остаётся человеком своего поколения – по-новому осмысливающим и прошлое, и настоящее страны.

Анатолий КАЙДА

член Союза журналистов России



Цикл, к которому относится и рассказ «Белый рояль», совсем не случайно получил название «Город-призрак». Это формула моего личного отношения к тому, что происходило в Харбине и вокруг него в двадцатом столетии. Об этом повесть «Круги рассеяния», рассказ «Серебро везде», пока ещё не законченный рассказ «Собор».

Мало какому из городов на свете выпадало то, что выпало Харбину. Об этом трудно говорить коротко, и я, обратившись к жанровой форме цикла, развёрнуто выразил свои впечатления и ощущения. Но всё равно осталось чувство, что ещё многое не завершено в моей душе.

Рассказ

БЕЛЫЙ РОЯЛЬ
(Из цикла «Город-призрак»)

– Вам понравится, – в хитром прищуре улыбался переводчик Юра, – здесь рядом.

На том же Лэнд Крузере, на котором в полдень нас доставили из Хэйхэ в Харбин, после первого обеда и долгих нудных переговоров, уже в сумерках, мы поехали ужинать. Но не просто ужинать, как предупредили хозяева, а «очень интересно».

Из старого района Даоли, где нас поселили в гостинице «Модерн», мы поднимались куда-то в гору, несколько раз сворачивали. Улицы и дома в то время, на рубеже восьмидесятых-девяностых, освещались слабо, реклама была в основном рисованная, без подсветки. Въехали в какие-то ворота, по виду деревянные, но с аркой. Затем двигались осторожно, мимо приземистых и тесно упакованных хибар. Если здесь кто-то и жил, то както непонятно – не было ни огней, ни человеческих теней.

Остановились у низенького сооружения, похожего на круглую кибитку, только очень большую. На входе – обычные простёганные войлочно-брезентовые завеси, для удержания тепла. Осень, конец октября принесли в Харбин первые холода.

У входа толпились и такие же могучие, как у нас, и поменьше авто. Народ выгружался в основном российский – кто молча, а кто с обычными присказками. Шла первая волна освоенцев разрешённого бизнеса. Кстати, солидная по количеству волна. Это мы поняли, когда проникли в «кибитку».

От неожиданности остановились, но на нас напирали. Шустрый Юра потащил нас вперёд, на ходу разговаривая с встречавшим китайцем. Тот провёл на место. А здесь уже появилась возможность оглядеться.

Мы находились практически наверху огромного амфитеатра. Или показалось, что огромного – из-за сети под куполом, в каждой ячейке которой сияла лампочка. Сеть эта уходила куда-то влево, вправо и вдаль, заливала ярким светом все ярусы, спадающие вниз. Но в самом низу царила тьма, там шла какая-то иная жизнь.

Огляделись. Наше место оказалось похожим на беседку на родной российской даче, только без крыши. Посерёдке – квадратный низкий стол, три стула, а вокруг – оградка, тоже квадратом. Этакий уютный палисадничек для вечернего отдыха после тяпки и знойного дня. Всё это из белого пластика.

И у соседей слева и справа так же. И по всему нашему полукруглому ярусу. Да и на ярусе над нами. И вниз, и вниз, и вниз то же самое – до таинственной тмутаракани.

Переводчик Юра предложил сваливать куртки на маленькую скамейку в углу палисадника и усаживаться за стол. С Юрой я был знаком уже несколько месяцев, он был очень молод, стеснителен, но русский знал хорошо, даже юмор наш принимал и мог ответить. Чувствовалась неплохая гэбистская подготовка. Высокий и худенький, славный юноша, который мог осторожно, наедине, сказать пару слов о своём отношении к событиям шестидесятых годов. Позже, через десять с лишним лет, он будет одним из руководителей китайской строительной фирмы, которая в Благовещенске соорудит много торговых центров и других зданий. Юра станет похожим на толстого китайского мандарина, словно сошедшего со старинной гравюры, написанной тушью. Но с чувством юмора у него останется всё в порядке. В эти же первые харбинские дни он помогал нам на совесть, даже был иногда излишне суетлив. И сейчас он старался, чтобы нам в этот вечер всё нравилось.

Многое было не совсем обычным, не как принято у китайцев. В Хэйхэ доводилось бывать не раз, уже появились стандарты восприятия. Да и обед по приезду в Харбин был по тем же стандартам: медленно пили зелёный чай из маленьких чеплашек; на круглый стол вплывали сначала помидоры, посыпанные сахаром, затем другие блюда; на выбор предлагались вилки или палочки.

Здесь же всё было уже накрыто. И палочки не предлагались – лежали вилки из блестящего белого металла. А стол был накрыт на славу. Всё на больших фарфоровых блюдах: привычная горка крупно нарезанных красных помидоров, засыпанных сахаром, обжаренные рёбрышки в тёмно-рыжем чесночном соусе, нарезанное пластинками мясо и копчёная колбаса с каёмкой из маринованных жёлтых маслят. Каждое блюдо – с пучком петрушки, сельдерея, салата. И был ещё один продукт, в

который в первый харбинский обед сразу влюбился мой круглощёкий сахалинский партнёр – сикунши: крупно порезанные и обжаренные в яйцах помидоры – красное в жёлтом. Серёжа стал облизываться, но я ему показал на помидоры в сахаре – это, мол, сначала.

На столике – квадратном и широком – также стояли две узкогорлые большие бутылки с прозрачным пивом и бутылка, где на белой наклейке танцевали синие русские буквы «Водка».

Ну а в самом центре стола на полметра высилось что-то похожее на свечу из матового стекла.

Вполне домашняя обстановка. И за соседними столиками я заметил то же самое. И гости такие же притихшие, как и мы. Явно ожидалось какое-то действо.

Для многих пребывание в Харбине было наполнено встречами, переговорами, заключением протоколов намерений и прочей лабудой. Был иной стиль питания, были прогулки по старым районам города, где всё дышало прошлым и связывало с теми людьми, нашими по языку, кто и строил город, и уходил сюда от беды. Многие, как мой партнёр, сегодня прорвались за границу впервые. Для них эта поездка, этот фейерверк новых ощущений были как предвестник совершенно иных обстоятельств в собственной жизни. Конечно же, только успешных, только желанных! И загадочное начало сегодняшнего вечера располагало к этому, было продолжением счастливых перемен.

Постепенно все затихали, зал заполнился и всё больше становился похожим на театр с его томительным движением последних секунд перед открытием занавеса.

В этот момент голос из динамиков что-то громко и длинно произнёс по-китайски, а следом кто-то явно русский, также на весь зал:

– Хм-м… Господа, наливайте и закусывайте! С праздником вас дружбы и сотрудничества!

Переводчик Юра, словно под незримую команду, ловко наполнил рюмки водкой и поднял свою:

– Камбэй!

Пили и закусывали, закусывали и пили. По ярусам нарастал гул голосов. Серёжа добрался до сикунши. Переводчик Юра пытался у меня выяснять отношение к переговорам и подальше отодвигал свою рюмку.

Прокашлялся микрофон, и русский громко сказал:

– Господа!.. – и замер.

Зал затих.

– По личной просьбе… хмм!.. всех дорогих и желанных гостей – песня!

Из сгустка темноты, снизу, стала появляться до боли знакомая мелодия, полузабытая, но желанная. Постепенно она наполняла динамики, спрятанные под куполом, и скоро весь зал утонул в мощном звучании рояля. На мгновение рояль замолк, и возник голос – низкий и одновременно с высоким космическим наполнением, и поплыли слова…

Гори, гори, моя звезда,
Гори, звезда приветная,
Ты у меня одна заветная,
Другой не будет никогда…

Верх шатра стал уходить в полусумрак, лампочки едва мерцали. На столах засветились высокие матовые свечи. Темнота внизу стала пропадать, рассеиваться. Постепенно проступили зелёный помост, большой белый рояль и певица в длинном белом платье. И уже звучала другая песня:

Только раз бывает в жизни встреча,
Только раз судьбою рвётся нить…

Это был кошмар! Одна песня, другая… И все – из дальнего, забытого прошлого… Те самые, которые по пьяни ли, на кухне ли, в студенческом ли общежитии тихо напевали мы иногда, не вполне отдавая себе отчёта почему.

Я не знаю зачем,
И кому это нужно,
Кто послал их на смерть
Недрожащей рукой…

Я уже знал, что здесь, в Харбине, есть большое русское кладбище. На нём лежат те, кого вытеснили, изгнали из своей страны.

Принесла случайная молва
Милые, ненужные слова:
Летний Сад, Фонтанка и Нева.
Вы, слова залётные, куда?
Здесь шумят чужие города,
И чужая плещется вода,
И чужая светится звезда.
…Тут живут чужие господа
И чужая радость и беда.
Мы для них чужие навсегда.

Я долго не понимал – почему одна из моих подруг привела меня на похороны своего отца и сказала, что он был очень хороший и умный, но власовец, а потому до смерти прожил один, в маленькой комнатке на окраине Владивостока и на маленькой должности в морском порту.

Белый рояль… Символ чего? Если роскоши, то это тупик, путь к суициду. Или же это символ недостижимого в собственной душе?..

Конечно, эти мысли пришли ко мне много позже. Тогда же, в белой роскоши пластиковой мебели, я был оглоушен и погребён словами и музыкой давно забытых и просто незнакомых песен. И имён.

Я исподтишка оглядывался. Мне казалось, то же самое, что и со мной, произошло со всеми. Лицо моего приятеля Сергея было багровым, из глаз текли слёзы. Он и про сикунши забыл. Соседи из других «палисадничков» также сидели притихшие, сосредоточенные. И меня проняло…

Приеду домой, попытаюсь позвонить друзьям. А их уже нет...

Мой личный телефонный справочник помаленьку превращается в могильник. А я напротив очередной фамилии ставлю крестик. И этих крестиков становится

всё больше. И было, я позвонил своему старшему сыну, а мне ответил по его мобильному телефону следователь по ДТП…

Воздух в шатре, казалось, становился звенящим и упругим, распирающим всё пространство. Вот-вот всё взорвётся, и полетят вверх и в стороны куски белого пластика…

В соседнем «палисаднике», слева, сидели двое «наших» и китаец. Один из россиян был сильно напряжён. Он застыл и мрачно смотрел вниз, на сцену. Почему-то мне он напомнил врубелевского персонажа – чёрной лохматой причёской, смуглым узким лицом. А ещё – казачье-гуранского потомка, из забайкальских. Которые, спасаясь, сёлами и станицами уходили через Амур и Аргунь и оседали на чужой территории. А ещё почему-то он напомнил белобрысого и полуседого поэта и прозаика Арсения Несмелова, умершего в гродековской пересылке. И других – многих и многих…

Китаянка в белом платье раскланялась и ушла, зелёный помост и белый рояль погрузились в полумрак, сеть под куполом вновь засверкала. Из микрофонов уже знакомый голос произнёс:

– Господа, извините, Цин Сяо надо немного отдохнуть. После короткого перерыва мы продолжим.

Выбрались на свежий воздух. У «кибитки» лишь фонарь над входом, а дальше вокруг – тьма. Кучками стояли мужики, светились огоньки сигарет.

– Блин, нам песня строить и жить помогает…

– Ты о чём, Серёга?

– Да я сейчас так же завёлся, как на Высоцком. Он к нам на Сахалин приезжал в семидесятых. Без всяких афиш. А клуб рыбака был забит до упора, на ступеньках сидели. Я билет добывал, как в бою. Он пел три часа без перерыва. Хотелось после его выступления порвать кого-нибудь. Это ж сколько г… наплодилось вокруг? Может, теперь, когда перед нами мир раскрылся, станет проще…

– А причём здесь «песня строить и жить»?..

– Да у нас в России всё под песню. И маршируем, и всякой швали честь отдаём… Но и поднимаемся с Булатом, с Галичем, с Высоцким… Ведь так?.. Страна такая, песенная… А я ведь и другой страны такой не знаю…

– Ладно, завёлся. Ты даже о сикунши забыл, пойдём, выпьем.

В «палисаднике» нас ждала перемена блюд. Пустые блюда унесли, на одном новом высилась гора крупных бело-розовых креветок, на другом в красном соусе дымились паром мелко нарезанные кусочки курятины. И стояли свежие водка с прыгающей надписью, вино в тёмной бутылке и пиво. И даже свежее сикунши было. Всё как на отдыхе после трудового дня на дачном участке... Правда, креветки – это было что-то чужеродное, заморский деликатес от богатого родственника. У нас мороженые креветки появятся в продаже к середине девяностых…

Когда я через полгода вновь попал в Харбин, то попросил, чтобы на ужин нас отвезли в «Белый рояль».

– Нельзя, – в хитром прищуре сказал тот же самый переводчик Юра. – Уже нету.

– Что значит – нету?

– Нету ресторана, поедем в другой.

По пути в «другой» мы всё же подъехали к тому месту, где ещё недавно был «Белый рояль». Ни фанерных лавок, ни большой кибитки не было. Были бульдозеры и экскаваторы, было много китайцев в спецовках и разноцветных пластиковых касках. Шла с большим размахом новая стройка. Уже в новом веке на этом месте будут высотки и улицы в два уровня. И много яркой электрической рекламы.

А для меня до сих пор остаются загадки. И главная – как они так легко нас раскусили: вывернули души песнями? Может, потому, что жили рядом на берегу жёлтой Сунгари полвека в первой половине прошлого столетия? Мы – всегда в открытую, нараспашку. А они – тихие и сосредоточенные. И очень наблюдательные.

От редакции. Проза Анатолия Кайды представляет тот случай, когда её достоинство во многом определяется жанром. Автобиографичность представленного вашему вниманию рассказа подкупает: невыдуманный сюжет, узнаваемые, знакомые многим амурчанам реалии приграничной и заграничной жизни, ностальгия по родине, по прошлому, интонация доверительной беседы – всё это, без сомнения, отзывается в читателе. Нам вновь предоставляется возможность поразмышлять на досуге о «нас» и о «них», но на самом-то деле опять же о нас, только с нового ракурса. А смена точки зрения на предмет, как известно, весьма полезна.

Анатолий ЛОСЕВ

ОШИБКУ НАДО ИСПРАВИТЬ

В первом томе нового, ещё не законченного издания полного собрания сочинений М. Горького напечатано стихотворение «Не браните вы музу мою»[1]. Редакторы тома поместили его в III разделе («Произведения, не публиковавшиеся автором. Незаконченное. Наброски»), рядом с немногими дошедшими до нас стихотворными опытами молодого Горького.

В самом этом факте нет, казалось бы, ничего неожиданного: во-первых, стихотворение давно известно читателям по горьковским сборникам «Библиотеки поэта»; во-вторых, редакторы нового собрания сочинений обещали дать наиболее полный, в сравнении с прежними изданиями, свод художественных произведений М. Горького, в том числе произведений, «увидевших свет после смерти автора»[2] (к ним отнесено, надо полагать, и стихотворение «Не браните вы музу мою»).

Напомним историю стихотворения – вернее, ту часть её, которая прослеживается более или менее явственно. Автограф его, найденный в архиве М. Горького, стал известен вскоре после смерти писателя. Местом первой публикации стихотворения считается книга Н. Пиксанова «Горький-поэт», изданная в Ленинграде в 1940 году[3]. В том же году И. Луппол частично воспроизвёл стихотворение в статье, напечатанной в журнале «Новый мир»[4]. В дальнейшем оно неизменно включалось во все сборники стихотворений Горького, издававшиеся «Библиотекой поэта» (в том числе – в сборник Большой серии «М. Горький и поэты “Знания”»). В литературе о Горьком-поэте ему также «повезло». Кроме Н. Пиксанова и И. Луппола, о нём писали Б. Мейлах, С. Касторский, Б. Бялик – авторы вступительных статей к изданиям «Библиотеки поэта».

Все исследователи и комментаторы, писавшие о стихотворении, почти единодушно относят его к самому раннему, «долитературному» периоду творчества Горького. Несколько иное мнение высказал Н. Пиксанов, датировавший стихотворение приблизительно 1892–1895 годами. Но и он оговаривался, что «некоторая архаичность стилистики, отзывающаяся не то Надсоном, не то Суриковым», даёт право «отодвинуть его (то есть стихотворение. – *А. Л.*) ещё дальше, в раннюю юность поэта»[5]. Все исследователи, начиная с Пиксанова, делали акцент на двух строках из начального четверостишия: «Не минувшему песнь я слагаю, / А грядущему гимны пою». Именно эти строки дали повод называть стихотворение «эстетической декларацией» (выражение С. Касторского), усматривать в нём истоки художественных устремлений молодого Горького.

Авторство Горького никогда и никем не ставилось под сомнение (по крайней мере, печатно) – ни тридцать с лишним лет назад, когда стихотворение стало известно горьковедам, ни теперь, когда оно вошло в собрание сочинений писателя. Единственным фактическим обоснованием авторства была и остаётся принадлежность автографа Горькому. Конечно, нельзя не считаться с автографом как с документом. Но, как справедливо пишет С. Рейсер, «у исследователя не должно быть фетишизированного к нему отношения»[6]. Только строго критическая проверка документа гарантирует от ошибок и недоразумений.

Между прочим, автограф стихотворения, найденный в архиве Горького, не имеет ни даты, ни каких-либо других помет, позволяющих установить время его написания. Происхождение автографа до сих пор остаётся загадкой, что уже само по себе даёт право критически отнестись к выводам текстологов. В первую очередь это касается атрибуции стихотворения.

Стояла ли перед текстологами проблема атрибуции (подчёркиваем: не задача, а именно проблема атрибуции)? Не решаемся отвечать на этот вопрос категорически. Создаётся, однако, впечатление, что текстологи предпочли идти к истине наикратчайшим путём, посчитав факт принадлежности автографа Горькому бесспорным доказательством его авторства. Вдумчивый читатель, даже не очень искушённый в тонкостях текстологии, может задать вопрос: а разве нельзя предположить, что автограф (или то, что принято обозначать этим словом) является горьковс-

[1] *Горький М.* Полн. собр. соч. Художественные произведения: В 25 т. Т. 1. М.: Наука, 1968. С. 434.
[2] Там же. С. 5.
[3] См.: *Пиксанов Н.* Горький-поэт. Л.: Госполитиздат, 1940. С. 51–62.
[4] *Луппол И. К.* Горький-поэт // Новый мир. 1940. № 8. С. 193.
[5] *Пиксанов Н.* Горький-поэт… С. 52. В «Летописи жизни и творчества А. М. Горького» (Горький-поэт, Вып. I. 1868–1907. М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 95) стихотворение датировано 1892–1893 годами, то есть примерно так же, как и в книге Н. Пиксанова.
[6] *Рейсер С. А.* Палеография и текстология нового времени. М.: Просвещение, 1970. С. 217.

кой копией стихотворения, принадлежащего другому автору? Увы, литература о Горьком-поэте, как и примечания к первому тому собрания сочинений, хранят на этот счёт полное молчание – как будто возможность такого предположения совершенно исключается.

Сомнения в достоверности атрибуции, разумеется, ставят под вопрос и датировку стихотворения. Как уже было сказано, исследователи и комментаторы сходятся на том, что оно написано до вступления Горького в литературу (то есть в конце 80-х – начале 90-х годов) или, во всяком случае, в самом начале его писательского пути. Такой вывод мотивируется, в сущности, лишь содержанием стихотворения (в самом деле: как иначе объяснить, что автор его называет себя «самоучкой-поэтом»?). Правда, в примечаниях к стихотворению сказано, что автограф его написан «почерком молодого “Пешкова”», но, как будет видно из дальнейшего, версия о почерке – вторичного происхождения.

Высказанные нами соображения могут показаться априорными. В действительности мы исходили из фактов, которыми на сегодняшний день располагают исследователи. Объективный анализ этих фактов показывает, что для уверенной атрибуции стихотворения не было достаточно оснований.

Дело в том, что стихотворение «Не браните вы музу мою» увидело свет не в 1940 году, как сказано в примечаниях к нему, а гораздо раньше. Впервые оно было опубликовано в 1911 году на страницах выходившей в Архангельске газеты «Северное утро» (№ 80. 27 сентября). И автор его – отнюдь не Горький, а крестьянский поэт-самоучка Иван Игнатьевич Морозов (1883–1942), имя которого, ныне забытое, до революции было известно: он принадлежал к так называемым «писателям из народа». Первые свои стихотворения И. Морозов напечатал ещё в 1902 году, но систематически выступать в печати начал с 1910 года после своего переезда из деревни в Москву. С этого времени его имя всё чаще и чаще появляется на страницах периодических изданий вроде «Доли бедняка», «Балалайки», «Баяна», «Огней», «Народного журнала» и т. п., а также в сборниках произведений «писателей из народа». Продолжительное время Морозов печатался в газете «Северное утро»: только в 1911–1913 годах здесь появилось около восьмидесяти его стихотворений.

Вернёмся, однако, к интересующему нас стихотворению. Во всех горьковских сборниках «Библиотеки поэта», как и в первом томе полного собрания сочинений М. Горького, текст его печатается в следующей редакции:

Не браните вы музу мою,
Я другой и не знал, и не знаю,
Не минувшему песнь я слагаю,
А грядущему гимны пою.

В незатейливой песне моей
Я пою о стремлении к свету,
Отнеситесь по-дружески к ней
И ко мне, самоучке-поэту.

Пусть порой моя песнь прозвучит
Тихой грустью, тоскою глубокой;
Может быть, вашу душу смягчит
Стон и ропот души одинокой.

Не встречайте же музу мою
Невнимательно и безучастно;
В этой жизни, больной и несчастной,
Я грядущему гимны пою.

А вот газетная редакция стихотворения (за подписью «Ив. Морозов»):

Не браните вы музу мою:
Я другой – и не знал, и не знаю…
Не минувшему песни слагаю,
А грядущему гимны пою!..

В незатейливой песне простой
Воспеваю я к свету стремленье,
В ней я жизни пою обновленье, –
Дуновенье весны золотой.

Пусть порой моя песня звучит
Тихой грустью и скорбью глубокой, –
Я не в силах души одинокой
Наболевшие раны лечить!..

Не браните вы музу мою,
Не браните с холодным пристрастьем…
Я грущу над суровым ненастьем,
А грядущему счастью пою[7].

Сличение приведённых текстов показывает, что в данном случае мы имеем дело с двумя редакциями одного и того же стихотворения. Только в «горьковской» редакции стихотворение менее декларативно, а форма его отличается более строгой отделкой.

«Горьковской» редакцией мы называем тот текст стихотворения, который приписывается Горькому. Есть реальные основания предполагать, что стихотворение И. Морозова было отредактировано Горьким, иначе говоря – «горьковская» редакция является таковой в прямом смысле слова. Но речь об этом – впереди.

Любопытнее всего то, что «Не браните вы музу мою» – не единственное стихотворение И. Морозова, которое приписывается Горькому. Рядом с ним в первом томе полного собрания сочинений Горького напечатаны ещё три стихотворения: «Я плыву, за мною следом», «Тому на свете тяжело» и «Звук её, ласкающий и милый». Первые два уже известны читателям по сборникам «Библиотеки поэта», третье же, как сказано в примечаниях, публикуется впервые (кстати, в примечаниях оно почему-то названо «черновым наброском»).

В литературе о Горьком-поэте стихотворения «Я плыву, за мною следом» и «Тому на свете тяжело» (особенно первое) не раз подвергались детальному разбору, причём авторство Горького также не ставилось под сомнение. Между тем автор их – не Горький, а опять-таки И. Морозов!

Стихотворение «Я плыву, за мною следом» – со времени публикации его в книге Н. Пиксанова – считается одним из образцов юношеской лирики Горького. В действительности «горьковский» текст представляет собой не что иное, как сокращённую редакцию стихотворения

[7] Северное утро. 1911. № 80. 27 сентября. В этом виде стихотворение было перепечатано некоторыми провинциальными газетами (см., например: Амурский листок. 1911. № 1009. 1 ноября).

И. Морозова «Пловец», впервые напечатанного за подписью автора в уже упоминавшейся газете «Северное утро» (1912. № 148. 3 июля). Вот текст этого стихотворения в газетной редакции:

Смело я пустился в море,
И по гребням серых волн
Разгулялся на просторе
В бурном море углый чёлн.

Я плыву, за мною следом
С шумом бросились валы…
Мне ни путь морской не ведом,
Ни подводные скалы!..

Я плыву с глубокой верой,
Что победно из-за туч
Заблестит за далью серой
Солнца радостного луч…

Пусть на небе ночь сгустилась,
Мрак зловещий даль покрыл,
Пусть ты, море, расходилось,
Ветер яростно завыл, –

Не грозите мне бедою!
Море, – гнев ты свой смири, –
Я уж сердцем и душою
Чую проблески зари!

Для сравнения приводим «горьковскую» редакцию стихотворения:

Я плыву, за мною следом
Грозно пенятся валы.
Путь морской душе неведом,
Даль – закрыта тогой мглы.

Но плыву с глубокой верой,
Что победно из-за туч
Заблестит над далью серой
Солнца радостного луч.

Пусть волна грозит бедою,
Море, гнев свой усмири!
Я отважною душою
Чую проблески зари!

Нет сомнения в том, что газетный текст является первичным, а «горьковский» – вторичным; он отличается не только большей лаконичностью, но и более совершенной отделкой строк.

Стихотворение «Тому на свете тяжело» вошло в обиход горьковедения в 1940 году, после публикации его в статье И. Луппола[8]. Но приписываемый Горькому текст опять-таки принадлежит И. Морозову. За его подписью стихотворение было напечатано в журнале «Балалайка» в 1910 году.

Приводим текст стихотворения в журнальной редакции:

Тому на свете тяжело,
Кто сердце чуткое имеет,
Кто пред собою видит зло,
Но правды высказать не смеет;
Кто в омут бедствий погружён,
Кто неразумною толпою
Невежд лукавых окружён,
Невежд с их совестью слепою;
Кто одинок со злом в борьбе,
Кто на привычный клич могучий
Не слышит отклика себе,
Вокруг него – простор дремучий;
И грустен в мире кто живёт,
В толпе, где правду презирают,
Где звукам сердца не внимают,
Когда он песню запоёт[9].

В первом томе полного собрания сочинения М. Горького стихотворение напечатано в таком виде:

Тому на свете тяжело,
Кто сердце чуткое имеет,
Кто всюду видит ложь и зло,
Но правды высказать не смеет;
Кто в омут бедствий погружён
И неразумною толпою
Невежд лукавых окружён –
Невежд, с их совестью слепою;
Кто в мире одинок живёт
И видит – правду презирают
И крику правды не внимают,
Когда он песню запоёт.

Возникает вопрос: как стихотворения поэта-самоучки могли попасть к Горькому? Изученные нами материалы – печатные и архивные – не позволяют ответить на этот вопрос со всей определённостью. Приведём лишь некоторые факты, в известной мере приближающие нас к разрешению загадки.

Из биографии И. Морозова известно, что в марте 1911 года он, по совету друзей, послал Горькому на Капри тетрадь своих стихотворений. «Знаю Вас, – писал Морозов, – как отзывчивого русского писателя, почему и посылаю Вам на отзыв свои стихотворения» (письмо от 2 марта 1911 года)[10]. Прочитав стихи, Горький ответил их автору письмом, в котором, между прочим, советовал ему не торопиться с напечатанием своих поэтических опытов: «Для самоучки стихи Ваши хороши, а печатать их не надо»[11]. По-видимому, имя Морозова Горькому ни о чём не говорило: стихи поэта печатались либо в провинциальных газетах («Рязанский листок», «Рязанское утро»), либо в малоизвестных изданиях, в которых сотрудничали «писатели из народа». Только этим можно объяснить совет Горького – по отношению к Морозову несколько запоздалый (если учесть, что поэт уже около десяти лет выступал в печати).

В ноябре 1911 года Морозов написал второе письмо Горькому[12], приложив к нему ещё семь своих стихотворений. В письме названо лишь одно из них – «Орёл», которое

[8] Новый мир. 1940. № 8. С. 194. Любопытно, что, назвав стихотворение неоригинальным, И. Луппол в то же время нашёл в нём нечто «специфически горьковское» – то, что Горький «развивал на протяжении многих лет в своих произведениях».

[9] Балалайка. 1910. № 15. С. 2.

[10] *М. Горький.* Материалы и исследования. Т. 1 / Под ред. В. А. Десницкого. Л.: Изд-во АН СССР, 1934. С. 291.

[11] Там же. С. 292.

[12] Там же. С. 293 (дата письма – 14 ноября 1911 года).

автор хотел увидеть напечатанным в «солидном» журнале (имелся в виду «Современный мир») с посвящением Горькому. Как назывались остальные шесть стихотворений и были ли среди них интересующие нас, не известно. Известно только, что история заочного знакомства поэта-самоучки с Горьким (первая их встреча, по свидетельству И. Морозова, состоялась лишь в 1916 году) на этом не кончается. В воспоминаниях о Горьком Морозов писал, что получил от него ещё одно письмо[13]. М. Горький содействовал изданию первого сборника стихотворений И. Морозова «Разрыв-трава», написав предисловие к нему[14].

Из сказанного можно с большой долей уверенности заключить, что стихотворения, о которых говорилось выше («Не браните вы музу мою», «Я плыву, за мною следом» и «Тому на свете тяжело»), попали к Горькому никак не ранее марта 1911 года. О том, что до этого времени Морозов не имел связи с Горьким – ни прямой, ни через посредников, свидетельствует не только их переписка, но и позднейшие воспоминания самого Морозова. Следовательно, горьковские автографы стихотворений – строго говоря, не автографы, а копии или списки – также появились на свет не ранее марта 1911 года (*terminus post quem*). Что касается второй крайней даты (*terminus ante quem*), то о ней, к сожалению, можно говорить пока лишь предположительно.

Есть, однако, ещё одно обстоятельство, на которое хотелось бы обратить внимание.

В первом томе нового собрания сочинений М. Горького, рядом с «Не браните вы музу мою», «Я плыву, за мною следом» и «Тому на свете тяжело», напечатано уже упоминавшееся нами стихотворение «Звук её, ласкающий и милый». Ни в одно из прежних изданий стихотворений Горького оно не включалось. В примечаниях читаем, что автографы всех четырёх стихотворений написаны на двух листках из блокнота, одинаковыми чернилами и одинаковым почерком (автор примечаний называет его «почерком молодого Пешкова»). Стихотворения, кроме того, имеют общую нумерацию: каждое обозначено арабской цифрой, только «Не браните вы музу мою», первое в этом ряду, не имеет порядкового номера. Последнее обстоятельство, вместе с фактами, изложенными выше, заставляет предположить, что перед нами подборка стихотворений одного автора. Кстати, стилистика и мотивы стихотворения «Звук её, ласкающий и милый» близки другим стихотворениям И. Морозова 1910-х годов.

К сожалению, нам не удалось найти авторскую публикацию стихотворения «Звук её, ласкающий и милый», как это сделано в отношении трёх других стихотворений. В автобиографиях И. Морозова, а также в его письмах разным лицам (например, А. Яцимирскому, П. Заволокину и др.)[15] даётся перечень органов печати, где публиковались его стихотворения. В подавляющем большинстве это малоизвестные издания, частью затерявшиеся или даже вовсе утраченные. К тому же нет абсолютной уверенности в том, что стихотворение было когда-либо напечатано автором.

Итак, горьковские списки (или копии) стихотворений И. Морозова появились на свет не ранее первой половины 1910-х годов. И версия о почерке «молодого Пешкова» возникла, по-видимому, как дополнительный аргумент в пользу датировки стихотворений, принятой большинством исследователей[16].

Остаётся нерешённым вопрос: с какой целью Горьким были переписаны стихи поэта-самоучки? Ответ на него позволил бы дать точную датировку горьковских списков и таким образом окончательно прояснить обстоятельства, породившие атрибуционную ошибку. Нельзя делать выводы, основываясь на одних только догадках: здесь нужны точные факты. Напомним лишь, что в письме Горького к И. Морозову, благожелательном по тону, содержался довольно суровый отзыв о стихах поэта: «хотя мысли у Вас хорошие, но одеты они Вами в старые заношенные слова»[17]. Как видим, Горький отнюдь не переоценивал скромных опытов И. Морозова. Вряд ли он стал бы переписывать незатейливые, во многом наивные стихи самоучки, если бы не было практической надобности. Последнее соображение позволяет предположить, что стихотворения были отобраны Горьким для какого-либо печатного издания, которое должно было выйти под его редакторством, и после значительной правки переписаны им (может быть, потому, что правка сделала авторскую рукопись неудобочитаемой).

Чтобы проверить это предположение, необходимо тщательно изучить архивные материалы, в первую очередь – материалы, относящиеся к изданию первого и второго «Сборника пролетарских писателей» и редакционной работе Горького над ними. Не исключено, что стихотворения И. Морозова, о которых в данном случае идёт речь, предназначались для одного из этих сборников, были отредактированы Горьким, но по каким-то причинам не были напечатаны (впрочем, отнюдь не исключается возможность иного решения вопроса).

Повторяем: нельзя делать выводы, основываясь на одних только догадках (какими бы правдоподобными они ни казались).

Пока же надо исправить ошибку, которая тридцать с лишним лет была источником многих недоразумений.

---

[13] ЦГАЛИ, ф. 140, оп. 1, ед. хр. 108, л. 1–2 (воспоминания И. Морозова о встречах с Горьким – в машинописи).

[14] См.: *Горький М.* Собр. соч.: В 30 т. Т. 24. М.: Госполитиздат, 1953. С. 163–167. Сборник «Разрыв-трава» датируется 1914 годом, но фактически вышел в 1917 году (издание задержалось «по обстоятельствам военного времени»). Предисловие к сборнику написано Горьким в 1913 году.

[15] См., например, автобиографии Морозова, написанные им для П. Я. Заволокина (1919) и Е. Ф. Никитиной (конец 20-х годов). Рукописи их хранятся в ЦГАЛИ (первая – ф. 1068, оп. 1, ед. хр. 103, вторая – ф. 341, оп. 1, ед. хр. 279, л. 18). Перечень изданий, в которых печатались стихи Морозова, см. в его письмах А. И. Яцимирскому (28 августа 1910 года) и П. Я. Заволокину (16 марта 1919 года), хранящихся в ЦГАЛИ.

[16] О почерке «раннего Горького» писал ещё Н. Пиксанов («Горький-поэт», с. 51). Можно лишь удивляться тому, что эта версия, которую, казалось бы, нетрудно опровергнуть путём графического анализа, держалась три с лишним десятилетия.

[17] *М. Горький.* Материалы и исследования. Т. 1 / Под ред. В. А. Десницкого. Л.: Изд-во АН СССР, 1934. С. 292.

Александр УРМАНОВ

О ТОМ, КАК МАЛЕНЬКАЯ ТЕКСТОЛОГИЧЕСКАЯ ОШИБКА ВЫЗВАЛА БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В УЧЁНЫХ КРУГАХ

(Необходимые пояснения и дополнения к давней статье А. В. Лосева)[1]

Впервые об этой удивительной истории я услышал много лет назад – в сентябре 1974 года, который сейчас, с большой временной дистанции, видится в дымке. Отчасти, наверное, потому, что тогда, только-только став студентом отделения русского языка и литературы БГПИ, я ещё пребывал в состоянии лёгкой эйфории. Впрочем, праздничное головокружение продолжалось недолго, совсем скоро нас так основательно загрузили учебными заданиями, что на ум всё чаще начали приходить нехрестоматийные строчки певца народной скорби и печали Некрасова: «Праздник жизни – молодости годы – я убил под тяжестью труда...» И острота ощущений вскоре тоже пошла на убыль. Но тогда, в самые первые студенческие недели, многое было новым, ярким, а потому впечатывалось в память.

Благодаря прежде всего старшекурсникам, мы уже имели представление о ведущих преподавателях. Наслышаны были и о Лосеве, о его потрясающей эрудиции, о том, что это настоящий учёный.

И вот первая его лекция по введению в литературоведение. Вместительная 340-я аудитория заполнена почти под завязку: нас, первокурсников, не в пример сегодняшним бюджетным наборам, за восемьдесят: три группы по 25 полноценных студентов и ещё почти десяток «кандидатов», у которых есть право в случае успешной сдачи сессии заполнять освобождающиеся места.

Тема вводной лекции как будто бы не обещает ничего яркого: цель, задачи, содержание курса, основные и вспомогательные литературоведческие дисциплины. Анатолий Васильевич за кафедрой сродни дисциплине и теме: сух, академичен, обстоятелен. Обликом, манерами, речью, действительно, вылитый учёный, именно таким я и рисовал в своём воображении образ вузовского преподавателя. Размеренно, но без намёка на «разжёвывание» или уже знакомую по лекциям некоторых других преподавателей «диктовку», как будто бы без малейшего напряжения озвучивает одну сложную мысль за другой. Все формулировки как из добротного учебника – идеально выстроенные, выверенные, ни единого выпадающего из контекста, неорганичного или необязательного слова. Рука моя быстро деревенеет, ибо не привыкла в таком темпе записывать. Голова пухнет – и от обилия терминов, и от объёма «сухой» теории, которую нужно на лету схватить, в самых общих чертах понять и в препарированном, сокращённом виде мгновенно передать на кончик шариковой ручки. Но лектору, похоже, дела нет до моих проблем, до того, успеваю ли я записывать. Пройдёт немного времени, и я пойму: в такой манере не было и тени желания «поумничать», «покрасоваться» перед студентами, показав свою «учёность», никакого высоколобого снобизма. В нашем лице Анатолий Васильевич предполагал людей, сделавших сознательный выбор, испытывающих такой же профессиональный интерес к филологии, как и он. Для нас, первокурсников, в такой академичной форме подачи материала была несомненная польза. Ибо, с первой лекции задавая высокий теоретический уровень, не делая никаких скидок, лектор тем самым как бы посылал аудитории важный сигнал: «Вы поступили в вуз, ликбезом с вами никто заниматься не будет; хотите понимать язык высокой науки – усваивайте необходимый понятийный аппарат, учите терминологию. Не успеваете за мыслью преподавателя, чего-то недопонимаете на занятиях – овладевайте материалом самостоятельно, читайте специальную литературу».

Ещё одной «фирменной» особенностью лекций Лосева было богатое и разнообразное иллюстрирование озвучиваемых теоретических постулатов, обращение к широчайшему историческому, общекультурному, литературному контексту. Иногда он увлекался, и его «заносило» очень далеко, но потом, спохватившись, он словно одёргивал себя, с видимой неохотой возвращаясь к азам, которые, в соответствии с требованиями учебной программы, нужно было излагать студентам. Наверняка и на той первой лекции он приводил массу интереснейших примеров, много цитировал. Но, увы, как ни понукаю сейчас свою память, она не отзывается. Может быть, тогда сработал стереотип: зачем долго удерживать то, что в принципе можно почерпнуть в книгах, учебниках? Но вероятнее всего другое объяснение: то, что любимый Лосевым поэт называл «решётками памяти», скорее всего, удержало большую часть примеров, но не в жёсткой привязке к той первой лекции, просто пополнив наш культурный багаж.

А вот заключительная часть лекции и сейчас вспоминается отчётливо, словно я слушал её совсем недавно. Лосев рассказывал о текстологии – одной из литературоведческих дисциплин, занимающейся, в том числе, проблемами атрибуции. Но пример привёл не «классический», не «типовой», а из собственной научной практики. И был он в этот момент более эмоционален, чем обычно, даже, пожалуй, чуточку взволнован, больше и энергичней жестикулировал. Много лет спустя, в начале двухтысячных, разбирая его архив, впервые прочитав его статью «Ошибку надо исправить», я понял, что А. В. на лекции в сжатом виде изложил нам часть её содержания – историю своего открытия, не особенно заостряя внимание на реакции официальной советской науки. То есть

[1] *Публикация подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Литературное краеведение: создание фундаментального историко-литературного труда – Энциклопедии литературной жизни Приамурья XIX–XXI вв.», проект № 11-04-00087а.*

нам он тогда показал преимущественно верхнюю часть айсберга.

В лекции прозвучало и то, что в статью не попало. Так, например, А. В. рассказал нам, как состоялось открытие, точнее, с чего всё началось. Дело было так. Он просматривал комплект газеты «Амурский листок» за 1911 год, как всегда, делая пространные выписки, прежде всего копируя встречающиеся художественные произведения амурских авторов (нелишне заметить, что таким образом Лосев проработал практически всю найденную им в разных архивах и библиотеках периодику Сибири и Дальнего Востока). И вот в одном из номеров газеты он наткнулся на неизвестное ему стихотворение «Не браните вы музу мою…» за подписью «Ив. Морозов». И хотя Лосев сразу понял, что Ив. Морозов – это малоизвестный крестьянский поэт Иван Игнатьевич Морозов, не имевший никакого отношения к Приамурью, хотя догадался, что стихотворение, скорее всего, просто перепечатано из какого-то столичного периодического издания, текст он «на всякий случай» переписал. И забыл… Никакого повода вспоминать переписанное стихотворение не было.

Прошло несколько лет. И вот в конце 60-х началось издание Полного собрания сочинений Горького. Когда из печати вышел первый том и А. В. стал его просматривать, в третьем разделе, «Произведения, не публиковавшиеся автором. Незаконченное. Наброски», он сразу обратил внимание на стихотворение, начинавшееся строчкой «Не браните вы музу мою». Как он объяснил нам, «показалось, что где-то я уже это стихотворение встречал, причём не в связи с Горьким. Но где именно, вспомнил не сразу». Вскоре его осенило: да это же то самое стихотворение, которое он когда-то переписал из «Амурского листка»…

С этого всё и началось. А дальше последовала долгая, растянувшаяся на много месяцев, кропотливая исследовательская работа, потребовавшая обращения к архивным источникам, к редчайшим периодическим изданиям.

В 1980 году, когда я получил приглашение работать на кафедре, мне посчастливилось вести за Анатолием Васильевичем практические занятия по советской литературе. Иногда в разговорах он в той или иной связи касался данного сюжета, приводил какие-то подробности. Помню, что, упоминая о некоторых известных литературоведах, так или иначе причастных к этой истории, он говорил о них с лёгкой презрительно-ироничной усмешкой.

Чем она была вызвана, мне стало более понятно много позже, когда я разбирал часть архива Лосева, переданного на кафедру его сыном Владимиром. Причём подоплёка, тайные пружины, сам сюжет этой интриги открылись не сразу. Общая же картина сложилась совсем недавно, во время подготовки к печати избранных трудов Лосева[2]. Только тогда мне удалось найти некоторые письма, пролившие свет на важные обстоятельства, о которых я прежде и не подозревал. Но обо всём по порядку.

Обнаружив в первом томе полного собрания сочинений М. Горького атрибуционную ошибку и выявив в результате проведённого исследования обстоятельства и причины, приведшие к ней, А. В. Лосев вовсе не собирался «уличать» в некомпетентности редакторов Полного собрания сочинений (ПСС) и отечественных горьковедов. Изложив суть своего открытия, он отправил статью в журнал «Вопросы литературы», руководствуясь благородной целью – помочь установить истину, исправить, как он писал, «ошибку, которая тридцать с лишним лет была источником многих недоразумений».

Статья «Ошибку надо исправить» в нашем альманахе печатается по машинописной рукописи, найденной в архиве А. В. Лосева. Рукопись не имеет авторской датировки, но нетрудно определить, что написана она в период между сентябрём 1971 и мартом 1972 (чуть ниже станет понятно – почему).

Кроме неё, в архиве хранится машинописная рукопись в двух экземплярах (с авторскими пометками от руки: «1-й экз.», «3-й экз.»), озаглавленная «М. Горький или И. Морозов?», которая является ранней редакцией данной работы. Она тоже предназначалась для публикации в «Вопросах литературы», но была редколлегией отклонена – об этом можно судить по публикующемуся ниже письму О. Смолы. На последнем листе рукописи с пометкой «3-й экз.» есть подпись автора и выведенная его рукой дата: «Май 1971 г.».

В архиве учёного обнаружено и упомянутое выше письмо сотрудника редакции «Вопросов литературы» с обоснованием отказа в публикации статьи «М. Горький или И. Морозов?». Текст письма отпечатан на официальном бланке журнала.

27 сентября 1971 г.

Уважаемый Анатолий Васильевич,
в принципе Ваша статья может быть напечатана, если учтёте однако наши пожелания.

Мне кажется, надо убрать из статьи разного рода полемические узоры, уколы и придирки – подчас они вытесняют главное. Пишите спокойней. Не следует мельчить работу неуважением и уничижением своих предшественников[3].

Не все Ваши аргументы выдерживают проверку. Сопоставление текстов стихотворений «Не браните…» и «Тому на свете…» с их «морозовскими» вариантами проведено точно. Но вывод едва ли бесспорный. Очевидно, это не просто ранний и более поздний варианты стихотворений одного авто-

[2] *Лосев А. В.* Избранные труды по литературному краеведению Приамурья / Составление, редактирование, вступительная статья, примечания А. В. Урманова. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2011. 348 с.

[3] Это утверждение нельзя признать справедливым: никакого уничижения предшественников, неуважения к ним, уколов, придирок в их адрес в статье «М. Горький или И. Морозов?» на самом деле нет. Полемика в работе есть, но вполне корректная. И мотивированная, ибо как обойтись без «полемических узоров» (спасибо О. Смоле за невольный комплимент), если грубую ошибку сотворили, более трёх десятилетий тиражировали, своим авторитетом подкрепляли не какие-нибудь аспиранты, не дилетанты от науки, а маститые учёные, ведущие советские исследователи творчества Горького. Почему же они должны быть закрыты от критики, почему разбор их ошибок воспринимается редактором журнала как нечто совершенно недопустимое, оскорбительное по отношению к ним?

ра. Поздние варианты стихотворений возникли в результате редактирования другого автора. Обратите внимание на то, что в стихотворении «Не браните…» – в его позднейшем варианте, т. е. обработанном Горьким, содержится новый мотив. Случайно ли в нём говорится о поэте-самоучке? Не привнёс ли Горький в стихотворение своё отношение к его автору?

Опрометчиво Вы ставите вопрос о почерке Горького. Автографы являются несомненно горьковскими (это мы проверили в Институте мировой литературы им. Горького).

Из сути Вами открытых фактов представляется наиболее конструктивным аспект «Горький и Морозов», а не «Горький или Морозов».

Если Вы согласны с нашими замечаниями, переделайте статью и пришлите.

С уважением, редактор О. Смола.

Очевидно, откликаясь на предложение «переделать статью» в соответствии с редакционными замечаниями, А. В. Лосев и подготовил вторую, смягчённую редакцию, освобождённую от ряда полемических суждений автора и от части приводимых им прежде цитат из работ видных советских горьковедов. Сменилось и название: с «М. Горький или И. Морозов?» на «Ошибку надо исправить».

Однако и эта редакция, в которой были учтены практически все замечания журнала, «Вопросами литературы» была забракована. Причём в более категоричной форме – теперь даже без намёка, что публикация возможна при условии внесения автором ещё каких-то поправок. О причине перемены настроений в редакции догадаться нетрудно: со статьёй ознакомились влиятельные учёные-горьковеды из ИМЛИ, в том числе А. И. Овчаренко, являвшийся к тому же заместителем главного редактора Полного собрания сочинений Горького – то есть человек, несущий основную ответственность за текстологические ошибки в издании. Статью Лосева отвергли и потому, видимо, что не хотели открыто признавать промах известных учёных (в состав редакционной коллегии издания входил цвет отечественного литературоведения: А. И. Метченко, А. И. Овчаренко, Б. Л. Сучков, Е. Б. Тагер, М. Б. Храпченко, В. Р. Щербина), и потому, что боялись, наверное, умалить авторитет «основоположника литературы социалистического реализма». Желание редколлегии ПСС Горького сохранить таким сомнительным способом «честь мундира» и предопределило всё дальнейшее…

Не так давно в мои руки попали два явно скоординированных письма – из ИМЛИ и «Вопросов литературы» (оба на соответствующих официальных бланках). Привожу их целиком и с попутными комментариями.

9 февраля 1972 г.

ДИРЕКТОРУ ИНСТИТУТА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН СССР ТОВ. СУЧКОВУ Б. Л.[4]

КОПИИ: 1) РЕДАКЦИИ «ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ»[5]
2) ДОЦЕНТУ А. ЛОСЕВУ

Как я уже сообщал Вам несколько месяцев тому назад, случай ошибочного включения в Полное собрание сочинений М. Горького стихотворений, не принадлежавших ему, обсуждался всесторонне на заседании сектора. Было установлено, что редакторы издания ещё при подготовке первого тома к набору поставили перед текстологами задачу – объяснить, почему эти стихотворения, приписываемые раннему Горькому, написаны почерком Горького 1910 года и на бумаге каприйского периода. Иначе говоря, перед текстологами поставили проблему атрибуции. Решена же она была неправильно. Текстологи поддались, во-первых, гипнозу почерка Горького (к тому же писатель в зрелые годы нередко вспоминал свои ранние стихотворные произведения и переписывал их: так было с поэмой «Девушка и смерть», с «Балладой о графине Эллен де Курси»), во-вторых, авторитету крупнейших исследователей творчества Горького – С. Балухатого, Н. Пиксанова, И. Луппола, И. Груздева, Б. Мейлаха, С. Касторского, Б. Бялика, – единодушно признававших, что эти стихотворения принадлежат Горькому, и включавших их в сборники его стихотворений (в частности, во все, выпущенные «Библиотекой поэта»).

Сейчас изучается вопрос, с какой целью Горьким были переписаны стихотворения Ив. Морозова и почему он упорно сохранял их в своих бумагах, так что на каком-то этапе они стали признаваться его собственными произведениями?

Допущенная ошибка, разумеется, будет исправлена. В последнем томе Редколлегия сообщит читателям, что в результате научных разысканий советских учёных[6], в частности, доцента А. Лосева, установлено, что эти стихотворения принадлежат не Горькому, а поэту-самоучке И. Морозову, что Горьким они были лишь отредактированы и переписаны, видимо, с целью включить их в какой-то сборник, но издание не состоялось, а автографы остались в бумагах Горького и впоследствии были приняты исследователями за его собственные произведения. Постараемся внести в этот вопрос максимальную ясность[7].

Мы сожалеем о том, что доцент А. Лосев не сигнализировал нам о своей случайной находке раньше: не исключено, что не повторилась бы ошибка, допущенная исследователями до нас[8].

[4] Немаловажное обстоятельство – Б. Л. Сучков в то время являлся и членом редколлегии журнала «Вопросы литературы».

[5] В письме именно так: РЕДАКЦИИ «ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ».

[6] Эта фраза («в результате научных разысканий советских учёных…») не может не умилять: очень похоже, что А. И. Овчаренко готовит почву для того, чтобы даже из большого конфуза извлечь хоть какую-то выгоду, представив открытие преподавателя небольшого провинциального педвуза результатом коллективных «научных разысканий советских учёных». Уж не тех ли самых сотрудников сектора ИМЛИ (в том числе Овчаренко), которые готовили к печати ПСС Горького?

[7] Вопреки этим официальным заверениям, в последнем томе ПСС об атрибуционной ошибке горьковедов и редколлегии издания не сказано ни слова! Имя А. В. Лосева, естественно, даже не упомянуто. Вместо признания ошибки и выражения благодарности тому, кто её обнаружил, редколлегия ПСС Горького ограничилась тем, что без лишнего шума, без каких бы то ни было пояснений просто не включила ни одно из четырёх опубликованных в первом томе стихотворений (о которых писал Лосев) в «Указатель художественных произведений (к томам I–XXIV)» (См.: *Горький М.* Полн. собр. соч. Художественные произведения: В 25 т. Т. 25. М.: Наука, 1976. С. 642–652).

[8] Вот так поворот: автор научного открытия, которое стало результатом долгой и кропотливой исследовательской работы, в том числе архивной (впрочем, нет, в интерпретации профессора Овчаренко, доценту из Благовещенска просто повезло на «случайную находку»!), выставлен чуть ли не главным виновником допущенной ошибки: знал, но утаил, не «сигнализировал раньше». Раньше чего – выхода в свет первого тома ПСС Горького, раньше своего открытия?

Тем более, что, как уже было сказано, редакторы Полного собрания сочинений М. Горького не принимали этих произведений безоговорочно[9].

Мы глубоко благодарны доценту А. Лосеву за его сообщение[10] и направляем ему копию этого письма.

По поручению Главного редактора и сектора –
Профессор Ал. Овчаренко.
9.02.1972 г.

24.02.1972 г.

Уважаемый Анатолий Васильевич!

Вашу статью «Ошибку надо исправить» мы посылали на научную консультацию в Институт мировой литературы АН СССР, в сектор, занимающийся изданием Полного Собрания сочинений М. Горького. В ответ мы получили письмо, подписанное по поручению главного редактора ПСС М. Горького и сектора проф. Ал. Овчаренко, в котором Ваша точка зрения на атрибуцию стихотворений, помещённых в первом томе ПСС М. Горького, признаётся справедливой, о чём, вероятно, Вам уже сообщили из Института мировой литературы.

Как явствует из полученного нами письма, редколлегия собирается в последнем томе исправить допущенную ошибку, сославшись при этом на Ваши изыскания. Так что выступать сейчас специально по этому поводу представляется нецелесообразным.

Редакция благодарит Вас за сообщение[11].

Напишите нам, пожалуйста, над чем Вы собираетесь работать в ближайшее время. Может быть, Ваши творческие замыслы и планы редакции совпадут, и Вы сможете выступить на страницах нашего журнала[12].

Рукопись возвращаем.

С уважением Г. Львова
ст. редактор отдела советской литературы.

Получив эти письма и всей душой не приняв изложенную в них лукавую аргументацию, Анатолий Васильевич решил напрямую обратиться к главному редактору «Вопросов литературы». Вряд ли он надеялся, что это поможет ему изменить позицию журнала. Им двигало желание объясниться начистоту, высказать всё, что он думает по поводу происходящего вокруг его статьи, твёрдо и открыто заявить, что научная истина не должна приноситься в угоду конъюнктуре.

Глубокоуважаемый Виталий Михайлович![13]

Немногим более месяца назад редакция «Вопросов литературы» возвратила мне рукопись моей статьи «Ошибку надо исправить» – о стихотворениях И. Морозова, авторство которых долгое время приписывалось Горькому и которые напечатаны в первом томе издающегося сейчас Полного собрания сочинений писателя. В сопроводительном письме (оно подписано старшим редактором отдела советской литературы тов. Львовой) даётся объяснение, почему редакция отказывается от публикации статьи: поскольку-де Главная редколлегия ПСС Горького не только признала факт ошибочной атрибуции стихотворений, но и обещала сообщить о нём читателям в последнем томе, постольку «выступать сейчас специально по этому поводу представляется нецелесообразным». Как я понимаю, в письме тов. Львовой выражено коллективное мнение редакции. Иными словами, моя статья отклонена не по самочинному решению редактора отдела, а с ведома и согласия членов редколлегии[14] и, разумеется, с санкции главного редактора.

Как «случайный» автор, по отношению к которому редакция не брала на себя никаких обязательств, я не вправе предъявлять к журналу какие-либо претензии – юридического или морального порядка. Не хотелось бы, чтобы это моё письмо к Вам было истолковано как «крик души» обиженного автора или как смешная причуда провинциала, мечтающего приобрести патент на научное открытие. Я далёк от того, чтобы своей более или менее случайной находке придавать значение некоего «открытия», а себе приписывать заслугу «первооткрывателя». Разумеется, я желал бы видеть свою статью опубликованной, тем более что она потребовала гораздо больше труда и времени, чем это необходимо для напечатания 16 страниц машинописного текста. Оставим, однако, в стороне мой личный интерес. Самый предмет статьи касается не меня одного, поэтому я считаю себя вправе высказываться по поводу принятого редакцией решения.

Мне это решение представляется странным, если не сказать более. Может быть, я не могу судить о нём беспристрастно, как лицо заинтересованное? Нет, по поводу предмета своей статьи я беседовал с разными людьми, в том числе с людьми, причастными к литературе или литературоведению, и никто из них не сумел дать мне удовлетворительного объяснения, почему редакция с такой лёгкостью отклонила мою статью. Не знаю, что скрывается за дипломатичной формулой «представляется нецелесообразным». Похоже, однако, что редакция искала подходящий повод отказаться от публикации статьи, а когда такой повод, наконец, представился, поторопилась немедленно им воспользоваться. Именно поторопилась – другого слова я не нахожу.

В письме проф. А. Овчаренко, написанном по поручению Главной редколлегии ПСС М. Горького, даётся обещание, что в последнем томе читателям будет сообщено о допущенной ошибке. Заметьте: в последнем томе, который, если учитывать темпы издания, выйдет из печати не ранее, чем через 7–8 лет[15]. Это значит, что в течение 7–8 лет об ошибке будет знать только узкий круг людей: сотрудники сектора ИМЛИ, сотрудники архива М. Горького плюс несколько лиц из состава редакции «Вопросов литературы», которая в этой деликатной ситуации предпочла отделаться «фигурой умолчания». Не странно ли это?

Ежегодно у нас пишутся и защищаются диссертации, появляются десятки книг и статей о Горьком – и отнюдь не в одних только изданиях, выходящих под маркой ИМЛИ. Есть ли гарантия, что ошибка текстологов, по правде говоря, весьма конфузная – не введёт в заблуждение иного, даже добросовестного исследователя, привыкшего доверять компетенции наших

[9] Если не принимали, то почему об этом не сказали в примечаниях к первому тому ПСС Горького? Очень похоже на то, что профессор Овчаренко здесь лукавит, пытаясь спасти профессиональную репутацию редакторов издания.

[10] Следует обратить внимание, что А. И. Овчаренко ведёт речь не о статье, как следовало бы, а всего лишь о «сообщении».

[11] То, что в начале письма Г. Львовой было справедливо названо «статьёй», здесь чудесным образом (похоже, не без влияния автора предыдущего письма) трансформировалось в «сообщение». На этом манипуляции с жанровым определением, которое А. И. Овчаренко и с его подачи редколлегия «Вопросов литературы» подбирали для статьи Лосева, не закончились. Но об этом речь ниже.

[12] Всё это очень смахивает на откровенное обещание «отступного», если автор не будет упорствовать в своём стремлении сделать достоянием гласности всю эту конфузную для маститых горьковедов историю.

[13] Письмо адресовано Виталию Михайловичу Озерову (1917–2007) – советскому критику, литературоведу, в 1959–1979 гг. главному редактору журнала «Вопросы литературы».

[14] В состав редколлегии журнала в этот период входили А. Дымшиц, В. Косолапов, Л. Лазарев, С. Машинский, Е. Осетров, В. Перцов, Б. Сучков, М. Храпченко и др.

[15] А. В. Лосев ошибся ненамного: последний, 25-й том ПСС М. Горького вышел в свет в 1976 году.

уважаемых горьковедов – редакторов Полного собрания сочинений М. Горького? Конечно же, ни проф. Овчаренко, ни Главная редколлегия, которую он представляет, ни редакция «Вопросов литературы» не могут дать такой гарантии. Следовательно, ещё несколько лет под «горьковской» маркой будут фигурировать стихотворения, которых Горький никогда не писал, – до тех пор, пока сотрудники сектора ИМЛИ не внесут в этот вопрос «максимальную ясность». Это тем более странно, что в заблуждение введены не только литературоведы (их не так много), но и сотни тысяч читателей Полного собрания сочинений Горького: ведь тираж первого тома (300 тысяч экземпляров) намного превосходит совокупный тираж всех прежних изданий стихотворений Горького, выходивших под маркой «Библиотеки поэта»!

Беру на себя смелость утверждать, что редакция явно поторопилась с выводами, посчитав удовлетворительным объяснение проф. Овчаренко. Из его письма следует, что редакторы ПСС Горького ещё до выхода первого тома выражали сомнение в принадлежности стихотворений Горькому и задавали текстологам вопрос: «Почему эти стихотворения, приписываемые раннему Горькому, написаны почерком Горького 1910 года и на бумаге каприйского периода»? (Кстати, здесь проф. Овчаренко допускает неточность: стихотворения, о которых в данном случае идёт речь, не могли быть написаны ранее 1911 года, а относятся скорее всего к 1913–1914 гг., о чём и говорится в моей статье). Если такой вопрос действительно ставился, то почему в примечаниях к стихотворениям (составитель – И. А. Ревякина) утверждается со всей категоричностью, что автографы их написаны почерком «молодого Пешкова»? Заверение проф. Овчаренко, мягко говоря, не согласуется с фактами. Одно из двух: либо редакторы первого тома, заведомо зная, что автографы стихотворений (точнее – горьковские копии стихотворений И. Морозова) написаны «почерком Горького 1910 года и на бумаге каприйского периода», решились на сознательную фальсификацию, либо версия проф. Овчаренко, объясняющая конфузную ошибку и возлагающая вину на безымянных текстологов, придумана задним числом, причём автор её не слишком заботился о том, чтобы свести концы с концами, иначе говоря – придать своему объяснению видимость правдоподобия.

Первое предположение настолько чудовищно, что в него, право же, не хочется верить. Второе, если оно верно, также не в пользу проф. Овчаренко. Трудно сказать, на кого рассчитано его объяснение.

В конце моей статьи ставится вопрос: «Как могло случиться, что Горькому были приписаны стихотворения, которых он не писал? Что это: элементарная ошибка, из тех, какие случаются иной раз в исследовательской практике? Или ещё один пример недобросовестной, конъюнктурной атрибуции?»[16] Письмо проф. Овчаренко ещё раз подтверждает, что такая постановка вопроса имеет под собой реальную почву. (Разумеется, я далёк от того, чтобы ошибку редакторов ставить в вину лично проф. Овчаренко.)

Позиция журнала «Вопросы литературы» для меня остаётся неясной. Возможно, редакция просто не вникла – или не захотела вникать – в существо дела, посчитав, что письмо проф. Овчаренко даёт исчерпывающее объяснение и что на этом можно поставить точку. Или решение редакции надо понимать как тактический ход, предпринятый с целью избежать возможных неприятностей. Объективно это выглядит как попытка защитить авторитет людей, присвоивших себе права единственных непогрешимых толкователей Горького, оградить их от самомалейшей критики со стороны «непосвящённых».

Адресуясь к Вам как к главному редактору журнала, я хотел бы знать Ваше мнение по существу вопроса, поставленного в моей статье, а также по существу высказанных в этом письме замечаний.

Жду Вашего ответа.

Между прочим, моя статья (точнее – рукопись её) была послана в двух экземплярах – согласно требованиям журнала. Редакция возвратила почему-то только второй экземпляр. Распорядитесь, пожалуйста, чтобы возвратили первый экземпляр.

Мой адрес: г. Благовещенск-6 Амурская область, ул. Ленина, 78, кв. 23 (индекс 675006), Лосеву Анатолию Васильевичу.

г. Благовещенск,
10 апреля 1972 г.

Ответа на это письмо от редактора солидного столичного журнала провинциальный доцент не дождался (по крайней мере, в беседах с автором данного комментария А. В. никогда о его существовании не упоминал). Да и что мог ответить В. М. Озеров на столь убедительные аргументы и столь нелицеприятные, но справедливые вопросы автора статьи? Что он согласен с доцентом Лосевым и готов ради торжества научной истины и банальной человеческой справедливости опубликовать статью и тем самым навлечь на свою голову гнев влиятельных персон от советского литературоведения и, возможно, раздражение партийных чиновников, отвечающих за состояние дел в сфере литературы? При всём уважении к главному редактору «Вопросов литературы» предположение, что он готов был в данной ситуации рисковать своим собственным положением, кажется фантастичным.

Тем не менее опасения упомянутых высоких лиц, что скандальная история может получить нежелательную для них огласку, что дотошный кандидат наук из Благовещенска не успокоится и станет стучаться в другие двери, вынудило их, скрепя сердце, составить ещё одно письмо. Расчёт, видимо, строился на том, что преподаватель провинциального вуза сойдёт с ума от счастья, получив благодарственное послание от знаменитого на весь мир писателя Леонида Леонова, и тем удовлетворится. Письмо отпечатано на бланке Института мировой литературы им. Горького. Текст содержит незначительную правку от руки и приписку.

26 января 1973 г.
Благовещенск 6, Амурской обл.,
ул. Ленина, 78, кв. 23.

Уважаемый Анатолий Васильевич!

Благодарю Вас за интересное письмо, с которым меня ознакомила редакция журнала «Вопросы литературы»[17]. Сожалею, что о своей находке Вы не сообщили раньше. Может быть, в этом случае удалось бы предотвратить ошибку[18].

Ваши, дорогой Анатолий Васильевич, соображения о том, что текстологи не всегда обязаны считаться с автографом, конечно, справедливы. Но следует учитывать и тот факт, что, внеся несколько поправок в текст стихотворения Ив. Морозова

[16] Приведённая цитата – не из статьи «Ошибку надо исправить», о которой идёт речь в данном письме, а из первоначальной её редакции («М. Горький или И. Морозов?»), ранее тоже отвергнутой редколлегией «Вопросов литературы».

[17] Внимание, завершающая фаза манипуляций: статья Лосева превращена в «письмо в редакцию»! Вряд ли это придумка Л. М. Леонова, похоже, что автор столь изощрённо подобранного жанрового определения носил другую фамилию. И, скорее всего, она начиналась на букву «О».

[18] Напомню: последние два тезиса впервые были сформулированы в письме А. И. Овчаренко от 9 февраля 1972 года.

«Не браните вы…»[19], Горький придал ему иную расцветку, изменил ритм, сделав его более энергичным, а вписав в него строчку «Я пою о стремлении к свету», сблизил его с собственным творчеством, в котором, как Вы знаете, этот мотив звучит, начиная с «Песни о Соколе».

Ещё ощутимее рука Горького в двух других стихотворениях, правленных им[20].

Всё это, а самое главное, конечно, то, что стихотворения переписаны рукой Горького, и ввело в заблуждение названных Вами учёных.

Видимо, в конце этого года выйдет в свет первый том вариантов к художественным произведениям М. Горького[21]. В комментариях к нему будет подробно рассказана творческая история произведений, долго приписывавшихся Горькому. Разумеется, там говорится о Вашей роли в выяснении подлинного автора стихотворений[22]. На всякий случай, я снова напомнил об этом моему заместителю – профессору А. И. Овчаренко. Он подтвердил, что это решение редколлегии будет выполнено.

Ещё раз благодарю Вас.
Желаю творческих успехов.
Ваш Л. Леонов.

[Ниже, помимо подписи Леонова, есть его приписка от руки. – *А. У.*]:

АВ. Прошу извинить меня за опоздание с ответом.
(на запрос из журнала)
2 ф. 1973[23].

Окончательно убедившись, что шансов напечатать статью в «Вопросах литературы» нет, что научная Москва заняла глухую оборону, Анатолий Васильевич предложил её журналу «Дальний Восток», с которым плодотворно сотрудничал несколько лет. Впрочем, если судить по приводимому ниже письму, и в этом случае особых иллюзий автор не питал.

Глубокоуважаемый Николай Митрофанович![24]
<…>
Как обстоит дело с моей статьёй о стихотворениях И. Морозова, приписанных Горькому? По всему чувствую, что решение редакции – не в мою пользу. Если это так, очень прошу Вас вернуть рукопись. Претензий к журналу у меня, разумеется, нет. Статья моя побывала в разных местах, отклонялась, принималась и вновь отклонялась. Между прочим, некоторые товарищи пытались представить дело так, будто статьи вовсе и не было, а было письмо в редакцию журнала «Вопросы литературы» – письмо, автор коего сообщил об атрибуционной ошибке. «Да был ли мальчик-то?»

Впрочем, извините за отступление. Не хотелось бы, чтобы это моё письмо к Вам было воспринято как этакий «крик души» обиженного автора, которого не хотят печатать. Меня пытались убедить, что для пользы дела статью не следует печатать. Но о какой такой «пользе дела» идёт речь, я, ей богу, никак не могу уразуметь. Если редакция «Дальнего Востока» сочла статью неудобной для публикации в неспециальном журнале, будем считать, что вопрос исчерпан[25].
<…>
Жду Вашего ответа.
С искренним уважением А. Лосев
г. Благовещенск,
24 декабря 1973 г.

Теперь о финальном аккорде всей этой растянувшейся на несколько лет интриги. Было ли выполнено обещание главного редактора ПСС «подробно рассказать» творческую историю приписывавшихся Горькому стихотворений? Исполнил ли профессор Овчаренко другое обещание (замаскированное, как отмечалось выше, под распоряжение Леонова) – рассказать о роли доцента Лосева в обнаружении атрибуционной ошибки и в выявлении подлинного автора стихотворений?

Да, в упомянутой в письме за подписью Л. М. Леонова книге тема эта получила развитие[26], но, как и следовало ожидать, весьма специфическое.

Раздел комментария, посвящённый включенным в первый том ПСС Горького стихотворениям, начинается с явно неприятной для редколлегии издания констатации: «В томе I среди 17 стихотворений и стихотворных набросков ошибочно – без необходимых оговорок, как принадлежащие Горькому, помещены произведения “Не браните вы музу мою…”, “Я плыву, за мною следом…”, “Звук её, ласкающий и милый…” и “Тому на свете тяжело…” (стр. 434–437)»[27].

---

[19] Название стихотворения вписано от руки чуть выше отпечатанных строк. Судя по почерку, правку вносил не Л. М. Леонов. То есть, похоже, текст письма составлял (и правил его) отнюдь не главный редактор ПСС Горького, а, скорее всего, его заместитель – то есть Александр Иванович Овчаренко. В этом случае очень пикантной выглядит ссылка в конце письма на профессора Овчаренко, которому будто бы Леонов напомнил о необходимости в будущем отметить роль доцента Лосева в обнаружении атрибуционной ошибки.

[20] А вот ещё одна логическая манипуляция: Горький превращён в соавтора стихотворений Морозова! Нет, автор романа «Русский лес», создатель образа Грацианского и образов других околонаучных «вертодоксов», вряд ли был способен придумать такое.

[21] Книга, о которой здесь говорится, вышла не в 1973-м, а годом позже. См.: *Горький М.* Полное собрание сочинений: Варианты к художественным произведениям. Т. 1. Варианты к томам I–V. 1885–1907. М.: Наука, 1974. 644 с.

[22] Судя по этому абзацу, не позже начала 1973 года редколлегия ПСС Горького отказалась от первоначального решения (и от данного А. В. Лосеву обещания) объясниться с читателями в 25-м томе, тираж которого составил 298300 экземпляров, предпочтя сделать это в малотиражном (всего 23200 экз.) и адресованном лишь узким специалистам приложении к изданию.

[23] Нельзя не обратить внимание, что письмо подготовили за неделю до того, как его прочёл и подписал главный редактор ПСС. Поставив в конце письма иную дату, чем стоит в его начале, и дописав от руки извинение за опоздание с ответом, Леонид Максимович тем самым вольно или невольно дал понять, что данный текст принадлежит не ему. Эти обстоятельства – ещё одно косвенное свидетельство, что составитель письма и тот, кто его подписал, – разные лица.

[24] Письмо адресовано Николаю Митрофановичу Рогалю (1909–1977) – известному на Дальнем Востоке прозаику, драматургу, журналисту, в 1955–1977 гг. занимавшему пост главного редактора журнала «Дальний Восток».

[25] Ни в «Дальнем Востоке», ни в каком-либо ином издании статья А. В. Лосева не была напечатана.

[26] См.: *Горький М.* Полное собрание сочинений: Варианты к художественным произведениям. Т. 1. Варианты к томам I–V. 1885–1907. М.: Наука, 1974. С. 109–113.

[27] *Горький М.* Полное собрание сочинений: Варианты к художественным произведениям. Т. 1. Варианты к томам I–V. 1885–1907. М.: Наука, 1974. С. 109.

Однако этим единственным предложением «покаянная» часть и исчерпывается. Впрочем, само «покаяние» выглядит, по меньшей мере, странно, ведь редакция сожалеет не столько о том, что включила в собрание сочинений Горького чужие стихи, сколько о том, что сделала это «без необходимых оговорок». Получается, редакция ПСС приняла за истину высказывавшееся ранее А. И. Овчаренко мнение, что «основоположник литературы социалистического реализма» является в данном случае соавтором произведений Ивана Морозова, а потому включение в Полное собрание его сочинений стихов крестьянского поэта-самоучки в принципе допустимо, но с «оговорками». То есть грубой атрибуционной ошибки, которую обнаружил и о которой писал в своей статье кандидат филологических наук из Благовещенска, оказывается, не было…

Вторая фраза комментария носит характер «оправдания» или, точнее, самооправдания. В ней внушается: недоразумение было запрограммировано тем, что обнаруженные в архиве писателя стихи Морозова «написаны рукой Горького». Все изложенные в статье А. В. Лосева многочисленные обстоятельства, которые должны были в принципе исключить грубейшую текстологическую ошибку, в комментарии не упоминаются вовсе. Причина умолчания очевидна: в противном случае старательно возводимая комментаторами оправдательная конструкция легко рассыпалась бы.

А вот с третьего предложения того же первого абзаца и вплоть до конца трёхстраничного комментария почти всё подчинено одной сверхзадаче – доказать во что бы то ни стало, что Горький не просто переписал стихи Морозова и даже не только отредактировал их, но и фактически выступил в роли полноправного соавтора: «Автографы их [стихов Морозова] содержат следы упорной работы писателя почти над каждой строкой (изъятие целых строк, поиски более точных эпитетов и т. п.), что в какой-то мере и сроднило эти стихотворения по особенностям их поэтики с другими стихами Горького»[28]. И далее: «…Горький выступил в данном случае не просто как редактор. Проясняя содержание и усиливая идейную направленность первого из названных произведений [«Не браните вы музу мою…»], он коренным образом переделал вторую строфу, заново написав три строки; в третьей строфе Горьким написаны заключительные две строки. Наконец, в последней строфе Горький сделал более энергичным внутренний ритм, изменив, таким образом, тональность всего произведения»[29]. Под таким же углом комментируются и другие стихотворения. Но насколько корректны эти сопровождаемые примерами сравнения, если комментаторы признают, что не знают точно, для чего Горький правил (а правил ли?) произведения Морозова, если им неизвестно, знакомил ли он с этой правкой (если она была) автора? А главное: что стало основанием для категоричных утверждений, если у редакторов и комментаторов, как мы знаем, не было на руках присланных Горькому автографов стихов Морозова? Не имея таковых, они сравнивают переписанные Горьким стихотворения с вариантами, опубликованными ранее поэтом-самоучкой в периодических и иных изданиях (которые и нашёл Лосев). Однако можно ли полностью исключить, что Морозов отправил Горькому уже отредактированные варианты своих стихов? Насколько вообще правомерен безапелляционный вывод о Горьком-соавторе, если никто не видел присланных ему крестьянским поэтом автографов произведений и потому не может уверенно судить о характере правки? Только они, автографы, могли бы дать законное основание для столь категоричного заключения. Но редколлегию ПСС М. Горького отсутствие документальных подтверждений принятой на веру научной гипотезы не смутило, ибо она, судя по всему, не столько стремилась к установлению истины, сколько искала основания для самооправданий.

Что касается обещания рассказать о роли Лосева, то и здесь формальность как будто бы соблюдена – имя Анатолия Васильевича, хотя и единожды, упомянуто: «В результате новых научных поисков кандидату филологических наук А. В. Лосеву удалось установить, что автором стихотворений “Не браните вы музу мою…”, “Я плыву, за мною следом…”, “Тому на свете тяжело…” является поэт-самоучка И. И. Морозов (1883–1942)»[30]. Возникает, правда, вопрос: почему в комментарии прямо не сказано, что именно он, Лосев, и обнаружил ошибку, а не только установил подлинного автора приписывавшихся Горькому стихотворений? Недоумение вызывает и следующая фраза комментария: «Были обнаружены публикации стихотворений <…>». Кем «были обнаружены»? Почему нельзя было сформулировать таким образом, чтобы читатель не гадал, кто конкретно обнаружил эти самые публикации? Почему ничего не сказано о том, что хотя «кандидат филологических наук» из Благовещенска и не установил, где И. Морозов опубликовал четвёртое стихотворение («Звук её, ласкающий и милый…»), но именно он высказал уверенное предположение, что и это произведение принадлежит малоизвестному крестьянскому поэту? А вот о своём собственном крохотном (в сравнении с тем, что сделал А. В. Лосев) вкладе редакторы не забыли отрапортовать: «Дополнительными разысканиями участников настоящего издания установлено, что стихотворение “Звук её, ласкающий и милый…” представляет собой отрывок из стихотворения того же И. Морозова…»[31] Почему бы не отметить, что эти самые «дополнительные разыскания» были инициированы «кандидатом филологических наук»?

Отчего, наконец, комментаторы (сдаётся, не без благословения редакторов) умолчали, что большая часть их содержательных посылов является пересказом или прямым цитированием статьи Лосева, строится на результатах проведённого им исследования? Потому, похоже, что выполняли выработанную редколлегией ПСС Горького установку: умалить значимость научного открытия доцента из Благовещенска, значимость проведённой им высокопрофессиональной работы.

Приведённые выше факты помогают получить представление не только о конкретном случае, спровоцированном научным открытием А. В. Лосева, но и о самих механизмах и принципах функционирования историко-литературной науки советского времени, о нравах, царивших в стенах главного научно-исследовательского института страны.

---

[28] *Горький М.* Полное собрание сочинений: Варианты к художественным произведениям. Т. 1. Варианты к томам I–V. 1885–1907. М.: Наука, 1974. С. 109.

[29] Там же. С. 110.

[30] Там же.

[31] Там же. С. 112.

Александр УРМАНОВ

профессор кафедры литературы БГПУ

«НА АМУРЕ ВСЁ ВОЗМОЖНО...»
Роман «Амурские волки» как литературный феномен[1]

Как известно, заслуживающая серьёзного отношения художественная проза в Приамурье появилась лишь в начале 1900-х годов. Правда, как обычно, в центре читательского внимания оказались отнюдь не самые качественные произведения – не повести Фёдора Чудакова «Из детства Ивана Грязнова» и «Дочь шамана», например. Увы, самой большой популярностью у амурских читателей начала XX века пользовался «коллективный роман из жизни Приамурья» (так гласил подзаголовок) «Амурские волки», в создании которого ключевую роль сыграл скандально известный журналист и издатель А. И. Матюшенский – единоличный автор ещё нескольких подобных произведений на местном материале.

Достоверных биографических сведений о начальном периоде его жизни не очень много. Известно, что Александр Иванович Матюшенский родился 19 октября 1862 года в селе Александров-Гай Саратовской губернии в семье священника. Образование получил в Саратовской духовной семинарии. О. Ф. Федотова, ссылаясь на сведения, почерпнутые ею у дочери Матюшенского от второго брака Ирины Александровны Челышевой (1913–?), утверждала, что Александр Иванович «по окончании семинарии в 1882 году <…> в том же году поступил в Петербургский университет»[2], а спустя какое-то время (точная дата биографом не указывается) его «окончил»[3], что он – «выпускник Петербургского университета»[4]. А. В. Лосев поставил под сомнение университетское образование Матюшенского: имея таковое, размышлял он, тот вряд ли долгие годы тянул бы тяжкую и неблагодарную лямку простого провинциального репортёра[5]. Похоже, университетский диплом – один из многочисленных мифов, неустанным творцом которых был сам Матюшенский.

Не обошлось без мифологизации ещё одно событие в его жизни – тюремное заключение: «В университете Александр Иванович состоял в студенческом обществе помощи бедным студентам. Однажды он разносил по домам афишки-приглашения на благотворительный концерт, засовывая их в ручки дверей. Следом за ним шёл некий человек и закладывал в эти афишки свои прокламации. Матюшенского арестовали. Доказать свою невиновность он, естественно, не мог и по существующему тогда закону был осуждён на три года тюрьмы (1885 г.)»[6].

Что называется без вины виноватый… Вызывает ли доверие эта история? Не очень. Но, допустим, мы приняли её на веру (а что остаётся, если никаких документальных подтверждений или надёжных свидетельств нет?). Однако вот незадача: годом позже тот же самый автор, рассказавший со слов дочери Матюшенского трогательную историю безвинного студента, пострадавшего из-за благородного желания помочь бедным товарищам, без всяких объяснений излагает принципиально иную версию случившегося. По ней выходит, что нашего героя привлекли к судебной ответственности не в 1885, а «в 1882 году»[7], причём не по недоразумению, не из-за каких-то безобидных афишек-приглашений на благотворительный вечер, а «по обвинению в причастности к убийству Александра II»[8]. Такая вот метаморфоза. Теперь перед нами предстаёт не какая-то несчастная жертва судебной ошибки, а подлинный революционер, идейный враг самодержавия, готовый убивать и жертвовать собою ради освобождения страны от оков царизма... Очевидно, этот впечатляющий миф был рождён Александром Ивановичем после 1917 года, когда имидж борца с самодержавием и одновременно его жертвы мог приносить неплохие дивиденды и когда за давностью лет и на расстоянии семи тысяч вёрст от Саратова выяснить подлинные обстоятельства ареста было уже почти невозможно.

---

[1] *Исследование осуществлено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Литературное краеведение: создание фундаментального историко-литературного труда – Энциклопедии литературной жизни Приамурья XIX–XXI вв.», проект № 11-04-00087а.*

[2] *Федотова О. Ф.* Материалы к биографии А. И. Матюшенского // Амурский краевед: Информационный вестник. № 1(10). Благовещенск: Амурский областной краеведческий музей им. Г. С. Новикова-Даурского, 1995. С. 1–2.

[3] *Федотова О. Ф.* Бестселлер начала века // Амурские волки: Коллективный роман из жизни Приамурья. Благовещенск, 1996. С. 6.

[4] Там же. С. 8.

[5] *Лосев А. В.* Александр Иванович Матюшенский: Полемические заметки о новоявленном «классике» амурской литературы // Амур: Литературно-художественный альманах. № 6. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2007. С. 44.

[6] *Федотова О. Ф.* Материалы к биографии А. И. Матюшенского… С. 2.

[7] То есть, выходит, сразу после окончания семинарии? А когда же он успел окончить университет? Впрочем, если арест состоялся и в 1885-м (более правдоподобная дата), вопрос этот тоже остаётся.

[8] *Федотова О. Ф.* Бестселлер начала века… С. 6.

Сколько же их было – легенд и мифов, если в них запуталась даже дочь мнимого цареубийцы?! Из всего сказанного выше напрашивается вывод: к свидетельствам Матюшенского следует относиться с большой осторожностью. Тем более что в них много путаницы и невнятицы, не исключено, намеренных.

Да, кстати, где, в какой тюрьме, с кем, как долго – в течение всего ли трёхлетнего срока – он сидел, почему Матюшенский, его дочь и его биографы умалчивают об этом? Почему он позже не поддерживал отношений со своими товарищами по неволе, никогда не рассказывал о них? Впрочем, и про узника царских тюрем Матюшенского тоже почему-то никто из подлинных сидельцев не упоминает в мемуарах. Почему тюремный опыт, если он был, не нашёл отражения в творчестве А. Седого, в его публицистике или воспоминаниях? Тем более странно, что после февраля 1917 года сам факт судебного преследования человека в царское время по политическим основаниям превращался для него в своеобразную охранную грамоту. Матюшенский же, которого, как мы знаем, чуть было не расстреляли в начале 1920-х годов как «контрреволюционера», казалось бы, как никто другой нуждался в такой «грамоте». Однако о своём тюремном прошлом, тем более о причастности к убийству царя, почему-то не заикался... Характерная деталь: А. В. Лосев, изучавший связанные с Матюшенским архивные материалы, о тюремном заключении Александра Ивановича не упоминает даже вскользь.

В середине 1880-х Матюшенский, по его словам, «пошёл в народ», три года провёл в странствиях по Оренбургской губернии и Западной Сибири, «работал как чернорабочий и на крестьянских полях, и в шахтах золотых приисков, и на полотне железной дороги, и на крупчатной мельнице, и на пристанях Волги при нагрузке судов, точил веретена, шил сапоги, строил глинобитные крестьянские избы, учил грамоте крестьянских ребятишек»[9]. В общем, довольно типичная история: в эпоху широкого распространения народнических идей и идеалов на такие, в значительной степени мифологизированные, биографии существовал большой спрос. Удостовериться же, насколько соответствуют реальности эти сведения, практически невозможно, ибо Александр Иванович, упоминая в «Исповеди» о своей извилистой жизненной тропе, как правило, предельно скуп на точные пространственные и временные координаты.

Теперь о фактах, не вызывающих сомнений: в 1891 году Матюшенский женился на дочери саратовского помещика Вере Владимировне Воронцовой, от которой у него было трое детей: дочь Евстолия (1894), сыновья Владимир (1896) и Виктор (1904)[10].

В 90-е он с головой ушёл в журналистику, в качестве репортёра работал в газетах Самары, Екатеринбурга, Ирбита, Одессы, Кишинёва, Владикавказа, Тифлиса, Баку, Москвы… Сами эти перемещения, напоминающие лихорадочные метания, свидетельствуют: отношения Матюшенского – и личные, и особенно профессиональные – с коллегами складывались непросто, нередко перерастая в острую неприязнь[11], что в конечном итоге приводило к необходимости менять газету или даже место жительства.

В ноябре 1904 года Александр Иванович перебрался в Петербург и почти сразу же стал сотрудником одной из самых известных столичных газет либерального направления «Сын Отечества» (после закрытия, с 7 декабря 1904 года, – «Наши дни»). Невероятный взлёт провинциального журналиста, имевшего весьма сомнительную репутацию в среде газетчиков! Но вскоре произойдёт нечто ещё более удивительное – вчера ещё безвестный репортёр окажется в эпицентре потрясших страну событий. Накануне ставшего детонатором первой русской революции «кровавого воскресенья» он познакомился и тесно сошёлся со священником Георгием Гапоном, принял участие в деятельности гапоновского «Собрания русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга». Как утверждал сам Матюшенский в «Исповеди» (напечатана в начале 1906 года за границей, а в 1917-м вышла отдельным изданием в Благовещенске под претенциозным названием «Гапон и мой Антихрист: История моего безумия»), именно он по просьбе Гапона составил петицию царю, с которой 9 января 1905 года десятки тысяч рабочих и членов их семей отправились к Зимнему дворцу и встречены были винтовочными залпами. В той же «Исповеди» он цинично признавался, что писал петицию «в полной уверенности, что она объединит полусознательную массу, поведёт её к царскому дворцу, – и тут, под штыками и пулями <…> эта масса прозреет <…>. Расчёт мой оправдался в точности»[12].

О. Ф. Федотова, опять-таки опираясь на рассказ дочери Александра Ивановича, а также на его довольно путаную «Исповедь», утверждает, что «кровь, пролившаяся на улицах столицы, потрясла Матюшенского», что «в расстреле мирного шествия он видел огромную долю своей вины, безумно мучился всю оставшуюся жизнь…»[13]

Поверить в то, что Матюшенский «безумно мучился» всю оставшуюся жизнь по поводу своего участия в обернувшейся большим кровопролитием провокации, трудно, ибо многие факты его биографии, сама его натура, образ жизни, ставшие достоянием гласности поступки не вяжутся с подобными лирическими сентенциями. Не была ли «Исповедь» попыткой отвести от себя возникшие в обществе подозрения и даже прямые обвинения? Очень на то похоже, ведь, по отзывам многих современников, Матюшенский был человеком в полити-

---

[9] *Матюшенский А. И.* Гапон и мой Антихрист (Повесть моего безумия). Благовещенск: Типография «Благовещенское утро», 1917. С. 35.

[10] *Федотова О. Ф.* Материалы к биографии А. И. Матюшенского… С. 3.

[11] Характерный пример такого рода приводит А. В. Лосев. Он, в частности, цитирует письма раннего Горького, адресованные его невесте (в будущем жене) Е. П. Волжиной, в которых Алексей Максимович всякий раз с большим негодованием отзывается о Матюшенском: «Я пока не решил ещё, писать ли мне в “С(амарскую) г(азету)” – по всей вероятности не буду, ибо не хочу работать рядом с этим болваном, который пишет идиотские “Очерки”» (23–24 мая 1896 г.); «Матюшенский пишет пошло…» (27 мая 1896 г.); «Просто сердце заноет, когда возьмёшь её [«Самарскую газету»] в руки – полтора года труда я убил на неё, и во что её обратили! Срам! Матюшенского надо выгнать…» (20 июня 1896 г.). Цит. по: *Лосев А. В.* Александр Иванович Матюшенский: Полемические заметки о новоявленном «классике» амурской литературы… С. 40, 42.

[12] *Матюшенский А. И.* Гапон и мой Антихрист... С. 35.

[13] *Федотова О. Ф.* Бестселлер начала века… С. 7.

ческом отношении беспринципным, в моральном – нечистоплотным. Вызывает много вопросов та лёгкость, с которой безвестному провинциальному репортёру удалось попасть в число сотрудников знаменитой столичной газеты и, кроме того, легко войти в доверие к Гапону и его окружению. А чуть позже стать, по сути, главным посредником (и даже «кассиром»!) между разгромленной организацией Гапона и царским правительством. Многие современники этих событий были уверены, что Матюшенский в событиях января 1905 года сыграл роль тайного осведомителя и провокатора, действовавшего по указке охранного ведомства[14].

Впрочем, Матюшенский и не скрывал своей склонности к провокациям. В той же «Исповеди» он, без ложной скромности именно себя, а не Гапона, провозгласив главным идеологом 9-го января, признался, что заранее знал, чем закончится авантюра, что сознательно принёс невинных людей в жертву ради дискредитации царя и в целом самодержавия: «Я толкал женщин и детей на бойню, чтобы вернее достигнуть намеченной цели. Я думал: избиение взрослых мужчин, может быть, ещё перенесут, простят, но женщин – расстрел матерей с грудными младенцами на руках! Нет, этого не простят, не могут простить. Пусть же идут и они! – говорил я себе. – Пусть они умрут, но с ними вместе умрёт и то заблуждение, которое удерживает Россию в цепях рабства, мук и стенаний. <…> И я решил: пусть лучше раз умрут некоторые, чем жить в вечных и непрерывных страданиях всем. Пусть умрут сотни, хотя бы в числе этих сотен были и младенцы, но зато освободятся от цепей рабства миллионы, десятки миллионов. <…> Идите и умрите, кому суждено»[15].

Когда читаешь такие чудовищные откровения, как говорится, кровь в жилах стынет… Но «исповедующийся» прекрасно осознавал: подавляющую часть насквозь революционизированной в те годы российской либеральной и тем более радикальной общественности такой, мягко выражаясь, сомнительный способ борьбы с опостылевшим самодержавием вряд ли смущал. Нужно учитывать ещё одно важное обстоятельство, помогающее понять причину жутковатой откровенности Матюшенского: похоже, что его людоедские признания отчасти были средством отвлечения внимания публики от ещё одной дьявольской, в глазах современников гораздо более компрометирующей Александра Ивановича истории – тайной финансовой сделки с царским правительством, усугубленной банальным воровством…

Вскоре после «кровавого воскресенья» на страницах газет всплыла скандальная история присвоения Матюшенским весьма крупной по тем временам суммы денег – двадцати трёх тысяч из полученных им тридцати, несколькими порциями выданных под расписку недавнему мелкому репортёру министром торговли и промышленности В. И. Тимирязевым по распоряжению самого председателя правительства С. Ю. Витте! Деньги эти якобы предназначались на нужды разгромленной гапоновской организации, но Матюшенский, припёртый к стенке, оправдывался в «Исповеди», что гапоновцам-де принадлежала лишь малая часть этой суммы – семь тысяч. А остальное, дескать, было выделено царским правительством лично ему (человеку, по его собственному признанию, безусловно разделявшему в то время революционные убеждения) «на организацию пропаганды против революции»[16]... Убеждённый революционер, смертельный враг царизма берёт у царского же правительства деньги на масштабную пропаганду против революции!?

Можно ли поверить в то, что члены царского правительства и даже сам премьер столь неразборчивы и не информированы, что могли принимать у себя человека, причастного к убийству царя, сидевшего в тюрьме по политическим статьям, и выдавать ему (мелкому газетному репортёру!) крупные суммы на ведение антиреволюционной пропаганды? Бред какой-то… История совершенно невероятная, тёмная, мутная, показывающая, что роль Матюшенского во всех этих делах была крайне неблаговидной и весьма и весьма подозрительной. Какие уж тут «безумные мучения»!

У людей, которые лично знали Матюшенского, слова про его «безумные мучения» вызвали бы, наверное, гомерический хохот. Вот, например, как отреагировал на «Исповедь» Матюшенского хорошо знавший его по совместной работе в Самаре в 1895–1896 годах Горький. В письме, написанном в середине июня 1906 года из Нью-Йорка и адресованном А. В. Амфитеатрову – редактору выходившего в Париже журнала «Красное знамя», в котором и была напечатана «Исповедь»[17], Алексей Максимович, в частности, писал: «Матюшенского я знаю, работал вместе с ним в “Самарской газете”. Это – неудачный псаломщик, гнилая душа, длинный и жадный желудок. Такие люди воспринимают жизнь брюхом, и в мозгу у них – всегда есть какая-то вонючая, серая слизь. Эти люди органически чужды правде, и всё для них – зеркало, в котором они видят свои зубы, постоянно голодные. <…> Вы гоните прочь Матюш[енского], а то он напакостит вам»[18].

Упомянем ещё один факт биографии, дающий представление об исповедуемых Александром Ивановичем «высоких» моральных принципах: выпускник духовной семинарии, при живой жене с тремя детьми, младшему из которых не было и двух лет, вступил в гражданский брак с Ниной Васильевной Бурдиной – «акушеркой-массажисткой» из Петербурга. Это произошло в 1906-м.

А в мае 1910 года Матюшенский переехал в далёкий Благовещенск, где, как он полагал, удастся отсидеться до поры в тени. Свою фамилию он первое время не

---

[14] Однако прямых, безусловных доказательств такого сотрудничества, если оно и имело место, никто никогда не приводил.

[15] *Матюшенский А. И.* Гапон и мой Антихрист… С. 35–36.

[16] *Матюшенский А. И.* Гапон и мой Антихрист… С. 56.

[17] Красное знамя. 1906. № 2. Излияния сподвижника попа Гапона в журнале давались под редакционным заголовком «За кулисами гапоновщины. Исповедь А. И. Матюшенского». Статья сопровождалась редакционным предисловием, в котором Амфитеатров писал: «Прочитав “Исповедь” г. Матюшенского, я пришёл к убеждению, что единственным, сколько-нибудь полезным, хотя и жестоким для него исходом дела может быть широкое оглашение его покаянных строк, столь выразительно живописующих неблаговонные глубины того общественного обмана, который более года владел умами русских людей в миражах гапоновщины».

[18] Литературное наследство. Т. 95. Горький и русская журналистика начала XX века: Неизданная переписка. М.: Наука, 1988.

афишировал, скрывал (а в 1906–1907 гг., до того как его разоблачила полиция Москвы, жил по фальшивому паспорту, выписанному на Бурдина Александра Ивановича, – то есть укрывшись за фамилией своей гражданской жены). «Конспирация» понадобилась потому, что, несмотря на пять прошедших с «кровавого воскресенья» лет, подлинная его фамилия была слишком памятной для российской общественности, слишком густой шлейф скандальных разоблачений тянулся за ней.

В Благовещенске Матюшенский вначале сотрудничал с газетой «Амурский листок», подписывая свои материалы псевдонимами *А. И. Седой, А. Иванович, Изгой*. Позже он стал издавать (уж не на те ли – прикарманенные правительственные двадцать три тысячи?) собственные газеты «откровенно бульварного толка» (А. Лосев) – «Амурский пионер» (1911–1912) и «Благовещенское утро» (1912–1917)[19]. Именно на их страницах в 1912 году увидел свет *коллективный роман* «Амурские волки», принесший Матюшенскому литературную известность и, что немаловажно, определённый доход. В том же году роман был выпущен отдельной книгой, а затем в течение короткого времени дважды переиздан – в 1913 и 1914 гг.

Роман «Амурские волки» весьма объёмен: включает в себя 105 глав! При публикации в газетах «Амурский пионер» (№№ 12–131, февраль-июнь) и «Благовещенское утро» (№№ 1–22, июнь-июль) главы имели подписи-псевдонимы: *А. Седой, Фантом, Монгол*, *Юлия Михай, Кэтти, Крапива, Коляда, Н. Тульчин…* По мнению известного амурского учёного-краеведа Г. С. Новикова-Даурского (1881–1962), авторство «Амурских волков» принадлежало нескольким сотрудникам благовещенских газет, в том числе Н. З. Перминову (в будущем, в 1918–1920 гг., – городской голова) и К. К. Куртееву, а роль Матюшенского сводилась, в основном, к редактированию текста. Никаких аргументов в пользу столь оригинальной версии краевед не привёл, уже одно это даёт основание поставить её под сомнение.

Совершенно очевидно, что авторов произведения следует искать среди сотрудников газет «Амурский пионер» и «Благовещенское утро», на страницах которых и печатались «Амурские волки». В связи с этим по меньшей мере странным выглядит в предлагаемом Новиковым-Даурским перечне возможных авторов имя Константина Константиновича Куртеева (1853–1918) – известного в Благовещенске журналиста. Дело в том, что «Амурские волки», как уже отмечалось, создавались и печатались в 1912 году, а К. К. Куртеев в это время был редактором газеты «Благовещенск», издававшейся на деньги купцов-молокан, что почти наверняка исключает его из числа претендентов на авторство – по причинам и физическим, и мировоззренческим. Да и близких отношений с Матюшенским у него никогда не было. К тому же нам известны псевдонимы, под которыми он публиковал свои материалы в благовещенских газетах. Ни один из них (*Курт, Кур*) не встречается под главами «Амурских волков».

Кроме того, совершенно неправдоподобным выглядит утверждение Новикова-Даурского, что главный претендент на роль автора «коллективного романа» Матюшенский ограничивался якобы лишь ролью редактора написанных другими журналистами глав. Это опровергается и тем, что под подавляющим большинством глав стоит псевдоним *А. Седой*, которым Матюшенский подписывал многие другие свои статьи и произведения, в том числе романы «Фальшивые сторублёвки» и «Взаимный банк»[20], а также книгу очерков «Благовещенские силуэты». Первые две книги, кстати, имеют почти такой же подзаголовок, что и «Амурские волки», – «роман из местной жизни», а это тоже является косвенным свидетельством того, что в создании «коллективного романа» Матюшенский играл роль не только редактора, но и основного автора. Да и по стилю и содержанию названные произведения «из местной жизни» очень близки «Амурским волкам». Ещё одно важное обстоятельство: псевдоним *Фантом*, который стоит под несколькими главами «коллективного романа», также принадлежит Матюшенскому. Под ним он напечатал книжку «Как я сделался богатым». Псевдонимом *Монгол* Матюшенский подписывал некоторые свои материалы в газетах «Амурский пионер» и «Благовещенское утро». Оба эти псевдонима – *Фантом* и *Монгол* – использовались Матюшенским и до приезда в Благовещенск.

Как предположил А. В. Лосев, помимо Матюшенского, написавшего львиную долю глав «коллективного романа», в создании произведения приняли участие Н. В. Колодезников и Е. А. Михайлова, сотрудничавшие с газетами, которые издавал А. Седой.

Что сегодня известно об этих претендентах на авторство «Амурских волков»?

Колодезников Николай Васильевич – до ноября 1910 года сотрудник газеты «Амурский листок», из которой он вынужден был уйти из-за обвинений, что в хроникёрских заметках систематически искажал истину. В 1910–1911 гг. Колодезников трудился в газете «Волна», а в 1912-м, когда в «Амурском пионере» и затем в «Благовещенском утре» печатался роман «Амурские волки», он сотрудничал именно с газетами Матюшенского. Псевдоним *Коляда*, который стоит под несколькими главами «коллективного романа», – это псевдоним именно Колодезникова, им он подписывал и некоторые другие свои материалы.

Михайлова Екатерина Афанасьевна – из мещан Благовещенска, по основной профессии учительница. В 1908–1910 гг. печаталась в «Амурском крае», а 1911–1912 – в газетах «Амурский пионер» и «Благовещенское утро»: стихи обычно за подписью *Михай* или *Юлия Михай*, а прозаические опыты, очерки – под именем *Крапива*, *Кэтти*. Нелишне напомнить, что псевдонимами *Крапива*, *Кэтти* и *Юлия Михай* подписаны некоторые из глав газетной версии «Амурских волков».

Таким образом, можно констатировать, что если и не все, то, по крайней мере, большая часть авторов «коллективного романа» нам известна. Это были (за исключением Матюшенского) обычные провинциальные

[19] Кстати, официальным редактором-издателем газеты «Амурский пионер» числилась гражданская жена Александра Ивановича – факт, заставляющий ещё в большей степени усомниться в чистоте финансовой подоплёки предприятия.

[20] *Седой А.* (*Матюшенский А. И.*) Фальшивые сторублёвки: Роман из местной жизни. Благовещенск: Изд-во газеты «Благовещенское утро», 1913; *Седой А.* (*Матюшенский А. И.*) Взаимный банк: Роман из местной жизни. Ч. 1. Благовещенск: Изд-во газеты «Благовещенское утро», 1916.

журналисты, известность которых не простиралась дальше Благовещенска.

В советское время «коллективный роман» в полном объёме не переиздавался. Лишь в альманахе «Приамурье» в 1956 году были опубликованы несколько глав из него с кратким предисловием Г. С. Новикова-Даурского – в то время научного сотрудника Амурского областного краеведческого музея[21]. По всей видимости, именно по его инициативе «Приамурье» и взялось за перепечатку избранных глав скандального произведения. По какому источнику: газетному или книжному – неизвестно. Скорее всего, по книжному (об этом можно судить хотя бы по отсутствию псевдонимов под главами); остаётся выяснить, где он был найден, почему не сохранился в фондах краеведческого музея или же в личном архиве Новикова-Даурского. Стоит напомнить, что на данный момент в Амурской области не зафиксировано ни единого экземпляра этой книги (имеются в виду отдельные издания 1912–1914 годов).

Автор предисловия признаёт, что роман не отличается высоким художественным уровнем. Ценность «Амурских волков», по мнению Новикова-Даурского, состояла в другом – в том, что они «довольно правдиво показывают мораль и нравы дальневосточной буржуазии начала XX века, разоблачают звериную сущность известных амурских воротил <…>, наживших громадные капиталы путём обмана, воровства и кровавых преступлений»[22].

Понятно, что этот вывод не вытекал из реальных сведений, основанных на документах, свидетельских показаниях, неоспоримых фактах, судебных решениях, а во многом был продиктован политической конъюнктурой, сложившейся в советское время исторической мифологией, общим отношением к свергнутым в октябре 1917 года эксплуататорским классам. То есть перед нами типичный образец пресловутого классового подхода к историческим и художественным явлениям. Остаётся вопрос, была ли позиция Новикова-Даурского вынужденной или же она полностью отвечала его убеждениям? В любом случае, подобный взгляд на роман «Амурские волки» не отражал подлинного его объёмного содержания, не выражал сути воплощённой в нём концепции русской действительности предреволюционного времени и представлений авторского коллектива о сущности человеческой природы. Возможно, такой уводящий от истины, но идеологически выверенный комментарий учёному-краеведу пришлось составить, чтобы провести в печать хотя бы отдельные главы произведения, в начале XX века вызвавшего большой резонанс в провинциальном Благовещенске. Кстати, в связи с этим можно сделать ещё одно предположение: возможно, версия Григория Степановича о том, что Матюшенский лишь редактировал написанный другими авторами роман, – нехитрый приём, позволяющий редакторам альманаха «Приамурье» избежать обвинений в публикации произведения, ведущую роль в создании которого сыграл соратник демонизированного в советское время попа Гапона, а в послереволюционное время – «контрреволюционер», «белоэмигрант», в 1923 году сбежавший из Советской России в Харбин.

Доподлинно неизвестно, чем руководствовался Новиков-Даурский, составляя предисловие, но результат очевиден: вольно или невольно краевед дал искажённую картину, представив авторов «коллективного романа» как принципиальных противников буржуазного строя, как бесстрашных обличителей язв капитализма, то есть чуть ли не как идейных союзников большевиков.

Удивительное дело: буквально до наших дней эта односторонняя, крайне узкая точка зрения, лишь в малой степени соответствующая реальному содержанию книги, практически не подвергалась сомнению. Её на разные лады повторяли амурские журналисты, так или иначе касавшиеся личности и творчества Матюшенского (в том числе А. А. Воронков), в первозданном виде её воспроизводит Ольга Федотова в трёх статьях о Матюшенском[23]. А. В. Лосев тоже писал, что роман «построен на сенсационных “разоблачениях” местных буржуазных воротил (в романе они выступают под несколько изменёнными фамилиями), наживавших громадные состояния на спекуляции золотом, на грабежах и убийствах»[24]. Нужно ли говорить, что никакой доказательной базы под этими утверждениями нет, никаких ссылок на исторические источники, документы или хотя бы газетные публикации-разоблачения нет и в помине. Не было и доказательств, что цель и смысл *коллективного романа* – именно разоблачение буржуазных дельцов Приамурья.

Ещё одно важное обстоятельство: ни у Новикова-Даурского, ни у Федотовой нет и намёка на анализ произведения, нет не только развёрнутой его характеристики, но даже и просто обращения к содержанию, проблематике, сюжету, сценам, образам, вообще к тексту книги. Нет даже ни одной прямой или косвенной цитаты! С момента создания «коллективного романа» и вплоть до сегодняшнего дня не было сделано ни единой попытки критически прочесть его, прокомментировать, попытаться понять его внутреннюю логику и специфику, социально-политические и эстетические причины его появления, не было попыток поставить его в тот или иной типологический ряд, попытаться соотнести с общероссийскими явлениями подобного рода. Кому это было по силам?

Безусловно, А. В. Лосеву, работавшему в 1990-е годы над большим очерком о Матюшенском[25]. Но, к

---

[21] Амурские волки: Главы из романа // Приамурье: Литературно-художественный и общественно-политический альманах. № 5. Благовещенск, 1956. С. 120–136. В подборку вошли шесть глав: «Контрабандисты», «Неожиданная встреча и разочарование», «Ранний гость», «На различных ступенях», «Волчье совещание», «Волк на волка», то есть с первой по третью, а также пятая, восьмая и десятая. В конце подборки редакция «Приамурья» обещала читателям «*Продолжение в следующем номере*», но обещание не выполнила. О причинах остаётся лишь гадать.

[22] Там же. С. 120.

[23] Материалы к биографии А. И. Матюшенского // Амурский краевед: Информационный вестник. № 1 (10). Благовещенск: Амурский областной краеведческий музей им. Г. С. Новикова-Даурского, 1995. С. 1–7; Матюшенский: Бандит пера или гуманист? // Благовещенск. 1996. № 37 (346). 13 сентября; Бестселлер начала века // Амурские волки: Коллективный роман из жизни Приамурья. Благовещенск, 1996. С. 5–13.

[24] *Лосев А.* Приамурье в художественной литературе: Аннотированный указатель. Благовещенск: Амурское книжное изд-во, 1963. С. 20.

[25] *Лосев А. В.* Александр Иванович Матюшенский: Полемические заметки о новоявленном «классике» амурской литературы / Публикация и комментарий А. В. Урманова // Амур: Литературно-художественный альманах. № 6. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2007. С. 39–60.

сожалению, в этой своей незаконченной работе он почти не касается произведения, в создании которого главную роль сыграл А. Седой. И это *коллективное* произведение, и авторские романы Матюшенского-Седого «Фальшивые сторублёвки» и «Взаимный банк», в которых тоже изображаются местные амурские дельцы, занимающиеся всякого рода тёмными махинациями, А. В. Лосев назвал яркими образцами «низкопробной бульварщины», «бульварным чтивом». Что касается романа «Амурские волки», основатель литературного краеведения Приамурья заметил, что скандальные разоблачения в нём имеют спекулятивный, сугубо коммерческий характер и продиктованы не благородным желанием вскрыть общественные язвы, показать подлинную, скрываемую властью правду, а банальным стремлением «привлечь к роману внимание мещанско-обывательской публики», «в конечном счёте, для увеличения числа подписчиков газеты»[26].

Что касается оценок романа «Амурские волки» О. Ф. Федотовой, то следует напомнить, что они были сделаны в «лихие 90-е», которые пробудили у части читателей ажиотажный интерес к подобного рода литературным явлениям. Эту издательскую конъюнктуру в начале 90-х почувствовала газета «Благовещенск», начавшая републикацию на своих страницах произведений Матюшенского, подаваемых как литературная сенсация. Тогда же редакция «Благовещенска» предприняла попытку перепечатать роман в газетном варианте, однако в городе не удалось отыскать ни одного экземпляра книги, вышедшей, как мы помним, тремя изданиями. Её нашли лишь в Российской государственной библиотеке (бывшая Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина)[27]. По запросу дирекции Амурского областного краеведческого музея оттуда была прислана копия-микрофильм романа. Перепечатка «Амурских волков» в «Благовещенске» началась в январе 1991-го и растянулась почти на весь год.

Читательский интерес к произведению был настолько велик, что появилась мысль выпустить «коллективный роман» отдельным изданием. Нашлись и спонсоры недешёвого издательского проекта – благовещенские предприниматели Э. В. Лисогор и В. А. Золотарёв.

«Амурские волки», иллюстрированные художником Юрием Наконечным, были переизданы в 1996 году десятитысячным тиражом[28]. «Коллективный роман» предваряла вступительная статья Ольги Федотовой. Подготовленная к печати в Благовещенске книга печаталась в Новосибирске, в типографии издательства «Советская Сибирь». С реализацией проблем не было: роман разошёлся за три месяца, и сейчас он – библиографическая редкость.

Статьи О. Федотовой призваны были вернуть и имя Матюшенского, и его произведения в активный обиход, обосновать общественный и культурный интерес к данному явлению. Об объективной оценке тогда речи не шло. О. Федотова попыталась реабилитировать Матюшенского не только как литератора, но и как личность. Она охарактеризовала его как человека «с обострённым чувством совести, душа которого остро реагирует на боль и страдания других людей»[29], писала, что он будто бы имел «благороднейшую цель – утверждение общества добра и справедливости для всего народа», руководствовался «в своих действиях единственно законами нравственности» и т. п.

Можно ли было столь высокие оценки давать человеку с весьма и весьма сомнительной репутацией, который был замешан во множестве скандальных, морально нечистоплотных историй? Точно так же кажутся неубедительными оценки Матюшенского как «незаурядного журналиста и литератора», у которого был «великолепный слог»[30]. Где же и в чём это проявилось? В непереносимо скучных книжках «От воровства к анархизму» и «Половой рынок и половые отношения», в которых, по мнению О. Федотовой, будто бы «максимально выразились его душа, его боль»?[31] Или же в «бестселлере начала века» – романе «Амурские волки»? Правда, в последнем случае автор столь возвышенных определений оправдывает Матюшенского тем, что в низком художественном уровне романа виноваты будто бы не А. Седой сотоварищи, а «публика», которой якобы «в то время нужны были именно “Амурские волки”»[32], – то есть низкопробная бульварная беллетристика.

Да, пожалуй, в этом О. Федотова права: какая-то, и немалая, часть публики, действительно, нуждалась в таком «искусстве». Подтверждение тому – успех спектакля по роману «Амурские волки», поставленного в марте 1914 года на сцене Благовещенского театра антрепренёром А. М. Долиным. Постановка эта стала главной сенсацией театрального сезона. Из-за беспрецедентного для Благовещенска наплыва зрителей, помимо двух премьерных спектаклей, пьесу показали ещё трижды. Как свидетельствуют газеты того времени, в театр валом валил народ – контрабандисты, сутенёры, проститутки и, что особенно удивительно, купцы-молокане.

Этот интерес читателей и зрителей к роману «Амурские волки» и его сценической версии нуждается в объяснении.

О. Федотова права и в том, что «роман “Амурские волки” следует воспринимать прежде всего как литературный факт, как один из моментов нашей культурной истории, без которой <…> нельзя понять настоящее и предвидеть будущее»[33].

Правда, её собственное истолкование произведения не только не приблизило нас к этой цели ни на шаг, но и, скорее всего, увело от неё в сторону.

Тем не менее статьи Федотовой так или иначе способствовали осознанию необходимости полномасштабного, целостного исследования романа «Амурские волки» как общественного и социокультурного феномена, весьма и весьма органичного для ситуации кануна первой мировой войны и двух революций, в результате кото-

---

[26] *Лосев А.* Приамурье в художественной литературе: Аннотированный указатель. Благовещенск: Амурское книжное изд-во, 1963. С. 20.

[27] Так утверждал А. Каминский – в 1996–1998 гг. главный редактор газеты «Благовещенск». По другой версии, книгу нашли в Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина (Санкт-Петербург).

[28] Амурские волки: Коллективный роман из жизни Приамурья. Благовещенск, 1996. 448 с.

[29] *Федотова О. Ф.* Бестселлер начала века… С. 8.

[30] Там же.

[31] Там же. С. 10.

[32] Там же.

[33] Там же. С. 13.

рых русская цивилизация претерпела серьёзные деформации. Очевидно, что только объективный анализ произведения поможет глубже понять причины разрушительных исторических катаклизмов, сотрясавших Россию и в 1910-е, и в 1990-е годы.

* * *

Чем же может быть интересен пресловутый «коллективный роман» современному читателю, не являющемуся любителем «низкопробной бульварной беллетристики», тем более вековой давности? А то, что это образчик так называемого *бульварного* романа, как будто бы не вызывает сомнений: «Амурские волки» содержат полный набор свойств и штампов этого специфического жанра массовой литературы. Герои произведения, как и полагается в подобных случаях, – обитатели городского «дна», контрабандисты, старатели, бандиты (в том числе этнические – хунхузы), воры, блудницы, разбогатевшие на мошенничестве купцы, продажные чиновники. Места действия – соответствующие: тюремные камеры, притоны, «весёлые» дома, игорные заведения, жилища новоявленных богатеев. Что касается сюжетных событий, то и здесь – соответствие канону: хроника городских криминальных происшествий, финансовые и имущественные аферы, грабежи, убийства, захватывающие погони, кипение любовных страстей, сводничество, коварные интриги. Да и создавался «коллективный роман» в расчёте на вполне определённую категорию читателей – потребителей третьесортной беллетристики, жаждущих не прикосновения к подлинному искусству, не приобщения к бытийной и экзистенциальной проблематике, а банальных развлечений, дешёвых сенсаций, скандальных историй.

Однако «Амурские волки» – больше, чем бульварный роман. На книгу можно посмотреть и как на зеркало, отразившее, пусть и в искривлённом и утрированном виде, то, что реально происходило в начале XX столетия в Приамурье. Почти все её сюжетные линии и ответвления основываются на подлинных событиях. Это и ограбление транспорта, перевозившего золото с Ниманских приисков, и громкие убийства, и обстрел Благовещенска, русско-китайский вооружённый конфликт 1900 года, и последующее разграбление имущества изгнанных на правый берег Амура или утонувших при переправе китайцев, и массовые волнения периода первой русской революции, и скандальные истории поджога пароходов, магазинов и домов их же владельцами – ради получения страховых выплат, и многое другое. Подавляющее большинство этих историй освещалось в прессе, в том числе в газете «Амурский край» (1899–1910), представленной в романе под пародийным названием «Пропащий край».

Подход к роману «Амурские волки» как к источнику сведений о жизни Приамурья вольно или невольно был задан, запрограммирован идеологом и вдохновителем издательского проекта. Уместно вспомнить, что возглавляемый и направляемый Матюшенским авторский коллектив – не писатели, не художники слова в привычном смысле, а газетные репортёры, журналисты-подёнщики. То есть люди, профессиональные навыки которых состояли не в литературном творчестве как таковом, не в создании условного художественного мира и вымышленных персонажей, а в оперативном отражении вызывающих общественный интерес фактов и явлений повседневной действительности – того, что они видели собственными глазами, что слышали от очевидцев, узнавали от свидетелей или собственных информаторов. Эти люди по роду своей деятельности вырабатывали, вынуждены были вырабатывать профессиональное умение найти, обнаружить в потоке будничной жизни незаурядные явления и тенденции, даже если они ещё слабо проявлены, ярко, броско подать их, по возможности превратить в сенсацию, то есть в товар, пользующийся повышенным спросом на провинциальном газетном рынке. Не секрет, на рынке этом запросы основной массы потребителей были непритязательными, что, в свою очередь, заставляло газетчиков, оправдывая ожидания своих читателей, переходить на их язык, пользоваться непроверенными слухами, откровенными сплетнями. Хотя, разумеется, существовали и серьёзные сдерживающие факторы: цензурные запреты, судебные преследования, административные взыскания.

Взявшись за создание романа – то есть, по большому счёту, не за своё дело, авторы «Амурских волков» избрали самый простой и естественный для них путь: подилетантски копируя, имитируя жанровые и языковые клише отчасти мелодрамы, отчасти детектива, отчасти уголовно-авантюрного романа, выстраивая разветвлённую сюжетную интригу, в центре которой – ограбление транспорта с крупной партией приискового золота, они заполняли непривычную для них жанровую форму привычным содержанием – тем, что было под рукой, чем они профессионально владели. Используемый фактический материал был накоплен ими за годы работы в провинциальных редакциях – своеобразных информационных центрах, куда стекались все более-менее значимые сведения о жизни Благовещенска и в целом Приамурья. В ту пору, о которой идёт речь, провинциальные газетчики были едва ли не самой информированной частью просвещённого сообщества. И репортёры, и редакторы такого рода изданий были в курсе всех местных новостей, особенно криминальных, досконально знали, что происходило в городе и крае, знали всех заметных представителей основных групп населения, всех публичных деятелей. Им были известны не только парадные стороны жизни, но и её изнанка. Они были осведомлены о нравах, царящих на разных уровнях провинциального социума, включая «дно». Они и сами были частью мира, о котором рассказывали. Постоянная борьба за подписчика, конкуренция с другими периодическими изданиями, работающими в том же самом замкнутом пространстве, – всё это вынуждало редакции существующих на коммерческой основе периодических изданий превращаться в подобие информационно-аналитических отделов спецслужб. С тою лишь разницей, что добытую информацию они не скрывали, не прятали, а, напротив, делали достоянием гласности, привлекали к ней всеобщее внимание, превращали её в сенсацию.

Бо́льшая часть описываемых в романе событий, персонажей, совершаемых ими поступков не является плодом чистого вымысла, проявлением буйной, ничем не ограниченной фантазии авторов. Материал для «Амурских волков», в основном, черпался из того же самого информационного потока, который питал газетные публикации. Правда, у авторов романа были в большей степени развязаны руки: они могли, почти без оглядки на возможные судебные иски и административные меры, основываться не только на достоверной информации, но и на слухах, предположениях, в том числе фантастических. Теперь со спокойной совестью они могли и домысливать, придумывать. Не было у них и необходимости строго выдерживать хронологию, воссоздавать события в их подлинной

исторической последовательности. Заменив настоящие имена прототипов вымышленными – либо легко узнаваемыми (так, купцы Алексеевы предстали в романе как Алёхины, Косицыны – как Покосовы, Семеров – как Семёркин), либо откровенно фельетонными (Искариотова, Хулиганов, Подхалимов, Трутнев), авторы юридически обезопасили себя от обвинений в клевете, в покушении на честь и деловую репутацию известных в городе и крае людей. И в то же время сделали всё возможное, чтобы по деталям современники легко догадывались, кто имеется в виду. Интерес к «Амурским волкам» во многом был вызван тем, что в романе искали (и находили) подтверждение слухам, в том числе самым невероятным, о реальных лицах и подоплёке реальных же событий. Произведение воспринималось частью читателей как «срывание всех и всяческих масок» с действительности, как обнажение подлинной, неприглядной, и потому замалчиваемой, скрываемой властью, правды жизни.

Впрочем, и сегодня некоторые из читателей убеждены, что роман правдиво изображает амурскую действительность начала двадцатого века. Вот, например, мнение известного историка: «Большой популярностью у читателей пользовались романы “из местной жизни”: “Амурские волки”, “Фальшивые сторублёвки”, “Взаимный банк”… Все они очень хорошо передавали колорит и нравы тогдашнего Благовещенска»[34]. А вот запись, сделанная 4 ноября 2010 года одним из посетителей местных интернет-форумов: «Недавно, наконец, прочёл “Амурские волки”. Авантюрный роман, написанный сто лет назад в Благовещенске и про Благовещенск. Его называют бульварным чтивом, но мне он показался весьма социальным. Штиль, конечно, устаревший, но на фоне того, как писали сто лет назад, – весьма и весьма. Конечно, главное от чего я пёрся, это осознание факта, что всё, что описывается в романе, происходило здесь, на этих самых улицах, в домах, которые ещё стоят у нас в городе до сих пор. Жаль, в книге мало ссылок на конкретные названия». Как видим, читатель не сомневается: «всё, что описывается в романе», было на самом деле. Убеждает современных читателей в достоверности содержания книги 1912 года и то, что подобное они наблюдают вокруг себя. Вот одна характерная реплика из амурской блогосферы, датированная 20 мая 2010 года: «А вы почитайте роман “Амурские волки” о начале 19-го (ошибка, надо – 20-го. – *А. У.*) века в Благовещенске. Странным образом события напоминают нынешний передел власти».

Однако «Амурские волки» дают представление не только о социальной жизни Приамурья начала двадцатого столетия, но и о сознании тогдашних людей. Произведение показывает, чем, какими интересами и заботами они жили, к чему стремились, что обсуждали, как воспринимали окружающий мир и своих современников.

Авторы коллективного романа, в своей основной работе ориентировавшиеся на вкусовые предпочтения, информационные и эстетические запросы провинциальной читающей публики, во многом походили на неё. Так что не случайно в первой части статьи столь подробно рассказывалось о биографии и личности Матюшенского: ведущий автор «Амурских волков» вполне мог стать и одним из прототипов романа, в котором действуют разного рода авантюристы. По крайней мере, для человека с таким жизненным багажом, как у него, вряд ли могла быть тайной за семью печатями психология подобных героев.

Соавторы А. Седого (а отчасти и он сам) – люди с обыденным типом сознания, в каком-то смысле обычные городские обыватели, с не очень широким культурным кругозором, не получившие систематического образования, видевшие и понимавшие жизнь во многом примерно так же, как большинство подписчиков газет, в которых они печатались. Жизненные ценности и эстетические вкусы тех и других были близки, а потому повороты сюжета, характеры и взаимоотношения героев, их внутренний мир, их речь они выстраивали в соответствии со своим жизненным и профессиональным опытом, со своими представлениями о том, как на самом деле устроены российская действительность и русский человек.

Таким образом, прочтение романа под определённым углом зрения может помочь реконструировать сознание, систему ценностей весьма распространённой категории читателей предреволюционной эпохи. Речь не об интеллектуальной и культурной элите российского общества, не о той сравнительно узкой и замкнутой части социума, которая ментально ощущала себя в координатах культуры Серебряного века, которая впитывала идеи русской классики и религиозной философии начала столетия. И не о составляющем большинство населения тогдашней России крестьянстве, жившем заботами о хлебе насущном, тесно связанном с землёй, с естественным, природным течением бытия. В данном случае имеется в виду самый мощный, срединный слой городского, так называемого «просвещённого общества». В основном, его составляли провинциальные чиновники, выборные и служащие органов и учреждений местного самоуправления, служащие частных компаний, провинциальные газетчики, часть имеющего весьма специфические культурные запросы мещанства, мелкая и средняя буржуазия и т. д.

Именно поэтому важно сконцентрировать внимание не на жанровых особенностях произведения, не на его поэтике (всё это в силу заурядности книги не представляет особого интереса), не на бесчисленных художественных недостатках, а на мировоззрении, мироощущении героев – представителей того самого многослойного общественного конгломерата, о котором говорилось чуть выше.

Вопреки утвердившемуся ещё в советское время мнению, идейный смысл романа не сводится к обличению «морали и нравов дальневосточной буржуазии», к выявлению «звериной сущности» «местных буржуазных воротил», наживающихся на спекуляции, грабежах и убийствах. Хотя и эти стороны действительности получили впечатляющее отражение в «Амурских волках». Однако мораль и нравы буржуазных дельцов в романе ничем не отличаются от морали и нравов представителей иных групп населения.

Да, инициатор ограбления транспорта с двадцатью пудами золота купец Василий Александрович Алёхин, один из самых богатых людей города, не останавливается «перед любым преступлением, перед любым мошенничеством»[35]. Этот человек «с тупым лоснящимся лицом» двадцать лет назад, когда он ещё был Алёхой Тимохиным, из-за

[34] *Шиндялов Н. А.* История Благовещенска. 1856–1907. Очерки, документы, материалы. Благовещенск: ОАО «Амурская ярмарка», 2006. (Серия «Благовещенск. Из века в век»).

[35] Амурские волки: Коллективный роман из жизни Приамурья. Благовещенск, 1996. С. 270. Далее произведение цитируется по этому изданию с указанием страниц в круглых скобках.

золота «товарищей своих прикончил и стал богат» (40). В главе «Волчья совесть» его сотоварищ по уголовному прошлому вспоминает, как в молодости Тимохин «отблагодарил» женщину, которая из сострадания дала ему, голодному и преследуемому беглецу, кров и чистое бельё, накормила, напоила, обласкала: «Хозяйка лежала на полу с раскроенным черепом… Пол залит кровью с мозгами» (47). Он и сейчас способен ради наживы погубить доверившегося человека, хотя нынешний статус вынуждает его осторожничать, совершать злодейства преимущественно чужими руками.

Но примерно так же, как Алёхин, действуют и другие персонажи, представляющие разные сословные группы, но одинаково легко нарушающие заповедь «не убий». И речь не только об уголовниках, беглых каторжниках, хунхузах. Поселяне во время охоты на медведя беспричинно убивают случайно встретившегося им бродягу (глава 30 «В тайге»), содержатели публичных домов – своих клиентов, вернувшихся с приисков старателей (глава 39 «Открытие “весёлых домов”»). Состоятельный молоканин Хулиганов из-за опасений разоблачения ударом тяжёлого табурета по голове лишает жизни своего родителя (глава 49 «Отца надо устранить»). Местные чиновники во время трагических событий лета 1900 года обрекают на смерть сотни или даже тысячи китайцев, заставляя их вплавь добираться до правого берега пограничной реки (глава 51 «За Амур или в Амур?»). Доктор Марков, вопреки нормам морали, вопреки божьим и человеческим законам, убивает ещё не родившихся младенцев (глава 62 «Прекрасный был бы ребёнок»).

А самые чудовищные зверства, жертвами которых становятся, в том числе, дети, совершает банда Антонины Искариотовой – известной в городе женщины, героини событий русско-китайской войны (главы 45 «Таинственное убийство» и 46 «Город взволнован. Ещё убийство»). Яркая, умная, хладнокровная Искариотова была центром кружка «жуирующих людей и царила в нём, распоряжаясь и сердцами, и кошельками» (212). А тёмными ночами она тайно приходила к полицейскому чину Звонарёву и подолгу беседовала с ним. О чём – становится понятно, когда однажды ранним утром Искариотова со спутниками, одетыми под кавказцев, подъехала к дому купца, у которого, по её сведениям, должно было быть на руках двадцать тысяч рублей. После того как она отравила собак, а спутники фомкой сняли дверь с петель, Антонина вошла в дом и стала хладнокровно расстреливать из револьвера всех, кто ей попадался: в прихожей хозяина, в спальне пожилую женщину, прячущегося за неё «хорошенького мальчика лет четырёх», затем крепкого молодого человека, который выскочил с топором в руке, шестнадцатилетнюю девушку, далее девочку лет шести, юношу лет шестнадцати со столовым ножом в руке, здоровенного мужчину с поленом в руке, видимо кучера или истопника… Вместо денег, правда, убийцы нашли расписку, в которой говорилось, что хозяин дома накануне внёс в банк те самые двадцать тысяч, из-за которых была устроена страшная резня.

Зверские убийство взволновали город, но Звонарёв так вёл следствие, так умело направлял общественное мнение, что все стали думать на кавказцев. А вскоре произошло ещё одно жестокое преступление: «Вырезана семья кассира городской управы. Разбойники и тут действовали дерзко и зверски жестоко. Вместе с другими зарезан был и ребёнок лет пяти» (219). И всё это – ради контрабандного золота, хранившегося у хозяина.

Такая вот амурская Кущёвка столетней давности… В то, что такое могло произойти на самом деле, поверить трудно, почти невозможно. Однако сомневаться не приходится: авторы «Амурских волков» описали не вымышленные, а подлинные случаи.

Двигатель всех совершаемых в «коллективном романе» преступлений – корысть, алчность, неутолимая жажда наживы. Золота, денег вожделеют все: убийцы и грабители, тюремщики и тюремные сидельцы, «святые старцы» и рядовые члены молоканской общины, таможенники и контрабандисты, крупные купцы и мелкие торговцы, чиновники всех рангов, судьи, дознаватели, полицейские... Ради наживы многие из них готовы пойти на преступление. Хотя, наверное, называть их «преступниками» не вполне правильно. Они в большинстве случаев даже не осознают, что что-то *преступают*. Преступать – значит что-то преодолевать в себе, хотя бы страх – перед законом или Богом, подавлять жалость к другому человеку или же брезгливость, отвращение к собственному поступку, задуманному или уже совершённому. Здесь же нет никакого внутреннего преодоления, никакого осознаваемого *преступания* норм морали, а после совершения мошенничества или кровавого злодеяния – никаких мук совести, ни даже тени раскаяния или хотя бы сожаления. Герои романа пребывают в полной уверенности: позволено всё, что ведёт к обогащению, к личному преуспеянию.

Купцы и промышленники Арносов, Августов, Алёхины, Покосовы беспрестанно жульничают, но точно так же, а в некоторых случаях и более беззастенчиво и нагло, жульничают чиновные люди, государственные служащие: Балюшевич, Звонарёв, не названный по имени «чиновник особых поручений при губернаторе» (208), выведенные в главе 66 «Деловой ужин» влиятельные городские чиновники – одинаково безликие, алчные и продажные: Андрей Андреевич, Григорий Григорьевич, Пётр Петрович, Фёдор Фёдорович… Если купцы – это преимущественно «волки», способные загрызть жертву, то чиновники в образной системе романа – трусливые «шакалы», стремящиеся урвать кусок пожирней с пиршественного стола первых. Так, например, когда слухи об очередном крупном мошенничестве Алёхина с поддельным золотом (на сорок тысяч «нагрел» китайских перекупщиков) стали известны в городе, к нему тут же потянулись «шакалы» – городские чиновники, вымогающие взятки. Сначала появились люди «первого разряда», человек шесть (всем пришлось дать), потом чиновники «второго разряда» (давал меньше и выборочно), потом стала одолевать всякая мелкота (этих гнали в шею).

Но чаще всего «волки» и «шакалы» действуют сообща, сбиваясь в стаи. Все они – представители государственной и муниципальной власти, правоохранители, судьи, буржуазные дельцы, уголовники – тесно сплетены в один ядовитый клубок, в один гигантский «кооператив», подобие единой партии – партии тогдашних жуликов и воров. Главное, что всех их объединяет – жажда наживы и хищнические наклонности. Мир романа населён множеством зооподобных существ – персонажей, которых и они сами, и другие герои, и авторы бессчётное число раз именуют *волками* и *шакалами*. Слово «волк» (вместе с производными) – самое частотное и концептуально значимое в книге. Помимо заглавия произведения, оно присутствует в названиях десяти глав: «Волчья совесть», «Волчье совещание», «Волк на волка», «Волк и шакал», «Белые и жёлтые волки», «Таёжные волки», «Волки в тюрьме…», «Волк

у волка кость стащил», «Старые волки», «Волки всполошились». Слово «шакал» фигурирует в названиях трёх глав.

Уподобление персонажей хищным животным, зверям имеет вполне объяснимую мотивацию, так как в литературной традиции «зверь – это прежде всего инстинкт, торжество плоти», «мир плоти, освобождённой от души»[36]. Сказанное справедливо по отношению к большинству персонажей «коллективного романа». Это не люди, а зооподобные, звероподобные существа, утратившие (или никогда не имевшие) представление о высшем смысле человеческого бытия, не знающие простых человеческих чувств и добродетелей – любви, нежности, верности, жалости, сострадания. В этой среде волчьими наклонностями принято не стыдиться, а гордиться, их не только не маскируют, но, напротив, демонстрируют. Волчья душа тянется к себе подобной. Потому-то купец Иван Арносов, сделавший состояние на воровстве и обмане, ничуть не расстраивается, узнав, что жена обманывала его, изменяла ему с другим отъявленным мошенником – Леонтием Балюшевичем. «Да ты, Софочка, не волнуйся, – успокаивает он её. – Лишь бы душой ты от меня не ушла… А я знаю, что не уйдёшь. Душа-то твоя родная сестра моей душе. Одинаковые они у нас с тобой, Софочка, одинаковые. Волчьи, матушка, волчьи!» (102). И обманутый муж предлагает жене для удобства встречаться с любовником не в гостинице, а у себя дома. И даже просит её сильнее «приворожить» Леонтия – чтобы наладить с тем более тесные деловые отношения и на этом «заработать толику». Балюшевича такой поворот тоже нисколько не смущает, ибо натура у него такая же волчья, как и у двуногих хищников Арносовых.

Широкое применение в «Амурских волках» зооморфных сравнений и уподоблений напрямую связано с отразившейся в романе духовно-нравственной деградацией и отдельных людей, и всего общества.

Вернёмся к теме объединения выведенных в произведении *волков* и *шакалов* в преступные стаи. Один из таких случаев, описанных в романе и имеющих под собой реальную историческую основу, – разграбление китайских лавок, складов и жилых домов после событий июля 1900 года: «Образовалась целая шайка. Товары на глазах всего населения города вывозились <…> и бесследно исчезали» (254). Шайку возглавляет всё тот же вездесущий Звонарёв. Когда-то этот хорошо информированный господин служил на почте, а сейчас на нём мундир могущественного государственного ведомства. Вокруг Звонарёва и его помощников по службе (и криминальному промыслу) Ломягина и Костеренко собирается весьма разношерстная публика: представители городских властей, бандиты, купцы, мелкие спекулянты, служители правопорядка. Среди них оказываются и такие колоритные фигуры, как Антонина Искариотова, Кузька Подхалимов, Трутнев. Шайка действует в открытую, но никто из власть предержащих не реагирует – все «в доле»: «Всё это было известно городскому голове и сиротскому суду. Но голова и суд молчаливо покрывали этот грабёж. В сиротском суде в то время сидел секретарь, составлявший отчёты опекунам, выводивший дутые цифры и прикрывавший всякий грабёж. При таких условиях всё сходило с рук безнаказанно» (256–257).

Авторы «коллективного романа» словно убеждают читателей: одолеть *волков* и *шакалов* невозможно, ибо они приспосабливаются к любым изменениям социально-политической конъюнктуры. Показательна в этом отношении глава «Дни свободы и кошмар Звонарёва». Чтобы нагляднее продемонстрировать способность героев к мгновенной социальной мимикрии, авторы романа отступают от хронологии и переносят главарей шайки грабителей китайского имущества из 1900 года (глава 55) сразу в 1905-й (глава 56), то есть в социально-исторический контекст первой русской революции.

В городе начинаются народные волнения: «Тысячные толпы ходили по улицам, собирались на площадях. В народе мигом приобрели права гражданства досель неслыханные слова: свобода, митинг, конституция, революция, оратор, лидер, платформа и т. д. И эти новые слова как будто электризовали публику. Все были возбуждены и все желали великих дел и героических поступков. В водоворот этого возбуждения и попал Звонарёв со своими сподвижниками. От них потребовали отчёта в их действиях. <…> Перепуганный насмерть Звонарёв тотчас <…> принёс покаяние и поклялся, что отныне будет верным слугой народа и, если потребуется, умрёт за свободу» (257–258).

Судя по саркастическому тону, с которым описывается энтузиазм участников революционных шествий и внезапное «прозрение» жуликов от власти, главу о 1905 годе, похоже, писал автор упоминавшейся выше «Исповеди» Матюшенский. Видимо, никаких иллюзий по поводу того, что социальный переворот, смена формы правления могут изменить сущность человека и порядки в стране, в 1912 году он уже не питал.

В таком же ключе выдержан и финал романа, который не укладывается в привычную схему. Порок хотя и наказан, но очень избирательно. Из всех представших на страницах произведения многочисленных убийц, грабителей, мошенников пострадали лишь трое: на пять лет каторжных работ осуждены горе-поджигатель Хулиганов и заказчик поджога Фёдор Покосов, десять лет каторги получила Искариотова. Про торжество добродетели говорить вообще не приходится. Финальный абзац таких надежд не обещает ни в настоящем, ни в будущем: «Кузька Подхалимов избран гласным Думы и с нетерпением ждёт назначения почётным мировым судьёй. Это его мечта. И, говорят, она исполнится. В наше время всё может быть» (441).

Те процессы в социальной жизни и общественной морали, которые отразились в романе, не были результатом мгновенной трансформации, они созревали и подготавливались не одно десятилетие, а ускорение получили в эпоху бурного развития капитализма. Процессы эти, разумеется, имели отнюдь не региональный характер, они действовали во всей России, но на Амуре – особенно быстро и агрессивно. И по причине удалённости амурских земель от центра государства, от основных институтов власти, и в силу геополитической необходимости создать здесь благоприятные условия для ускоренного освоения присоединённых к России обширных пространств. А ещё потому, что сюда, на новые земли, прослывшие «русской Калифорнией», краем, где можно сказочно быстро разбогатеть, слетались во множестве любители наживы, лихие, склонные к аферам дельцы, в том числе и уголовники. Собственно, об этом можно прочесть и в «Амурских волках»: «В городе проживали сотни профессиональных преступников, воров, грабителей, разбойников. Убийства случались чуть ли не ежедневно…» (219–220).

[36] *Фёдоров Ф. П.* Романтический художественный мир: пространство и время. Рига, 1988. С. 306.

Прекрасная иллюстрация к тезису о том, что на Амуре концентрация мошенничества была выше, чем в Центральной России, – глава «Горячий лёд», в которой один из братьев Покосовых, Фёдор, нанявший Володю Хулиганова поджечь ради страховки собственный пароход, гружёный не пушниной, как значилось в документах, а битым стеклом и другим хламом, успокаивает родственника, опасающегося каторги: «Тут не Россия. Тут и не такие дела сходят с рук» (296). На реплику Хулиганова, что-де в России законы везде одни, он уверенно отвечает: «Законы-то одни, да люди другие. В России, ежели ты поджёг пароход, так шум поднимется на весь мир. А тут... посмеются немного, и всё тут» (296). И рассказывает почти анекдотический случай. Некие «умные люди» купили за гроши пароход. Корпус у него был совсем старый, а машина ещё могла послужить. Как быть? Выход из положения нашёлся: машину сняли и свезли на берег, корпус же вскоре сгорел. А люди, проводившие дознание, вынесли заключение, что в пожаре виноват… лёд, который во время шуги «тёрся о пароход, пароход шатался. Ну и происходило трение. И от трения пароход загорелся» (298). Так в протоколе и записали: «Произошло самовоспламенение от трения льда». В результате, за ветхий корпус, годящийся разве что на дрова, мошенники получили в качестве страховки сорок девять тысяч. Часть суммы, надо полагать, осела в карманах «учёных», готовивших заключение. Пассаж об «учёных», впрочем, как и многие другие в романе, не потерял своей актуальности и в наши дни: «Учёные, они как начнут думать, так надумают непременно. Что хочешь под учёную линию подведут» (297). Точнее было бы сказать не «что хочешь», а «что закажут», «что проплатят».

Рассказ Покосова об афере завершается резюме: «На Амуре всё возможно. Такие ли дела сходили с рук!» (299). Журналисты, создававшие «коллективный роман», могли судить об этом со знанием дела.

Более раннюю стадию общественной деградации на Амуре запечатлел Леонид Волков в стихотворении «Вы ищете жизни, вы жизни хотите?!» (1894):

А здесь в городишке (за резкость простите),
Как в старом болоте, затишье и вонь!..
Есть люди и нет их; общественной связи
Здесь нет никакой, не ищите её…

Если верить «коллективному роману», за восемнадцать лет, прошедших с момента публикации произведения первого амурского поэта, ситуация в Благовещенске только усугубилась, деградация затронула многие сферы жизни. Бурными темпами утверждающийся на Амуре «дикий капитализм» и сопровождающий его культ наживы и чистогана создают максимально благоприятные условия для развития и проявления худших человеческих качеств. Всё возвышенное постепенно сходит на нет, вытесняясь низменным, порочным. Серьёзным испытаниям подвергаются традиционные семейные ценности, институт семьи и брака: «В городе вообще на “свободную” любовь смотрели довольно легко, и всевозможные сожительства ни в ком не вызывали удивления» (270). Процветает сводничество, не пустуют «весёлые дома». Выведенные в романе женщины ощущают в себе не любовь, а «инстинкт самки» (50), «половое возбуждение», «половой психоз» (267), в лучшем случае «безумную страстность» (266). И практически все они воспринимают себя как товар, который можно выгодно продать. В свою очередь, для мужчин женщина – «лакомое блюдо», «кушанье», которого хочется «отведать» (201). Дети, подростки из бедных семей попадают в ловко расставленные сети богатых развратников (пивной заводчик Августов). Множатся наркоманы, которыми переполнена тюрьма. В общем, печальная картина, разительно похожая на ту, которую рисуют средства массовой информации периода современных «рыночных преобразований».

В отсутствие испарившейся неведомо куда подлинной веры, подлинного религиозного чувства у человека не находится внутренних сил для противостояния злу и пороку. Внешних сдерживающих факторов в обществе тоже практически не осталось: власть поражена тотальной коррупцией, а церковь всё в большей степени становится местом отправления формального ритуала, почти не связанного с душевно-духовной жизнью человека. Посещение храма может чередоваться с совершением преступлений, с мошенничеством, и это не воспринимается как что-то несовместное. Так, об одном из самых отъявленных жуликов католике Балюшевиче говорится, что «он был человек религиозный» и церковь «посещал аккуратно каждое воскресенье» (350). В силу цензурных причин, авторы «Амурских волков» не могли поставить под сомнение авторитет православной церкви, поэтому о ней вообще не упоминают. Зато целых три главы (с 68-й по 70-ю) посвящают порядкам в молоканской общине Благовещенска. Суть этих порядков предельно проста: согрешил, смошенничал – отдай «десятину» Богу, точнее «святым старцам», руководителям общины, а уж они «отмолят», «снимут грех». Не поделился – главари общины сделают всё, чтобы человека постигла кара, причём не небесная, а земная. То есть и здесь царят те же самые волчьи законы и нравы, что и в мирской жизни.

Таким образом, можно заключить, что авторы «Амурских волков», преследуя прежде всего коммерческие цели, не ставя перед собой серьёзных художественных задач, произвольно перемешивая правду с вымыслом, подлинные факты со сплетнями, отразили в своём бульварном романе многие язвы современного им общества.

Что зафиксировал их взгляд? Если сказать коротко, ситуацию, при которой главной, чуть ли единственной настоящей ценностью для большинства жителей Приамурья является нажива, неважно какой ценой (убийствами, грабежами, воровством, мздоимством, жульничеством, сводничеством, торговлей телом) приобретённые деньги. Вопреки, быть может, собственным намерениям авторы обнаружили повсеместную утрату людьми и религиозного, и государственного, и национального сознания, практически полное исчезновение нравственных и духовных идеалов в повседневной жизни российской глубинки, в непосредственной практике основных сословных групп населения. Иначе говоря, явственные признаки разложения, серьёзного духовно-нравственного недуга, поразившего значительные слои русского общества в канун больших исторических испытаний 1914–1917 годов.

Галина ЭФЕНДИЕВА

доцент кафедры литературы и МХК АмГУ

ДРУЗЬЯ-ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ ПАМЯТИ ФЁДОРА ИВАНОВИЧА ЧУДАКОВА

(*Предисловие к публикации текстов*)[1]

Рассказывать о героях и событиях литературной жизни Дальнего Востока первой половины прошлого столетия – задача сложная, но чрезвычайно интересная. Обращаясь к истории «забытых людей», тщательно собирая источники, невольно уподобляешься археологу или детективу[2]…

О жизни и творчестве многих дальневосточных поэтов и писателей, журналистов и публицистов известно ничтожно мало или недостаточно. Среди них значится и имя *Фёдора Ивановича Чудакова* (1887–1918) – «самого яркого, самого талантливого и самого значительного писателя Приамурья» начала XX века[3].

Проблемы изучения биографии и литературного наследия Фёдора Чудакова (как и большинства его современников, коллег по «цеху») во многом обусловлены трудной, трагической судьбой поэта и не менее сложным, противоречивым временем, в котором ему пришлось жить.

Личный архив Чудакова не сохранился, и современные исследователи обладают сравнительно небольшим набором инструментов для реконструкции его жизни и деятельности. Среди опубликованных источников важное место занимают рассеянные по периодическим изданиям хроникальные заметки, отзывы критиков, воспоминания собратьев по перу и их художественные произведения.

Так, например, в одном из номеров владивостокской газеты «Голос Родины» за 1920 г. было опубликовано стихотворение Н. Шилова «День за днём. Над строками поэта». Ему предпослан эпиграф: «Над открытием Америк на страницах пыльных книг я трудился до истерик, но никто не крикнул “Берег!”... Берегов я не достиг. (Из записной книжки Ф. И. Чудакова, редактора-издателя журнала “Дятел, Беспартийный”, два года тому назад 28 февраля (ст. ст.) застрелившего жену, дочь, собачку и себя)».

Милый Федя! Я ведь тоже,
Как Колумб, куда-то плыл
И, когда я был моложе,
Все преграды бил по роже,
Но Америк не открыл.
Ты взамен своих Америк
Яро кинулся в борьбу
И нашёл желанный берег,
Как измученный холерик,
В преждевременном гробу.
Где, когда я якорь брошу?
Где мой отдых? Где мой брег?
И куда тащу я ношу?
Неужели в ту калошу,
В кою свой направил бег
Не один уж человек?[4]

Где и когда пересеклись пути этих двух творческих индивидуальностей, сказать сложно. О Николае Шилове, оказавшемся в начале 1920-х гг. в эмиграции и писавшем там фельетоны под псевдонимами «Герцог Лоренцо» и «Коля Шило», – сегодня тоже почти ничего не известно[5].

[1] *Публикация подготовлена в рамках выполнения проекта МК-6409.2010.6 «Социокультурный контекст художественного наследия дальневосточных писателей-эмигрантов (текстологический и источниковедческий анализ)», работа по которому ведётся при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации.*

[2] О принципе «уликовой парадигмы» см. работы *К. Гинзбурга*.

[3] Об этом: *Лосев А. В*. Об одном забытом поэте (Фёдор Иванович Чудаков) // Амур: Литературно-художественный альманах. Благовещенск, 2008. № 7. С. 47–54; *Урманов А. В*. «Шпильки» нашлись! (Об одной литературной сенсации) // Амур: Литературно-художественный альманах. Благовещенск, 2009. № 8. С. 59–66; *Урманов А. В*. Литературная жизнь Благовещенска // История Благовещенска. 1856–1917: В 2 т. Т. 1. Благовещенск, 2009. С. 348–355.

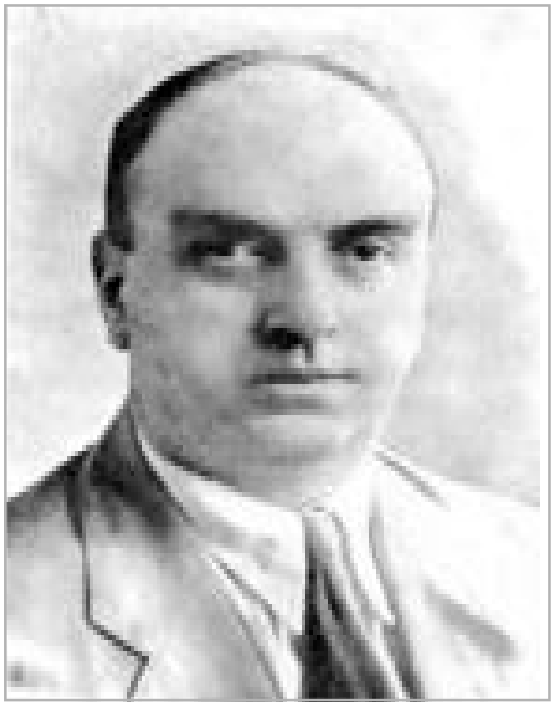
[4] Голос Родины. 1920. 12 марта. С. 3.

[5] *Шилов Николай Дионисьевич* (?–1936) – поэт, журналист. По образованию горный штейгер, военный чиновник. Участник гражданской войны на Дальнем Востоке. Писал в газеты Читы, Благовещенска, Хабаровска, Владивостока. Сотрудник газеты «Дальний Восток» (1918). Выступал как фельетонист в харбинских газетах «Рупор» и «Заря» (1920–1929). Вёл отдел «Сатира и юмор» в журнале «Рубеж» (1928–1929). С 1932 г. жил в Шанхае, работал в газетах «Шанхайская заря», «Вечерняя заря».

К читателям благовѣщенцам.

13-го марта исполняется 16 лѣт со дня смерти амурск[а]го по эта Федора Ивановича Чудако ва.

Готовится к выпуску в свѣт сборник его произведеній. Редан ція нашей газеты обращается с просьбой ко всѣм благовѣщен цам, у которых имѣется что ни будь из напечатанных в свое время стихов покойнаго поэт[а] или разсказов его, прислать в ре дакцію с надписью: «Для сбор ника памяти Ф. И. Чуданова»



Евгений Кауфман

Николай Шилов

Н. Шилов выступил и организатором вечера, посвящённого памяти Ф. И. Чудакова. Специально для вечера в литературно-художественном обществе Дальнего Востока («Балаганчике») поэт написал ещё одно произведение – «Памяти друга»:

...Он был с такою душою мирной,
Так нежно-ласков, так дивно-прост.
Он был для жизни рождён надмирной,
Для лунных бликов, для дальних звёзд.

Но он стыдился нам петь о звёздах,
Боялся даже на них взглянуть,
Когда он чуял кровавый воздух,
Когда он видел опасный путь.

Лишь только люди с душой срединной
Поют о небе в такие дни.
Но то – поэты портьер гостиной, –
За тенью пальмы поют они.

А он? Он бился мечом созвучий,
Он пел к народу, он звал народ.
Он был поэтом страны дремучей
И менестрелем её невзгод.
Он бился долго, пока был в силе,
Пока горел он святым огнём,
Пока огня в нём не погасили
Враги народа, объяты злом.

Прощай навеки, поэт-товарищ,
Ты нас покинул, не веря в сны,
А мы остались среди пожарищ,
Среди развалин родной страны…[6]

Первоначально концерт был запланирован на 20 марта 1920 г., однако вскоре был перенесён на 25 марта. Как писали в местной прессе, «Н. Д. Шилов отложил его потому, что литературные материалы Ф. И. Чудакова, выписанные из Благовещенска, запоздали в пути. Теперь они получены и по ним составляется реферат о жизни и творчестве поэта, а также вырабатывается программа вечера, посвящённого его памяти. Чтобы полнее осветить жизнь и деятельность этого яркого таланта, организатором привлечены к участию в вечере амурские публицисты А. А. Руфин и Е. С. Кауфман»[7]. Для декламации произведений Чудакова были приглашены артисты Варшавский, Зиновьев, Зубов, Мирский и другие. В результате была сформирована следующая программа: реферат о жизни и творчестве поэта (*А. Руфин*), воспоминания о Ф. И. Чудакове (*Е. Кауфман*), «Памяти Ф. И. Чудакова» (*Н. Шилов*), сочинения Ф. Чудакова (*в исполнении артистов*): «Верую», «Старый дятел», «Авдотья Андреевна», «Евшантрава», «Сотворение Приамурья», «Очарованный леший», «Тишина», «Не надо веселья», «Из книги пророка Иеремии», «Когда в цепях страдал народ», «Очарован вольной волей», «Старая хлеб-соль забывается».

Предполагалось, что в этом вечере примет участие талантливая драматическая артистка Анна Морозова. Она должна была читать одно из произведений амурского поэта, но не смогла этого сделать, так как накануне вечера заболела. Выздороветь ей было уже не суждено. Молодая женщина (ей едва исполнилось 30 лет) умерла 26 апреля в номере гостиницы «Золотой Рог». Н. Шилов в заметке «Памяти А. П. Морозовой» писал, что в её смерти «роковую роль, безусловно, сыграли печальные события в ночь на 5 апреля, когда номер, где лежала больная, целую ночь обстреливался пулемётным огнём…»[8] «По странному совпадению, она выбрала для своей декламации балладу Чудакова “Соня Климова”, которая кончается следующими стихами:

Было утро. Пели птицы.
Одевался лес листвой.
Грустно пели ученицы:
“Со святыми упокой”.
Сторож кладбища, трезвоня,
Бормотал: “Таки дела”…
А в гробу лежала Соня…
А вокруг весна цвела…

По странному же совпадению, А. П. Морозова родилась недалеко от Чембар, Пензенской губернии, где родился и Ф. И. Чудаков. Никогда, по её словам, не декламировавшая, она долго отказывалась от участия в концерте, всё же заинтересовавшись трагической судьбой амурского поэта, между прочим спросила:

– Он благовещенец?

– Нет, – ответил я. – Он чембарец…

– Вот странно! – воскликнула она. – Ведь я тоже оттуда. Я родилась недалеко от Чембар, – и она сказала название того местечка, которое, к сожалению, я позабыл.

После этого её нетрудно было убедить, что она должна участвовать в чествовании своего талантливого земляка.

Начавшаяся болезнь ей помешала исполнить данное слово.

А сегодня к ней самой приходится применить последние слова из “Сони Климовой”, которые ей так сильно нравились…»[9]

Ночь на 5 апреля, упомянутая в некрологе, стала роковой и для А. А. Руфина – зарубленного саблями. «Совсем недавно он участвовал в чествовании памяти своего товарища по политической и общественной работе на Амуре, поэта Чудакова, а уже приходится писать о смерти самого Александра Александровича, бессмысленной и жестокой, прервавшей жизнь, полную сил и энергии», – сообщалось в газете[10]. Из этой же публикации известно, что Руфин был эсером и всю свою деятельность отдал родному Амуру. Не покладая рук он работал в благовещенских газетах и в различных общественных и политических организациях, «вечно гонимый слугами старого режима и проведший немалое в сложности время за решёткой»[11].

Возвращаясь к вечеру, устроенному в честь амурского поэта 25 марта 1920 г., добавим, что весь сбор от мероприятия должен был поступить на устройство при литературно-художественном обществе Дальнего Восто-

[6] Голос Родины. 1920. 25 марта. С. 2.
[7] Голос Родины. 1920. 20 марта. С. 2.
[8] Голос Родины. 1920. 28 апреля. С. 5.
[9] Там же.
[10] Голос Родины. 1920. 18 апреля. С. 3.
[11] Там же.

ка уголка имени Ф. И. Чудакова и в фонд издания его сочинений[12]. Был ли во Владивостоке издан сборник произведений Чудакова, к сожалению, неизвестно. Но двумя годами позже эту же идею озвучил другой журналист, связанный газетной работой с Благовещенском, – Михаил Басов[13]. В статье «Ф. И. Чудаков» он не только дал высокую оценку дарованию амурского автора, но и высказал предложение собрать воедино всё написанное поэтом, «начиная с его мелких творений и кончая крупными»[14].

В это время и Николай Шилов, и Евгений Кауфман[15] уже жили и работали в эмигрантском Харбине. Но и там их не покидала идея собрать и издать сборник произведений талантливого друга. В одном из номеров газеты «Рупор» (изд. и ред. Е. С. Кауфман) было напечатано следующее обращение к читателям-благовещенцам: «13 марта исполняется 16 лет со дня смерти амурского поэта Фёдора Ивановича Чудакова. Готовится к выпуску в свет сборник его произведений. Редакция нашей газеты обращается с просьбой ко всем благовещенцам, у которых имеется что-нибудь из напечатанных в своё время стихов покойного поэта или рассказов его, прислать в редакцию с надписью "Для сборника памяти Ф. И. Чудакова"»[16].

Этой книге, по всей видимости, тоже не суждено было увидеть свет. Однако сочинения Фёдора Чудакова всё же появлялись на страницах харбинских изданий. Так, уже только в одном номере за 1930 г. журнала «Юный читатель Рубежа» (изд. Е. С. Кауфман)[17] были помещены сразу четыре произведения Чудакова – прозаическое повествование «**Удалой набег (Из дневника Ивана Грязнова)**»[18], стихотворения «**Зея**», «**Тайга**» и «**Дождик**». Тексты пронизаны любовью к природе и тонким пониманием детской психологии, юмором и серьёзной жизненной философией, их отличает необыкновенная лиричность и музыкальность, удивительная образность и живописность. Они и предлагаются вниманию читателей…

ТВОРЧЕСТВО Ф. И. ЧУДАКОВА НА СТРАНИЦАХ ХАРБИНСКОГО ЖУРНАЛА «ЮНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ РУБЕЖА»

УДАЛОЙ НАБЕГ
(Из дневника Ивана Грязнова)

В шалаше Пахомыча происходит что-то страшное. Можно подумать, что там имеют стоянку самые крупные тропические звери. Оттуда несётся и львиный рык, и змеиный свист, и пыхтение сердитого носорога.

Что там такое творится, в эту тёмную ночь? Уж и впрямь не жрут ли львы и носороги несчастного Пахомыча? Уж и впрямь, не происходит ли там звериный пир над останками старого охранителя яблонь и груш Буренчихина сада? Ой, какие грозные звуки! Ой, страшно!

Но Иван Грязнов, Ефим Козлов и Васька Бусин не боятся. О, даже наоборот! Эти страшные звуки вливают в них особую отвагу!

Ибо знают они, что весь этот звериный концерт производится одним, самым безобидным инструментом: Пахомычевым носом. Даже удивительно, как один нос может наделать столько шуму. Правда, нос Пахомыча – нос не малый. Это про него говорится: «Ай да нос! Семерым Бог нёс, а одному достался». Но даже и семеро носов не всегда нашумят столько, сколько один Пахомычев.

А Ивану только этого и надо!

Ветра нет, а яблоня трясётся. Тишина стоит в воздухе, а трясётся, дрожит яблоня всеми ветками… Видит она, чует она, как ползут по земле лютые разбойники, ползут на животах отважные грабители, и трясутся от страха яблонины ветки, и дрожь передаётся всему саду, и дрожат сливы и груши, и дрожит ранет и антоновка, и вздрагивают ветки чёрного дерева…

Ветра нет, а дрожат и гнутся ветки аниса. Это Васька Бусин ползёт по стволу и срывает пахучие остро-сладкие яблоки и спускает их в мешок…

А Иван обрабатывает антоновку, а Ефим сидит на ранете, и все творят злое грабительское дело.

---

[12] Голос Родины. 1920. 25 марта. С. 3.

[13] *Басов Михаил Михайлович* (1898–1938) – журналист, редактор, руководитель книжного дела в Сибири, один из организаторов журнала «Сибирские огни» (1922) и Сибирской советской энциклопедии (1926). Родился в Тобольской губернии. С 1916 г. на журналистской работе в газетах Благовещенска. С 1921 г. жил в Новониколаевске (ныне Новосибирск).

[14] Сибирские огни. 1922. № 1.

[15] *Кауфман Евгений Самойлович* (1891–1971) – журналист, редактор, издатель. Родился в Петербурге. В 1908 г. окончил гимназию в Иркутске. С 1908 по 1913 находился в ссылке за революционную деятельность, состоял в партии социалистов-революционеров. В 1913–1918 гг. работал журналистом. Писал в газеты «Амурское эхо» (Благовещенск), «Тайга» (Зея-Пристань), «Сибирь» (Иркутск), «Сибирская жизнь» (Томск). С 1921 г. жил в Харбине.

[16] Рупор. 1935. 25 января.

[17] «Юный читатель Рубежа» (Харбин) – ежемесячный иллюстрированный журнал для детей среднего возраста. Выходил в 1930–1931 гг. как приложение к журналу «Рубеж».

[18] Фрагмент повести «Из детства Ивана Грязнова», печатавшейся в «Дятле, беспартийном».

Спит Пахомыч. Спит, выделывая носом звериный концерт. Ах, зачем Буренчиха поднесла ему два стаканчика! Слаб и немощен Пахомыч. Спит он, и не чует его старое сердце, как опустошается сад. И Буренчиха спит. Наплясалась на помолвке Фени-племянницы и спит на своём пуховике, нежа восьмипудовое вдовье тело.

Ночь темна, но зорки разбойничьи глаза. Самые крупные яблоки с глухим шумом опускаются в мешки.

И пухнут мешки, наполняются. Грабёж идёт беспощадный.

Эх, не будем описывать его подробно. Нехорошее это дело! Не берите, о, дети, пример с Ивана. Будьте паиньками!

Кончено. Разбойники стоят под антоновкой и совещаются. Им мало удачного грабежа. Им нужна ещё экстренная пакость над Пахомычем.

Отвернитесь, дети! Не глядите, как Иван берёт длинную жердь и кладёт её поперёк входа в шалаш. Зажмурьте глаза, дети, не глядите!

Вы ведь не видите? Вы не видите, как все трое бросаются на шалаш и продавливают его крышу, и на Пахомыча обрушивается старая солома, и он вскакивает и хочет выскочить из-под падающего шалаша, но запинается о жердь и падает головой в крапиву.

Вы не видите, дети, какой пук искр вылетает из глаз Пахомыча, а разбойники – уже далеко, они удирают низами к озеру, и хохочут, и пляшут, и кувыркаются…

- - -

Мешки стали тощие, зато животы переполнены и стучат, как барабаны. Больше есть никто не может. А осталось ещё много.

Военный совет. Решено: остатки яблок закопать под ветлой, а самим идти спать.

Роют яму. Пятернями отдирают дёрн, роют яму, кладут в неё мешки и снова кроют дёрном и лениво пляшут, чтобы примять.

Потом идут по домам.

- - -

Утром Иван идёт купаться. Уже во дворе он снимает с себя рубашку и штаны, берёт их под мышку и летит к речке. Но вдруг вспоминает о кладе под ветлой и сворачивает к нему.

Дьяконова свинья уже доедает последнюю ранетку. Доедает, хрюкая от наслаждения, и хмурит свои свиные бельма.

Иван от неожиданности врастает в землю.

– Ах, ты! – только и может крикнуть он.

Свинья, почувствовав опасность, пускается наутёк, но Иван бросается за ней, догоняет, хватает за хвост и старается остановить. Это трудно. Здоровая, проклятая! Иван тянет к себе всё сильнее, и свинья громко орёт и визжит, и дьяконов работник, несущий с реки два ведра воды на коромысле, грохает вёдра оземь и с коромыслом наперевес мчится к Ивану.

– Ванька! Канай! – слышится голос Васьки, наблюдающего эту сцену из кустов лебеды.

Иван оборачивается и, видя близкое возмездие, бросает свиной хвост и летит к речке.

Дьяконов работник разряжает весь заряд словесности и долго грозит коромыслом беглецу. Потом возвращается, подымает вёдра и снова идёт к реке.

День начинается…

1930. № 2. С. 4–5.

Зея[1]

По заливам молчаливым, по весёлой звонкой гальке
Сеют золото ночами гномы – лунные лучи…
В тёмных кварцах, как крестьянка в трудовой заветной
тальке,
Скупо прячут золотинки, блёстки лунной епанчи.
Сеют гномы золотинки торопливыми руками
И уходят, убегают, где-то прячутся в тени; –
На заре приходят люди с остроносыми кирками
И дробят немые кварцы и угрюмые кремни.

Светлых зёрен ищут люди, страстью жуткою влекомы,
И звучит в ударе каждом страх и радость, грусть и гнев.
И опять свершают молча свой таинственный посев.
В роковом круговороте золотые зёрна гномов
Ядовитыми цветами расцветут в сердцах людей…
Обаянье шумной славы, ужас пыток и погромов –
Принесут в подарок миру с тихих зейских отмелей.
И кривой кинжал убийцы, и священное Распятье
Безразлично покрывает позолоты крепкий слой…
Зея, Зея! Ты не слышишь эти стоны и проклятья
Иль нарочно заглушаешь их певучею волной?!

1930. № 2. С. 3.

[1]Зея – самый большой приток с левой стороны Амура; в неё впадает горная река Селемджа. Зея судоходна во время всей навигации, только в низовьях песчаные отмели затрудняют судоходство. Весь бассейн Зеи богат золотыми россыпями. Многочисленные золотые прииска обслуживались правильным пароходством, доставлявшим провизию, инструменты и пассажиров. Зейский район являлся богатством всего края.

Тайга

Вершины лиственниц, недвижные, как стражи,
Бесстрастно озирают небеса.
С лесных озёр ко мне плывут миражи,
И слышатся лесные голоса.

То – скрип осей, то – грохот колеса,
Как будто бы там едут экипажи.
И жуть какая-то, и дыбом волоса
Встают при чуть заметном шуме даже…
Темно… И чудится в кромешной этой тьме,
Что меж дерев угрюмо бродит леший.
Он весь седой, как в белой бахроме…
Я слез с коня, иду пугливо пеший,
И каждый шаг, и каждый лёгкий шум
Волнует мой насторожённый ум…

1930. № 2. С. 9.

Дождик

Дождик льёт как из ведра,
А на зонтике дыра.
Хоть ребятки под зонтом,
Только толку мало в том.

От макушки и до пят
Измочило всех ребят.
Хоть измокла мелкота,
Но нейдёт из-под зонта.

Дескать, худо, ну а всё ж
Мы обманываем дождь;
Хоть и мочит и сечёт,
Но вылазить – не расчёт.

1930. № 2. С. 27.

Публикация Г. Эфендиевой

«ВРЕМЕНА НЕ МЕНЯЮТСЯ – МЕНЯЕМСЯ МЫ»?

Стихи Евгения Ерёмина 1980-х годов[1]

Мысль о том, что какие-то вещи в искусстве, имея совершенно конкретную историческую прописку, хорошо себя чувствуют в иных временах и пространствах, сохраняя при этом «лица не общее выраженье», – мягко говоря, не нова. Однако каждый раз, встречаясь с новым проявлением старого закона, изумляешься.

Лет пять назад, в начале 2007-го года, на кафедру заглянул Евгений Ерёмин, о котором я знала, что он пишет не совсем обычные стихи – некоторые из них печатались в первом выпуске альманаха, и что сейчас он наш коллега – преподаёт на международном факультете. Это позже мне стало известно, что больше всего он дорожит приставшим к нему с чьей-то лёгкой руки званием «дедушки амурского панк-рока». А тогда меня удивило, что мы заговорили об амурском андеграунде 1980-х (надо признаться, о его существовании я не подозревала). Мало того, оказалось, что мой визави – живой его представитель. К концу беседы я была убеждена – обо всём, что услышала, стоит написать.

В первую очередь, потому, что это, без сомнения, было явлением амурской культурной и литературной жизни, целостное представление о которой можно составить, познакомившись не только с её официальной стороной (о ней мы всегда лучше осведомлены), но и с неофициальной (народной – от низов). Академическая рефлексия последней всегда припаздывает, что удивительным образом не отменяет своевременности обращения к этой теме (в данном случае как раз имеются необходимые 25–30 лет спустя).

Публикация стихотворений, которые сегодня предлагаются вашему вниманию, – шаг на пути исследования амурского андеграунда. Они были написаны Евгением Ерёминым в 1980-х годах для благовещенской панк-рок группы «Сквозняк»[2], лидером которой он являлся. Правда, насчёт употребления прошедшего времени по отношению к существованию группы у Ерёмина своё мнение: «где я – там “Сквозняк”», – говорит он и сегодня, созывая музыкантов для очередного выступления.

Тогда же, в 1980-х, об «очерёдности» выступлений речь не шла, да и не могла идти в принципе. Разрешённый «роковый» концерт был событием из ряда вон выходящим. Не было исключением и выступление группы осенью 1988-го, когда комитет комсомола пригласил молодых музыкантов выступить в кинотеатре «Россия» (нынешнем кинокомплексе «Благовещенск») перед показом нашумевшего фильма «Асса»[3]. Пришло то время, когда не замечать контркультуры, игнорировать её влияние на умы власть уже не могла и торопилась продемонстрировать свою лояльность к различным её проявлениям. Для Ерёмина та осень была знаменательна ещё и тем, что он стал студентом историко-филологического факультета БГПИ. И вот, первокурсник, он дерзнул пригласить на концерт своей панк-рок группы тогдашнего декана – опытного лингвиста и уважаемого педагога Нину Петровну Шенкевец, а она не преминула воспользоваться приглашением и пришла. Неизвестно, какой реакции ожидал начинающий поэт и мастер импровизаций, только Нине Петровне концерт понравился. Оценила она не только дерзость и амбициозность, как сейчас принято говорить, творческого поведения молодого поэта и музыканта (началом концерта был стремительный въезд на сцену на мотоцикле!), но и самобытность его поэтических текстов. Поэтому и не замедлила пригласить его со своими «крапивными» стихами-песнями в институтскую газету «За педкадры». Тогда в ней печаталось множество неформальных студенческих, преподавательских поэтических и прозаических опусов. Здесь были впервые опубликованы и некоторые стихотворения Евгения Ерёмина.

Молодые, острые, без намёка на поэтическую красивость и фальшивую экзистенциальность, написанные от лица «мы» – поколения 1980-х и требовательно обращённые к нему же, они удивительным образом резонируют с настоящим, невольно заставляя нас, сегодняшних, задумываться над сентенцией «времена не меняются – меняемся мы». Мы меняемся?

---

[1] Публикация подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Литературное краеведение: создание фундаментального историко-литературного труда – Энциклопедии литературной жизни Приамурья XIX–XXI вв.», проект № 11-04-00087а.

[2] У группы «Сквозняк» никогда не было постоянного состава концептуально. Тогда, в 1980-е чаще всего в её составе выступали: Евгений Бронников, Павел Обухов, Олег Андреев, Михаил Чехонин, а также Леонид Соломин, Алексей Улькин, Александр Момот, Василий Шабуров, Александр Еланский, Виктор Хайретдинов. Во Владивостоке «Сквозняк» выступал с Анатолием Погодаевым («Бунт Зёрен»), который был «крёстным отцом» группы, выводя её на культовые площадки Владивостока, а затем и Москвы. Так, уже в 2010-м, в Москве Ерёмин выступал вместе с Анатолием Погодаевым («Зёрна») и Олегом Сакмаровым (экс-«Аквариум»); в 2011-м, в С.-Петербурге – с Кэт Питерской (экс-«Вино») и с Александром Донских (экс-«Зоопарк»).

[3] Фильм режиссёра Сергея Соловьёва, премьера которого состоялась в Москве в январе 1988 года. В ролях были заняты популярные рок-музыканты (в том числе Виктор Цой), в саундтрек вошли песни Бориса Гребенщикова с рок-группой «Аквариум», Жанны Агузаровой с группой «Браво», группы «Кино». Отчасти поэтому фильм «Асса» стал одним из основных кинематографических произведений советского рока, достигшего пика своего развития в 1980-х годах.

Евгений ЕРЁМИН

Времена не меняются

Времена не меняются – меняемся мы,
И над причиной изменений не надо гадать.
Мы б охотней давали, чем брали взаймы,
Но те, кто мог бы взять, не видят, что мы можем дать.

Мы похожи на бывших бездомных собак,
Которых подобрали добрые тёти.
Нам уже не до скандалов, уже не до драк,
Мы абсолютно не помним, а как это «против»

тех, кто нас кормит,
тех, кто нас поит,
тех, кто нас знает,
тех, тех, тех, тех, тех …

Мы медленно, но верно входим в режим,
Мы удивительно податливы любому нажиму.
Ни о чём не мечтаем, никуда не бежим –
Спасибо за это нашему режиму.

Мы преданны порядку в ожидании благ,
Мы утром пьём чай и кефир на ужин.
Неужели кто-то может жить не так,
И странно слышать за спиной: «Кому ты нужен?»

из тех, кто нас кормит,
из тех, кто нас поит,
из тех, кто нас видит,
тех, тех, тех, тех, тех…

И в результате вынужденных метаморфоз
Нас невозможно отличить от окружающей среды.
Нам ничто не грозит, но возникает вопрос,
Отчего редеют наши ряды.

Трудно грызть сахар и кричать: «Вперёд!»
Трудно жать руки тем, кто не дошёл.
В наших руках уже не тает лёд,
Но тает уверенность, что всё хорошо

у тех, кто нас кормит,
у тех, кто нас поит,
у тех, кто в нас верит,
тех, тех, тех, тех, тех…

Времена не меняются – меняемся мы,
И над причиной изменений не надо гадать.
Нам с каждым годом привычней просить взаймы,
Но те, кто мог бы дать, не видят, что мы можем взять

с тех, кто нас кормит,
с тех, кто нас поит,
с тех, кто нас любит,
тех, тех, тех, тех, тех …
кто нас
съест.

Мы привыкаем

Мы привыкаем, мы любим, когда
Нам снятся любимые сны.
Мы привыкаем не причинять вреда,
Привыкаем не чувствовать вины.

Мы привыкаем, мы даже согласны
Аплодировать новым богам.
Мы привыкаем ждать понапрасну,
Скандируя по слогам:

«Нам с каждым годом всё лучше!»
«Нам, несмотря ни на что,
Всё лучше и лучше».

Мы привыкаем помнить о том,
Что скоро нас ждут перемены.
Мы привыкаем к ответу: «Потом»,
Мы привыкаем к заменам.

Мы привыкаем к нейтральным тонам
И уценённой морали.
Мы привыкаем, мы рады, что нам
В души вставляют спирали.

Но нам с каждым годом всё лучше!
Нам, несмотря ни на что,
Всё лучше и лучше!

Мы привыкаем шлёпаться ниц,
Заслышав голос с трибуны.
Мы привыкаем к портретам без лиц,
В которые хочется плюнуть.

Мы привыкаем к скрипу пера
И безразмерным цитатам.
Мы привыкаем с криком «Ура!»
Мчаться в шестую палату,

Где нам всем с каждым годом
Всё лучше!

Где нам, несмотря ни на что,
Всё лучше и лучше!

Холодно

На улицах жгут уголь.
Под окнами спят батареи.
Эй, кто здесь меня согреет,
И вылечит от испуга?
Холодно.
Боже, как холодно.

Ей снег в руки звёзды приносит,
А он глядит в телевизор,
А я загадал бы осень,

Но наша зима так скупа на сюрпризы.
Холодно.
Боже, как холодно.

Змеи меняют кожу
В надежде сбить с толку ежей.
Но мне это вряд ли поможет
Спасти свою душу
От консервных ножей.

Мы снова вместе

Мы снова вместе,
Мы снова рядом,
Пусть немного не те,
Но ведь мы – это мы.
Мы каждое лето сверяем взгляды,
Что лежат в холодильниках с прошлой зимы.

Мы до сих пор сдать не можем экзамен,
Обходя стороною аукцион.
Ведь видим мир мы одними глазами,
Хотя и смотрим с разных сторон.

Мы сняли маски, но нас не узнали.
Мы их снова надели – война так война.
Но кто мы такие на самом деле,
Мы и сами не знаем, а чья в том вина?

Нам говорили, что в мире реально
Лишь то, что реально на ощупь и взгляд.
Но так ли нормально, когда всё нормально,
И порой мы не верим в то, что нам говорят.

В очередях за пустыми словами
Друзья исчезают на наших глазах.
А те, кто мог бы пойти за нами,
Ищут крайних в этих очередях.

Мы снова вместе,
Мы снова рядом,
Пусть немного не те,
Но ведь мы – это мы.
Мы каждое лето сверяем взгляды,
Что лежат в холодильниках с прошлой зимы.

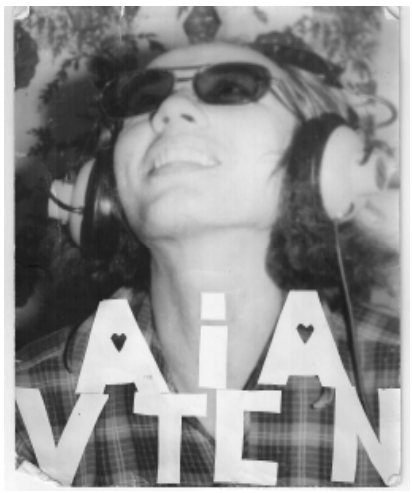
Без стекла

Слышится вой, да не видно ослов,
Щёлкает бич, да не видно тюрьмы.
Если сможешь успеть до зимы
Напеть мне несколько слов
Без стекла.

На каждое слово найдётся шуруп.
Высверлит душу – попробуй взлети!
Слышишь, портной, смастери мне из губ
Крылья, которые смогут спасти
От стекла.

А думаешь, мне не надоело быть льдом,
Но, попробуй растай – тобою вымоют пол.
Видишь, ноги стоят под стеклом,
А ты говорил: «Рок-н-ролл
Без стекла».

А в этой игре, зевай не зевай,
Когда-нибудь каждому выпадет труп,
Но, а пока каждый ловит свой кайф
Под грохот архангельских труб –
Сквозь стекло.



Предисловие и публикация С. Красовской

Валентина БРЫСИНА

доцент кафедры русского языка

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ...
В память о Марине Константиновне Пеньковской

Были когда-то на амурском радио передачи «От всего сердца», «По вашим письмам»… Вели их талантливые выпускницы педагогического института Антонина Токмакова и Ирина Кондратенко. В содержательных, ярких выступлениях рассказывали они о лучших людях области. Увы, эти передачи отзвучали. Но добрый след в памяти амурчан оставили. Иногда встречаемся с Ирой, говорим «за жизнь» нынешнюю, вспоминаем прежнюю – советскую. Я поинтересовалась однажды, как собирали и озвучивали материал к эфиру. Сложная это работа, требует от журналиста умелого подхода к людям разного возраста, характера, жизненного опыта и т. д. Нужно «разговорить» человека, кому-то помочь преодолеть застенчивость. Великое искусство – слушать собеседника, не перебивая его, и вместе с тем направлять беседу по нужному руслу. Найдёте дорогу к чужой душе – передача получится запоминающейся, живой, действительно летящей от сердца к сердцу.

Слушала я бывшую истфиловку и думала: не взялась бы я ни за что за такое дело. Не справилась бы. Но в конце прошлого года пришло мне письмо. Незнакомая женщина просила помочь «воскресить память» о Марине Константиновне Пеньковской: талантливая учительница русского языка и литературы «несправедливо всеми забыта». Трудно было поверить, что такое могло произойти. Ведь Пеньковская отдала долгие годы своей жизни обучению и воспитанию и юных, и взрослых амурчан. Имя её было на слуху у многих людей, благодарных за её труд. А меня связывала с этой замечательной женщиной многолетняя дружба, несмотря на разницу в возрасте.

Родственница Марины Константиновны писала, что на одном «корпоративном мероприятии» в Год учителя никто ни словом не обмолвился о Пеньковской, хотя среди присутствующих могли быть и её воспитанники.

Грустно было читать это, хотелось успокоить человека. Равнодушных людей много, но свет не сошёлся на них клином. Отзывчивых, способных быть благодарным и за добро, больше даже в нынешней России. В стране, где появилось целое поколение живущих «применительно к подлости», обуреваемых неуёмной жаждой денег, завистливых, поражённых вещизмом. Какой благодарности можно ждать от таких «продвинутых» новоявленных себялюбцев? Как-то поэт Андрей Дементьев в передаче «Виражи времени» спросил Николая Сличенко: «Что с нами происходит? Почему мы так плохо живём?» Певец ответил: «Стало меньше добра. Много прагматизма в людях». А лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров воспринимает происходящее в России так: «Мы живём сегодня в капиталистической стране, где деньги стали самой важной категорией, выше нравственных идеалов, а часто даже и родственных отношений».

К счастью, потомки Пеньковской – неравнодушные люди. Они защитили память достойного уважения человека. Почаще бы нам всем вспоминать добрым словом тех наставников, кого уже нет среди нас, и тех, кто ещё в меру своих сил трудится честно и бескорыстно. Вспоминать не только в День учителя. Нужно писать, рассказывать о таких учителях, как Марина Константиновна, потому что их жизнь – образец для подражания людям нашего времени, особенно молодым, чьи представления о нравственных ценностях, о прошлом Родины нередко бывают ошибочными, расплывчатыми.

Встретилась с Наталией Алексеевной Ноевой, женой Александра Николаевича – внука Пеньковской. Скромная, интеллигентная женщина, врач-терапевт высшей категории с большим стажем практической работы. Сразу нашли общий язык, «разговаривать» мою новую знакомую не пришлось, работать с ней одно удовольствие. Наталия Алексеевна словно растворилась в воспоминаниях о своей родственнице. Супруги Ноевы окружили теплом и заботой пожилых дочерей Марины Константиновны: Анну Александровну Ноеву и Маргариту Александровну Кашпура. В семье родилось несколько её правнуков, недавно появился праправнук.

Н. А. Ноева посоветовала обратиться к ученикам и коллегам Пеньковской: они могли бы много о ней рассказать. Совет мне помог. Нашла одну ученицу, с её лёгкой руки, как по цепочке, пошли звонки. Начались встречи, пришло даже коллективное письмо от целого класса бывших учеников Марины Константиновны. Видели, слышали бы сторонние свидетели этих контактов, с каким интере-

сом, как тепло рассказывали знавшие её! Светились лица у тех, с кем я беседовала. Конечно, «за кадром» осталось больше материала, но у меня не было возможности его собрать. Выражаю благодарность оказавшим помощь в написании очерка: Н. А. Ноевой, А. Н. Ноеву, Э. В. Миловановой и всем авторам коллективного письма, а также Т. С. Филимоновой, Э. А. Ермаковой, Н. Д. Ковалёвой, В. И. Соловьёвой, Л. С. Згурской, И. В. Кондратенко и другим. В статье использованы и открытки, присланные мне Мариной Константиновной к знаменательным дням.

Я решила идти таким путём: воспроизводя известное мне о Пеньковской, дополнять его или уточнять тем, что сообщили знавшие её больше меня.

В школьной обстановке я встречалась с Мариной Константиновной во время педагогической практики весной 1955 года. Слушала её выступления на занятиях городского методического объединения учителей в более поздние годы. Мы больше знали друг друга по переписке, звонкам и редким случайным встречам. Встретимся, всласть наговоримся – и снова долго не видимся. Раза два была я по приглашению у неё дома.

Первая встреча особенно запомнилась. В качестве методиста я пришла с третьекурсниками в девятую школу. За плечами была работа в четвёртой, годом раньше. Но две практики не сделали меня уверенной в себе как в методисте. Стеснялась учителей, особенно пожилых. В их глазах мне чудилось осуждение: молодая, в школе не работала, а уже методистом явилась. Обратиться за помощью к кому-нибудь не решалась. Неуютно было работать с таким настроением, но судьба пришла мне на помощь.

Сижу как-то в учительской, проверяю конспекты студентов, жду их на консультацию. Между сменами безлюдно и тихо в комнате. Вошла, словно впорхнула, лёгкой походкой худощавая женщина. Остановилась около доски с расписанием, какое-то время пристально всматриваясь в меня. Словно изучала незнакомого человека. Точнее Т. С. Филимоновой о взгляде Пеньковской не скажешь: «Так посмотрит! Как рентгеном просветит». Не запомнилось, как она была одета, но многие отмечают, что эта женщина не была «синим чулком»: «Марина Константиновна одевалась не шикарно, но со вкусом, изящно». Меня тогда поразили её волосы. Цвета тёмной бронзы, красиво заплетённые, они короной поднимались над высоким лбом. О необычных, роскошных волосах читаю почти во всех записях о нашей героине. Некоторые ученики вспоминают, что в ней было «что-то царственное», «величественное», «аристократическое», «благородное». Женщина-царица кивнула и направилась, улыбаясь, ко мне. Я тоже подалась ей навстречу. Она озадачила меня вопросом: «В каком классе практикуетесь? Я вас ни разу не видела в школе» (приняла меня за студентку!). Как ответить педагогу наверняка с большим стажем, всеми уважаемому, если мой вузовский опыт всего два года, а школьный вообще равен нулю. «Я методист»? «Руководитель»? Звучит нескромно, самоуверенно… Осторожно представилась: «Я Валентина Михайловна; привела студентов на практику». Женщина с золотым нимбом на голове низким, глубоким голосом как-то очень просто, как знакомой, сказала: «А я Марина Константиновна Пеньковская, учительница русского языка и литературы, давайте познакомимся. Вы методист из института, а я приняла за студентку, вы очень молодая, как ваши девочки. Со мной тоже долго такое случалось: не могли поверить, что я, совсем юная, работала учителем. С пятнадцати лет…» Я слушала её и думала: Марина Константиновна зарабатывала на хлеб пятнадцатилетней, мне уже скоро двадцать шесть, а у меня всего два года самостоятельного труда; нелёгкая ей досталась жизнь.

Моя новая знакомая продолжала: «Не смущайтесь, чувствуйте себя увереннее, коллектив у нас хороший. Опыт придёт, все начинаем с нуля. Если будет нужна помощь, обращайтесь ко мне, помогу. Жаль, что ваши девочки не в моём классе: вам было бы полегче работать». Она ушла, а я долго не могла прийти в себя от этой встречи, очарованная щедростью души, простотой обращения, красотой рыжеволосой женщины.

Больше нам тогда не выпало поговорить по душам. Я по горло была занята и практикой, и в институте. Кипела в котле школьной жизни и Марина Константиновна, отдаваясь ей полностью. Практика закончилась благополучно.

Потом я иногда думала: почему Пеньковская рассказала о себе, предложила помощь, не зная меня? Тронула её доброе сердце моя неуверенность в собственных силах и молодость (учительница была тогда в возрасте моей матери)? Хотела поддержать меня? Это у неё получилось. Ушла моя скованность в общении с учителями. А студенты-практиканты мне попадались всегда хорошие, я с ними горя не знала. Вспоминаю с тёплым чувством Ольгу Мамонтову, Лидию Косицыну, Валентину Соловьёву, Аллу Ларченко – сколько их было умных, трудолюбивых, горячих!

А моя новая знакомая по характеру не была очень открытой и общительной, оказывается. Послушаем тех, кто знал о ней больше: «Пеньковская легко сходилась с людьми, но легко не раскрывалась», «она была добрая, но не добренькая», «требовательная к себе, могла быть строгой и даже жёсткой, оставаясь щедрой и доброй», «её уважали, любили, но и побаивались», «с учителями держалась сдержанно, с достоинством»…

Теперь, когда Пеньковской нет среди нас, узнаю, что эта женщина всю свою трудовую жизнь бескорыстно делилась с коллегами главным богатством – педагогическим мастерством, разработками уроков, советами. Послушаем Т. С. Филимонову: «Я училась на её уроках, хотя вела другую дисциплину. Училась работать, жить. Она помогала советами, делилась материалами. Это была наставница молодых коллег. Как-то подзывает: “Иди сюда, Татьяна. Почему не посоветовалась со мной перед уроком? Могла бы лучше его построить. Много было ошибок”. И терпеливо стала объяснять, как бы мне надо было сделать иначе. На её строгие замечания никогда не обижались: ведь это мастер судит». Н. А. Ноева: «Некоторые её даже побаивались, но за советом по работе обращались именно к ней. Много молодых преподавателей проходило у неё стажировку».

Я не была, к сожалению, на занятиях у Марины Константиновны, но помню её выступления о языке художественных произведений на городском методическом объединении. Для меня они были школой, как и для её коллег.

Её называют учителем-новатором. Образно пишут об этом в коллективном письме: «Она была гениальным

дагогом; её, как говорится, бог поцеловал в темечко. Марина Константиновна прекрасно знала свой предмет, любила свою работу. На уроках много читала наизусть, рассказывала о музеях, о своих встречах с Маяковским, с другими литераторами. Благодаря её подвижничеству почти все её ученики поступили в институты, стали честными, хорошими специалистами». К этим словам добавлю: стали вузовскими работниками, защитили диссертации и подготовили сотни учителей её ученики Л. В. Лебедева, Н. Д. Ковалёва и другие. «Таких учителей теперь нет», – горячо уверяют меня некоторые «птенцы гнезда» Марины Константиновны. Я, пожалуй, соглашусь с этим, не в обиду будь сказано нынешним школьным наставникам. Во всяком случае, таких, как она, мало.

Высокая требовательность к себе и людям – главная черта характера, стиль жизни замечательной женщины. Уместным будет включить в наш рассказ интересные подробности, приведённые Н.А. Ноевой. «Она жила по принципу: то, что можно сделать сегодня, не откладывай на завтра. Чему в жизни никогда не изменяла, так это любви к детям и книгам. Как у многих советских людей, у неё была большая библиотека. Книга для неё – это и работа, и отдых. Ничем не занятое время, по её убеждению, было бездельем, что сродни преступлению. Одна знакомая вернулась с юга из отпуска и с восторгом рассказывала, как провела время. Неожиданно Марина Константиновна спросила: "А в какую библиотеку вы там ходили?", чем очень удивила свою собеседницу».

Продолжим чтение коллективного письма. Марина Константиновна «воспитывала у школьников высокую грамотность, всю себя отдавала школе, детям, ученики были ей как родные, как её дочери… Водила учащихся к себе, работала с ними дополнительно». О том же рассказала Э. А. Ермакова: «Марина Константиновна отдавала отстающим ученикам каждую свободную минуту на переменах, оставляла их после уроков, занималась с ними на каникулах и в свой отпуск». О высокой грамотности малышей начальных классов, где преподавала Пеньковская, я слышала от многих. Стоило только спросить, что они помнят о знаменитой учительнице, как они в первую очередь рассказывали о её особой методике обучения грамотности. Запомнился один разговор. Очень скромный человек, собеседница, стесняясь, с трудно скрываемой гордостью говорила мне: «Простите, что хвастаюсь, но у меня даже в начальных классах пишут орфографически правильно. Конечно, с синтаксисом, знаками препинания обстоит сложнее».

Подробнее о её методике я узнала от Э. А. Ермаковой и Н. А. Ноевой. Пеньковская много внимания уделяла так называемым трудным словам, особенно однокоренным. У неё на каждого ученика была карточка, в которой отражалась система его работы по русскому языку, все «подвижки» в усвоении правил правописания. А работать тогда было сложнее, чем в наши дни. Методика преподавания родного языка как наука делала первые шаги. В школах и педагогических вузах не хватало пособий, технических средств обучения. Мои собеседники говорили, что доска да мел, иногда эпидиаскоп – вот чем располагали педагоги. Всё держалось на их энтузиазме, и постоянные поиски методов обучения дали новые поколения талантливых учителей, ещё работающих в непростых условиях современной школы. Они, эти труженики первых послевоенных десятилетий, тепло и вместе с тем с грустью вспоминают как о чём-то дорогом и невозвратном: «В то далёкое время школа имела спортивный зал, кабинеты физики, химии, биологии, библиотеку и "уголок живой природы"… Школа была в красивой роще. У нас был хороший коллектив».

Здесь Марина Константиновна проработала до пенсионного возраста. И не оставила бы любимое дело, если бы иначе сложились обстоятельства. Ушла замечательная наставница молодёжи на заслуженный отдых, не успела остыть от многолетнего труда, а уже пишет мне: «Я очень соскучилась без дела, коллектива учащихся и учителей. Как только устрою внука в детсадик, снова включусь хоть на немного в школьную жизнь». И ещё: «Поздравляю Вас с 68-й годовщиной Великого Октября! Желаю Вам хорошего здоровья, успеха и удовлетворения в работе. Трудна она, но, как родник, чиста и животворна. Я и сейчас ощущаю её силу, встречаясь со своими учениками…» Расставаясь со школой, подарила мне неразлучных помощников в труде – учебник русского языка и орфографический словарик.

Давайте ещё послушаем приславших коллективное воспоминание о Пеньковской: «Она знала быт каждого ученика. Как классный руководитель, Марина Константиновна общалась с нашими родителями, часто заходила в гости, все горести и радости разделяла с ними…» Знала учительница о состоянии здоровья своих учеников. Трогательно было читать о таком факте. Когда в школе проводились сезонные прививки, она договаривалась с медработниками, чтобы некоторых детей временно освободили от этой процедуры, если ребёнок плохо себя чувствовал. Просила учительница медиков быть также особенно внимательными и чуткими к тем, кто боится прививок, уколов.

Детей она любила. В редкой открытке не вспоминала моего сына. Я слышу её добрый голос, интонации, читая: «Заходите ко мне с сынишкой, я очень люблю детей…» Марина Константиновна первая сердечно отозвалась на наше с мамой страшное горе – смерть моего сына Павла.

Давайте посмотрим на замечательную коллективную фотографию, показанную мне Наталией Алексеевной. Пеньковская со своими семиклассниками. Ни одного мальчишки: в общеобразовательной школе тогда ещё было раздельное обучение. Девочки в школьной форме, у некоторых на фартучках комсомольские значки. Скромные, милые, какие-то очень простые, «домашние» лица. Не могу представить себе этих девчат балующимися куревом, алкоголем, наркотиками. Этого просто не могло быть в советское время. Дети войны, как сейчас мы их называем. Они пришли в мир в самом начале сороковых годов. Не трудно представить, что выпало им на долю в суровые военные годы и не щедрые удовольствиями послевоенные, когда страна только-только стала понемногу возвращаться к нормальной жизни. У некоторых погибли отцы, и осиротевшие в младенческом возрасте знали о них только по рассказам матерей и фотографиям. В сущности, у них не было детства, и некоторые совсем юными вступили в трудовую жизнь. Хорошо, если на жизненном пути им встретились такие наставники, какой была для школьников учитель русского языка и литературы Пеньковская.

Вот она в первом ряду. Красивая, в лице тот особый свет, какой бывает у людей, гордых за своих питомцев и любимых ими. Обратите внимание на её руки: они широко раскинуты, словно крылья птицы. Кажется, что учительница готова обнять всех сидящих рядом. Две девчонки положили ладони на эти руки-крылья. Доверчиво, как на материнские.

Всматриваюсь в девичьи лица. Многие из семиклассниц окончили, конечно, десятилетку и поступили в вузы. Обучение в советской школе было бесплатным. ЕГЭ, придуманный в наши дни бездарными чиновниками от образования, не стоял преградой на пути абитуриента. Учись нормально в школе и поступишь в любой институт.

Нашла на карточке далёких лет выпускницу истфила Аллу Растенберг. Оказывается, она училась у Пеньковской! Девушка редкой красоты, умница. После распределения работала в Зее, часто мне писала. Всё звала меня, светлая душа, погостить в посёлке Светлом, который очень любила. Алла рано ушла из жизни. У меня остались её добрые письма и запоздалое сожаление, что так и не побывала в этом городе. Не отпускали в гости то забота, то работа.

Марина Константиновна помнила по именам и фамилиям многих своих учеников, особенно в чём-то отличившихся. Помнила, верила в них. Как-то спросила меня при встрече: «Как поживает Лиличка Филиппова? Передайте ей мой привет». Я не сразу догадалась, о ком речь. Разобрались. Оказывается, о Лидии Васильевне Лебедевой, учившейся у Пеньковской в начальной школе! Марина обрадовалась, что её ученица уже пишет диссертацию. «Я верила, что из неё получится хороший филолог». Ведь Лиличка когда-то написала сочинение о котёнке. И так грамотно, образно! Эльвиру Ермакову, когда та была нашей второкурсницей, Марина Константиновна попросила поработать в школе. Та согласилась и на месяц заменила Пеньковскую, пока та болела. Справилась с поручением: наставница знала, к кому из бывших своих учеников обратиться.

В характере этой женщины была прекрасная черта – быть благодарной за доброе к ней отношение, за внимание. Что, казалось бы, особенного в обычной поздравительной открытке? Но адресантка спешно отзовётся на мою открытку, если она опередит Маринину. Вот строки из поздравлений: «Большое Вам спасибо за память и внимание, которые особенно дороги в преклонные годы»; «Ваша открытка принесла мне много светлых минут. Я много раз её перечитывала, и на душе становилось легко».

Деликатная, предупредительная в общении с людьми, Пеньковская ждала и от них такого же уважительного отношения к себе, к своим близким. Послушаем воспоминания Наталии Алексеевны: «Марина Константиновна терпеть не могла фамильярности. Если, например, к ней, отдыхающей на скамейке, обращались с вопросом: "Ну что, бабуля, греемся на солнышке?", она сделает вид, что обращения не слышала, углубится в свои мысли. И диалога не будет. А если бы сказали: "Тепло сегодня, Марина Константиновна, не правда ли?", она бы, приветливо улыбнувшись, ответила: "Вы совершенно правы, замечательная погодка". И разговор обязательно продолжился бы».

Широко образованная, Пеньковская заботилась, чтобы и все её близкие держали в этом отношении высокую планку. Вот что рассказывает Ноева. Однажды Марина Константиновна заявила ей по поводу своего правнука: «"У вас, Наташенька, очень запущенный ребёнок. Пять лет, а он не знает, где Париж, где Мадрид. Да у вас даже карты мира нет!" Лицо её выражало крайнее разочарование. Замечание быстро нами устранилось, и положительный результат не замедлил сказаться. Этот правнук значительно раньше своих сверстников узнал, где какие реки текут, где какие находятся страны и города».

Советскому народу выпало пережить годы «холодной войны» в тревожном ожидании, чем кончится противостояние двух великих ядерных держав. Наши дети чувствовали эту напряжённость в мире взрослых. Смотрю архив сына. В альбоме для рисования на косых линейках тетрадей слова: «Миру – мир», «Мы за Мир». Мы с моей знакомой тоже, как все, редко обходили эту тему, общаясь друг с другом. Люди прошлого века болели за судьбу Родины как за свою личную. Над святым словом «патриот» никто не позволил бы себе и другим издеваться, ёрничать. Марина Константиновна писала это слово с большой буквы, как и слова «мир», «родина», «победа»: «Пусть этот год принесёт Счастье, Мир, Благополучие всем людям»; «В этот день Победы – праздник нашей планеты – хочется пожать руку и пожелать Мира, всего доброго хорошим людям, с которыми тебе приходилось встретиться на жизненном пути».

У Пеньковской был твёрдый, решительный характер. Сдержанная, корректная, она могла резко сказать правду в глаза, если это было необходимо, кому угодно, не опасаясь последствий. Наталия Алексеевна вспоминает. Школы тогда, как и сейчас, часто проверяли, отвлекая от работы, нервируя учителей. Выводы по проверкам не всегда бывали объективными. Сидит скромно наша Марина в последнем ряду, слушает правду и неправду, что льётся с трибуны в актовом зале, что-то пишет. После судилища берёт слово и по-деловому, доказательно высказывает своё мнение невзирая на лица. Защитила честь коллектива.

Многие из тех, с кем я беседовала, говорили, что она не любила жаловаться на жизненные невзгоды. Кто-то вспомнил о такой её привычке. Если спросят Пеньковскую, как идут у неё дела, она бодро ответит профессиональной шуткой: «На устойчивую тройку!» От каждого послания Марины Константиновны веяло теплом, оптимизмом. Плохое настроение, неизбежные в жизни каждого человека обиды она умела преодолевать. «Я видела её разной: весёлой, грустной, разочарованной, возмущённой, но никогда не видела, чтобы она плакала», – рассказывает Ноева. А уж Наталия Алексеевна знала её и видела больше других.

Кто-нибудь скажет, читая о Марине Константиновне: «Железная леди!» Я так не думаю. Ничто человеческое ей не было чуждо. Обласканная родными людьми, она не отгораживалась от их забот, судеб. Ей плохо, если плохо кому-то из них. И она делится со мною: «Мне сейчас грустно-грустно. Болела сильно старшая дочь. Иду к ней». А сугубо личные печали у Марины Константиновны – за семью печатями. Это её заботы, их никому не надо открывать. Один-единственный раз приотворила она дверь к своему внутреннему миру: «Я приболела и сейчас у младшей дочери. Не так сложилась старость, как хотелось». Марину Константиновну можно понять. Догорающую жизнь даже не одинокого человека омрачают болезни и тягостные воспоминания о пережитом. Наталия Алексеевна образно сказала обо всём, что выпало на долю её родственницы. По жизни Пеньковской «прокатилась судьба страны», жизнь её – кремнистая дорога, путь «через тернии к звёздам!»

Я решила включить в свой очерк биографию Марины Константиновны, составленную Н. А. Ноевой. Станет понятней, как судьба ковала этот сильный, мужественный характер.

Марина Константиновна Пеньковская – человек удивительной судьбы и стойкости духа. В 30–60-е годы прошлого века для благовещенцев она была «лучом света в тёмном царстве». В школах Благовещенска Пеньковская проработала 23 года. Корни её рода связаны с Петербургом. Предки – дворяне, католики. Прадед служил при дворе художником. Дед – швед, мать – немка, окончившая институт благородных девиц. Отец – поляк, царский офицер, служил в Тифлисе, Карсе. Марина Константиновна родилась в городе Карс 30 марта 1905 года. После выхода отца в отставку в звании полковника семья переехала в Ставрополь, где был куплен большой дом с прилегающим к нему садом. Достаток, прислуга, уклад жизни, характерный для дворянского сословия. В семье говорили на русском, французском, немецком, английском языках.

Из четырёх детей старший пропал без вести в Первую мировую войну, двое умерли от холеры. Выжила только младшая – Марина. Её любили, она была лёгкая и быстрая, как ветер, хорошо училась в гимназии.

Революция пронеслась над страной и изменила всё. Шёл 1919 год, к Ставрополю приближался Деникин. Его путь лежал на Кавказ, а армия состояла преимущественно из офицеров. В городе была советская власть. Отцу Марины 63 года. Присягать красным он не хотел, служить белым не мог по возрасту. Его дочери Марине исполнилось 14 лет. Жить нейтрально не получилось. Красные провели в Ставрополе «зачистку»: согнали в одно место всех царских офицеров и совершили казнь. Одного старика-генерала тащили волоком по земле, так как в 90 лет сам он уже ходить не мог. Полковник Константин Казимирович Пеньковский, одетый в парадный мундир царского офицера, принял мученическую смерть. Ему шашкой отрубили голову. Мать и родная тётя, начальница женской гимназии, умерли от голода и болезней, и в 15 лет рыжеволосая девчонка осталась круглой сиротой. Ещё одна родная тетя по материнской линии жила в Англии, поэтому была недосягаема. Дом разграбили. Пришлось снимать углы.

Новую власть, тем не менее, она приняла. Гимназическое образование позволило учительствовать. Хотелось жить, учиться. Но сначала выжить. Она покупала кур, делала котлеты и продавала их на улице, а себе варила похлёбку из куриных костей. Жила трудно, голодно, но один раз в месяц обязательно ходила в театр. Без духовной пищи жизни себе не мыслила. В театр ходила, как положено, в нарядном платье, в туфлях, с дамской сумочкой. А после театра, дойдя до первого тёмного переулка, туфли снимала, заворачивала в чистую тряпочку, совала свёрток под мышку и быстро босиком шагала домой. Ослабла, переболела тифом, менингитом, туберкулёзом. Голова стала лысая, как колено. Стараниями опытного профессора и упорством

Марины в исполнении его рекомендаций многострадальная голова обросла густыми ярко-рыжими волосами, и толстая коса, как нимб, окружала её до конца жизни.

Заканчивается Гражданская война. Страна оживает. Всех за парты! Объявлен лозунг: «Учиться, учиться и ещё раз учиться!» Марина Константиновна грамотнее многих, но хочется большего. Она заканчивает в Краснодаре педучилище и поступает в пединститут, но после третьего курса её отчисляют по причине неблагонадёжности. Вторая попытка доучиться закончилась тем же.

Она ещё молодая, ей 21 год. В Краснодаре встречает юношу, сына священника. Он учится в индустриальном техникуме. Поженились. Муж доучивается. Марина ждёт ребёнка, возвращается в Ставрополь, даёт частные уроки. Муж музыкально образован, воспитан, хорошо поёт, но к этому ещё бы немного денег, чтобы на что-то жить. Он часто шлёт ей открытки с отчётом, как сдан очередной экзамен, с пожеланиями здоровья и советами, у кого можно занять денег на большой срок. После рождения ребёнка Марина Константиновна три года живёт в Темрюке у свёкра-священника. Постоянной работы у неё не было.

В СССР начала действовать программа электрификации всей страны. Муж Пеньковской направлен вместе с семьёй в Брянскую область начальником электростанции. Сын священника не умел воровать. В его распоряжении были крупорушка и мельница, но на законных основаниях не мог принести в семью крупы и муки. Марина Константиновна ищет спасения от голода в деревне, в 1933 году уезжает туда с дочерью. Получает место учителя русского языка и литературы.

В 1935 году муж едет по направлению на работу в Благовещенск. Политическая обстановка в стране накаляется – доносы, репрессии. Два года наша учительница упорно добивается выезда на Дальний Восток, но получает отказ: «Вы неблагонадёжны, а Благовещенск – это граница». И только в 1937 году она получила разрешение. От офицера НКВД услышала слова, поразившие её, запомнившиеся на всю жизнь: «Через 50 лет вы будете гордиться своим происхождением».

В апреле того же 1937-го вместе с девятилетней дочерью ступила на амурскую землю, где, как оказалось, её ждали новые испытания. Не веря, что Марина получит, наконец, разрешение на приезд в Благовещенск, муж её женился на другой. Жена умерла в родах, младенец в доме ребёнка. Забрали оттуда трёхмесячную малютку, сняли крохотную квартиру. Марина Константиновна работала воспитателем в интернате. Семья испытывала нужду во всём. Муж подвергался травле. В сентябре 1939 года он покончил жизнь самоубийством, не дожидаясь, когда его арестуют и расстреляют.

На руках молодой женщины две дочери, надо трудиться ещё больше. В 1939 году она закончила вечернее отделение нашего пединститута. Работала в пятой, восьмой и вечерней школах. В войну из затона на Зее вместе с учениками вытаскивала брёвна на берег, чтобы они высохли и было бы чем отапливать школу. Научилась белить. Когда началась война с Японией, из Астрахановки велась пальба по китайскому берегу. Учительница спасала школьников, грузила их на пароход и отвозила в село Натальино.

С 1942 года по июнь 1960-го работала в школе № 9, по вечерам преподавала русский язык и литературу сотрудникам НКВД. Тогда среди них было много малограмотных, даже среди офицеров. За высокое качество труда была награждена этой организацией цигейковой шубой. А по ночам проверяла школьные тетради. Своих учеников называла на «вы» с 5-го класса. В её классах была высокая успеваемость. Коллеги часто шутили: «Министерские программы списаны с планов Пеньковской…»

Выросли дочери. Одна стала учителем истории, другая агрономом. В 1960 году Марина в расцвете сил вышла на пенсию, чтобы помогать молодому таланту, ставшему впоследствии учёным и ректором вуза.

Прожила 85 лет, умерла в августе 1990 года.

Таков славный и трудный жизненный путь золотоволосой неамурской амурчанки. Дворянка по происхождению, потерявшая родителей в революцию, она не таила обиду на советскую власть. Как многие наши учителя, сеявшие «разумное, доброе, вечное», она всю жизнь отдала образованию и воспитанию советских детей. Для неё революция 1917 года – «великий Октябрь», «великий праздник», «дорогой нашему сердцу день, как и День Победы». Родина высоко оценила её подвижнический труд. Марина Константиновна Пеньковская награждена значками «Отличник просвещения» и «Заслуженный учитель РСФСР», была персональным пенсионером. Дворянским происхождением не гордилась, ошибся «предсказатель» из НКВД.

В канун 1990 года, поздравляя мою семью с праздником, Пеньковская писала: «Желаю Вам удовлетворения от работы; знаю, что Ваш труд нужен молодёжи, особенно теперь, в дни нашей революционной перестройки». Это была последняя открытка. Марина Константиновна не увидела плодов этой перестройки. Всё ещё было впереди: и разрушение великого Советского Союза, и расстрел Белого дома, и грабительская приватизация. Честным людям было нелегко «при виде всего, что совершается дома» (И. С. Тургенев).

Талантливый Учитель, замечательный Человек не забыт, пока живы его ученики, пока есть кому сказать о нём так, как говорят они: «Наши дети и внуки хорошо знают Марину Константиновну. Мы рассказываем им, какие педагоги нас учили, и любовь и уважение в первую очередь отдаём дорогой нашей Марине Константиновне». Они навещают место упокоения Пеньковской, приносят цветы на могилу.

А забывающим, что за добро порядочные люди платят добром, напоминаю слова советского поэта:

Не смейте забывать учителей!
Пусть будет жизнь достойна их усилий,
Учителями славится Россия!
Учителя приносят славу ей!

14 сентября 2011 г.

Валерий ЧЕРКЕСОВ

член Союза писателей России

В МИРЕ ВСЁ ИДЁТ ПО КРУГУ...

С малой родины, из города Благовещенска, пришло печальное известие: ушёл из жизни Виктор Алюшин – может быть, самый проникновенный лирик Приамурья. И мой старый друг – так он написал на одной из подаренных мне книг, сборнике «Свет ковыля».

Кажется, эти строки я знал всегда:

День хороший, и снег хороший:
Тёплый, пухлый, сквозной-сквозной,
Будто кто-то смешал с порошей
Дым очажный и летний зной.

Хлопья падают густо и прямо.
Свет дневной на селе померк.
Снег летит… А мне кажется, мама,
Что земля поднимается вверх.

Между тем я точно помню, когда впервые услышал это стихотворение – в марте 1966-го.

В феврале того года я, девятнадцатилетний, впервые пришёл на Амурское радио со своими виршами. Молодёжной редакцией тогда «командовал» Станислав Демидов – уже довольно известный в Приамурье поэт, литсотрудником был Игорь Игнатенко, недавно окончивший Благовещенский пединститут, тоже пишущий стихи. Мэтры (для меня они были таковыми) встретили приветливо и, к удивлению, «выдали» в эфир два моих стихотворения. Тогда же, а может быть, несколько позже, они пригласили меня на литературный вечер в педагогическое училище, что взволновало и встревожило: ведь мне впервые предстояло выступить перед читательской аудиторией.

Была и вторая причина тревоги: у меня не было, скажем так, приличной одежды. Но эту проблему я решил, одолжив у приятеля вполне моднячий свитер. А стихи, которые выбрал для чтения, всё время повторял про себя, боясь забыть их, опозориться на людях.

На вечере мы сидели за столиком вчетвером: я, Станислав Демидов, Виктор Пинаев (работал на стройке, его стихи на рабочую тему, напечатанные в недавно вышедшем сборнике «Зори над Амуром», произвели на меня сильное впечатление) и Виктор Алюшин. Тогда-то я и услышал впервые «День хороший, и снег хороший…»

Кстати, мои волнения по поводу одежды были напрасными. Только Демидов был в элегантном чёрном костюме с голубым галстуком. На Пинаеве же как-то нелепо сидел мятый пиджак, из-под которого торчала явно несвежая рубашка, а под ней – тельняшка. Просто был одет и Алюшин – так что в одолженном свитере я выглядел чуть ли не поэтичней всех.

Виктор читал стихи негромко, даже робко. Но собравшиеся слушали внимательно, видимо, притягивала доверительная интонация его строк. Стихи были о маме, о родном селе, о детстве, выпавшем на войну… И я, может быть, впервые понял, что поэзией может стать всё, чем мы живём, каждое событие, каждое явление природы, только надо уметь об этом сказать и рассказать.

После знакомства мы ещё не раз встречались с Алюшиным на радио. Однажды (это было летом) он предложил поехать к нему. Недалеко от радиокомитета стоял старенький грузовик (Виктор тогда был шофёром), мы сели в него и покатили в сторону Игнатьевского шоссе, на окраину Благовещенска. Здесь располагалась метеостанция, на которой работали жена Алюшина Тамара и сестра Нина. Жили они в небольшом доме.

Не могу вспомнить, говорили ли мы тогда о поэзии и литературе, но стихи читали. Тогда же (возможно, это было в другой раз) Виктор рассказал о том, как он поступал в Литературный институт им. Горького, в частности, о знакомстве с поэтом Борисом Примеровым. Тот тоже поступал в институт, а может быть, уже учился. Виктор вспомнил, как однажды Борис, когда начался сильный дождь, выбежал во двор общежития и плясал в струях ливня. Рассказ запомнился, и когда в 1991 году в доме творчества писателей в подмосковной Малеевке я познакомился с Борисом Примеровым, к тому времени ставшим уже известным поэтом, то спросил у него: было ли такое? Борис улыбнулся, утвердительно закивав головой.

Кстати, Примеров одно время жил в общежитии вместе с Николаем Рубцовым. Вполне возможно, что и Алюшин был знаком с ним. Но это только моё предположение.

А ещё та наша встреча в доме Алюшина запомнилась тем, что я, может быть, впервые ел жареные грибы. Виктор их насобирал тут же, на лужайке около метеостанции. Он говорил: «Это – шампиньоны. У нас их почему-то не любят, а во Франции они считаются деликатесом». Грибная жарёха была на самом деле очень вкусной.

Ещё больше мы сблизились с Алюшиным, когда я стал работать в редакции газеты «Амурский комсомолец», а он – на радио. Виктор вёл передачу «Солдатский час», с магнитофоном побывал на всех амурских погранзаставах, во многих воинских частях, где его знали, любили и уважали. Передача была очень популярна у радиослушателей. В её выпусках часто звучали стихи Алюшина и других амурских поэтов. Когда я приезжал в Благовещенск уже из Белгорода, он записывал меня и выдавал в эфир наши беседы.

В конце 60-х, в 70-е и начале 80-х годов мы часто встречались – на литературных вечерах, в редакциях, в журналистских поездках, нередко дома у Виктора и его сестры Нины. Мы были вместе на совещаниях-семинарах молодых литераторов в Хабаровске (1971) и Иркутске (1974). Порой мы как бы случайно находили друг друга и были вместе сутками, особенно в минуты «душевной невзгоды». Не сказать, чтобы безудержно бражничали, скорее, как писал Николай Рубцов, «белым, красным и зелёным мы поддерживали жизнь». Витя (так я его стал называть) был старше меня всего на семь лет, но эти годы пришлись на Великую Отечественную войну, а значит, шли в зачёт по двойному, если не тройному счёту. Как многие дети войны, он был оптимистом, никогда не жаловался на жизнь, а вот к литературным, так сказать, явлениям относился болезненно. Врождённый лирик, человек с чувствительной душой, он близко принимал несправедливости в амурском литературном «цехе», не умел, а скорее, не желал опережать и расталкивать других. Может быть, за скромность и неоспоримую талантливость его отмечал поэт Леонид Завальнюк, который часто приезжал в Благовещенск из Москвы, и заведующий Амурским отделением Хабаровского книжного издательства Марк Либерович Гофман, благодаря которому стихи Алюшина часто печатались в альманахе «Приамурье моё» («Приамурье»), вышли его сборники «Зелёный зной» (1973) и «Свет ковыля» (1985).

Имея две книжки, можно было подавать заявление на вступление в Союз писателей СССР. Членский билет тогда имел большой вес, его владелец получал определённый статус, а с ним и всяческие блага. Не ведаю, подавал ли Виктор заявление, «зарезали» ли его кандидатуру в Благовещенске или Москве, но членом тогдашнего Союза писателей он не стал. Это, естественно, отражалось на самолюбии поэта, хотя виду он не подавал. В 90-е годы Алюшина приняли в Союз российских писателей, но уже было другое время, и писательский статус, по сути, ничего не значил.

* * *

В конце 1969 года после многолетнего перерыва в Благовещенске увидел свет литературно-художественный альманах «Приамурье моё». В нём была напечатана поэтическая подборка Виктора Алюшина (в сборнике дебютировал и я со стихами), есть в ней и стихотворение, которое цитируется в начале этого материала, правда, я его привожу по другой редакции – из сборника «Волшебное дерево» (Хабаровск, 1974).

В экземпляре «Приамурье моё», который у меня сохранился, восемь из десяти стихов моего друга помечены восклицательным знаком, значит, тогда они мне понравились. Но и сегодня, спустя сорок с лишним лет, нельзя некоторыми не восхититься, не перечитать ещё раз отдельные четверостишия и строки.

На свете есть много такого,
Что вечно мы держим в себе.
Волнует нас каждое слово,
Созвучное нашей судьбе.

* * *

Погода устоялась неплохая,
Блестит луна, похожая на щит.
И до весны, под снегом отдыхая,
Земля во сне суставами трещит.

* * *

А на взгорье, там, где прежде
Вьюга плакала навзрыд,
Первый крошечный подснежник
На одной ноге стоит.

Он – смельчак. Ему не страшно,
Что совсем невдалеке
Серебрится снег вчерашний,
Снег, не тающий в руке.

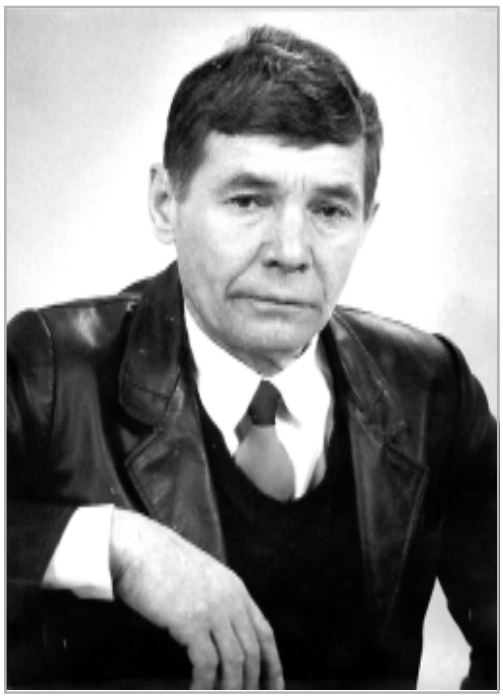
Естественная интонация, точные эпитеты, невычурные метафоры и, главное, внутренняя, скажем так, теплота – вот чем отличаются стихотворения Алюшина.

Перечитывая сегодня мои дальневосточные сборники «Вечные родники» и «Небо и поле», я нахожу в них явное влияние Алюшина – особенно в пристальном взгляде на природу, на соотношение её состояния с душой человека. Поэтому в первом из них есть стихотворение, посвящённое Виктору:

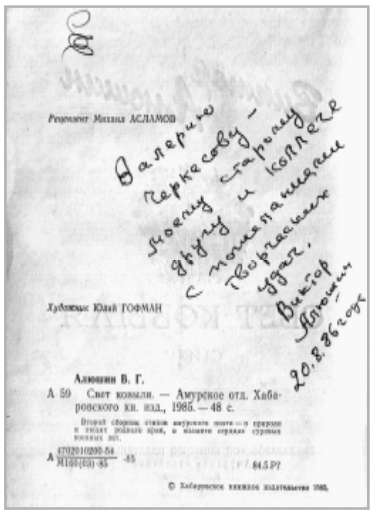
Какую власть имеют надо мной
Природы неприметные явленья?
Вскрик дерева…
Я напрягаю зренье:
Где рана среди зелени густой?

С реки пахнуло ветром дождевым. –
Спешу туда:
Быть может, на подходе
Осеннее большое половодье,
А я просплю, не повстречаюсь с ним.

Как будто наваждение…
С разбега
На берег поднимаюсь.
Вижу куст



С юным читателем. 2004 год



Рецензент Михаил АСЛАМОВ

Валерию Черкасову — моему старому другу и коллеге с пожеланиями творческих удач. Виктор Алюшин 20.8.86 года

Художник Юлий ГОФМАН

Алюшин В. Г.

А 59 Свет ковыли. — Амурское отд. Хабаровского кн. изд., 1985. — 48 с.

Второй сборник стихов амурского поэта — о природе и людях родного края, о памяти сердцем суровых военных лет.

А $\frac{4702010200-54}{М100(03)-85}$ -85 84.5 Р7

© Хабаровское книжное издательство 1985.

Автограф В. Алюшина

В. Яганов, В. Алюшин, В. Калугин.
г. Свободный, 1986 г.

Повален бурей.
Рядом я сажусь
И утешаю, словно человека.

Кстати, этим стихотворением я дебютировал в столичной печати, оно было опубликовано в журнале «Москва» (№ 5 за 1971 год).

В 1973 году у Виктора вышел первый сборник «Зелёный зной». Всего тридцать две страницы, но почти на каждой рассыпаны искорки, бриллиантики поэзии. Я тогда написал рецензию, которая была опубликована в областной газете «Амурская правда» под названием «Краски родного края».

Прошли многие годы, но одно стихотворение из этой книжки до сих пор крепко сидит в моей памяти. Цитирую тот вариант, который запомнился, ибо Витя несколько раз его правил:

В мире всё идет по кругу
И свивается в спираль.
Снова осень на округу
Сверху бросила вуаль.

По ночам мы детством бредим.
И, проснувшись кое-как,
Мы у тёщи за обедом
Хлеб воруем для собак.

Не однажды я задумывался, чем меня привлекают эти строки, почему волнуют – и не находил однозначного ответа. Наверное, в них заключена вся наша жизнь, и не столько в тексте, сколько в подтексте – истинный айсберг поэзии, у которого видимая часть, словесная, много меньше, чем невидимая, эмоциональная. У меня никогда не было собак, не воровал я для них хлеб, но душевное состояние, переданное поэтом, близко и дорого, – так храню я воспоминания детства и юности. И это – навсегда, как навсегда во мне эти строки.

* * *

В 2000 году, к 60-летию, вышел последний сборник Виктора Алюшина «Туманы северного края». Мой приятель Александр Герасимов, будучи тогда председателем ГТРК «Амур», рассказывал, что книжку печатали на ризографе в телерадиокомпании.

Юбилей поэта в Благовещенске отметили скромно. К тому времени и стихи, и сами поэты уже были мало кому интересны и нужны. Мне рассказывали, что Витя после ухода с работы на, так сказать, заслуженный отдых стал ещё более нелюдим, нечасто появлялся на литературных мероприятиях, увлёкся грибной охотой, по части которой равных ему было немного. Как-то я прочитал его стихи в журнале «Дальний Восток» и несколько огорчился: почти все они были мне давно известны. В дни 70-летия Виктора я напечатал в «Литературной газете» сообщение о его юбилее – всё, что смог.

Осенью 2010 года я побывал в Благовещенске. Прошёлся по местам моей молодости, по Первомайскому парку, недалеко от которого дом, в котором жил Алюшин. Я помнил, что его квартира на первом этаже, а вот её номер и подъезд – нет. Подошёл к мужикам, кучкующимся у лавочки. Спросил: «Скажите, в какой квартире живёт Алюшин?» На что один ответил: «А, поэт… Так вон он, в магазин пошёл». Я посмотрел вперёд. Несколько пошатываясь, от меня удалялась фигура, в которой я с трудом узнал давнего товарища. Подумал: явно не вовремя я решил наведаться в гости, зайду завтра, лучше с утра. Но ни завтра, ни послезавтра не получилось… И уже никогда на этой земле наша встреча не произойдёт…

Да, в мире действительно всё идёт по кругу: судьбы русских поэтов, провинциальных особенно, зачастую очень похожи. Имён называть не стану. Тот, кто неравнодушен к поэзии, их знает.

В одном из стихотворений Виктор Алюшин почти повторил Николая Рубцова:

С неба стихия неслась.
Я любовался Россией,
Чувствуя с этой стихией
Давнюю кровную связь.

Так оно и было.